



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



**This is an authorized facsimile of the original book,
and was produced in 1978 by microfilm-xerography
by University Microfilms International
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
London, England**

Зелинский, т. 73-4

РУССКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

189

894

А. С. ПУШКИНА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛЮГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

Часть четвертая.

СОВРАЛЪ

В. Зелинскій.

Цена 1 р.

МОСКВА.

Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, д. Воейковой,
1897.

PG 3356

242

v. 4

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ. Составленъ по „Руководствѣ“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 8-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время восемь изданій, занимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ орфографическихкихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка *осы* словъ съ буквою ѣ. Изложеніе ея алфавитное, — почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя“ открывается страница на букву, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подѣ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подѣ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подѣ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, извощикъ, извосчикъ или извощикъ? Справляйтесь подѣ любой изъ сомнительныхъ буквъ: и, с, ч, ш, а также и въ орфографическомъ словарѣ подѣ буквой и — неадѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часѣ, справка по ней дѣлается въ несколько секундъ.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописаніе и объясненіе иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ. (Печатается).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

6. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 7-е. М. 1897 г. Ц. 50 к.

7. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 4-е. М. 1896 г. Ц. 40 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орфографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орфографіи, тутъ

Russische
РУССКАЯ
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

А. С. ПУШКИНА.

**ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.**

ч. 4.

Часть четвертая.

Зелінскій, Василий Владиміровичъ, съ.
" **СОВРАЛЪ**

В. Зелінскій.

МОСКВА.

**Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, д. Воейковой.
1897.**

PG3350

.Z4

2872/F36

Оглавленіе 4-й части.

Критика тридцатых годовъ.

„Повѣсти изданныя Александромъ Пушкинымъ“.

Библиографическія статьи:

Изъ „Сѣверной Пчелы“ 1834 г. Статья Р. М.	1
„Библіотеки для Чтенія“ 1834 г.	4
„Молвы“ 1835 г. Статья В. Бѣлинскаго	—
„Исторія Пугачовскаго бунта“.	

Критическія статьи и рецензіи:

Изъ „Сына Отечества“ 1835 г. Статья П. К.	6
„Сѣверной Пчелы“ 1835 г. Статья барона Розена.	12
„Молвы“ 1835 г. Рецензія В. Бѣлинскаго	17
„Библіотеки для Чтенія“ 1835 г.	—
„Поэмы и повѣсти А. С. Пушкина“.	

Рецензіи:

Изъ „Сѣверной Пчелы“ 1835 г.	24
„Библіотеки для Чтенія“ 1835 г.	—
„Стихотворенія Александра Пушкина“.	
Рецензія изъ „Библіотеки для Чтенія“ 1835 г.	25
„Объ Исторіи Пугачовскаго бунта“.	
Антикритика А. С. Пушкина, изъ „Современника“ 1836 г.	27
„Стихотворенія Александра Пушкина“.	
Библиографическая статья В. Г. Бѣлинскаго, изъ „Молвы“ 1836 г.	44
„Евгеній Онегинъ“.	

Рецензія изъ „Литературныхъ Прибавленій“ къ „Русскому Инвалиду“ 1837 г.	47
„Сочиненія Александра Пушкина“.	

Библиографическія статьи:

О. Булгарина, изъ „Сѣверной Пчелы“ 1838 г.	48
Изъ „Библіотеки для Чтенія“ 1838 г.	49
„Сына Отечества“ 1838 г.	51
„Галатея“ 1839 г.	52

„Русланъ и Людмила“.

Критическая статья изъ „Галатея“ 1839 г. 53

„Кавказскій Платиникъ“.

Критическая статья изъ „Галатея“ 1839 г. 61

„Евгеній Онѣгинъ“.

Критическая статья изъ „Галатея“ 1839 г. 66

„Братья-разбойники“. — „Цыганы“.

Критическая статья изъ „Галатея“ 1839 г. 71

„Полтава“.

Критическая статья изъ „Галатея“ 1839 г. 79

„Борисъ Годуновъ“.

Критическая статья изъ „Галатея“ 1839 г. 90

„Лирическія стихотворенія Пушкина“.

Критическая статья изъ „Галатея“ 1839 г. 97

„Сочиненія А. Пушкина“.

Критическая статья К. А. Фаригаева ф. Энзе, изъ
„Сына Отечества“ 1839 г. 105

„Сочиненія Александра Пушкина“. Части 3-я и 4-я. Спб. 1838 г.

Критическая статья изъ „Библіотеки для Чтенія“ 1840 г. 126

„Сочиненія Александра Пушкина“. Томъ 9—11. Спб. 1841 г.

Библіографическая статья изъ „Библіотеки для Чтенія“
1841 г. 158

Критическая статья изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомос-
тей“ 1841 г. 163

Критическая статья изъ „Отечественныхъ Записокъ“
1841 г. 173

„Письмо къ издателю объ изданіи сочиненій Пушкина“.

Изъ „Москвитянина“ 1841 г. Статья И. Добр—на . . 183

„Сочиненія А. Пушкина. Томы 9, 10 и 11“.

Критическая статья С. Шенырева, изъ „Москвитянина“
1841 г. 186

„Сочиненія А. Пушкина. Т. I—XI. 1838—1841“.

Критическая статья Н. Полевого. Изъ „Русскаго Вѣст-
ника“ 1842 г. 216

„Русская литература въ 1841 г“.

Критическая статья В. Г. Бѣлинскаго, изъ „Отечествен-
ныхъ Записокъ“ 1842 г. 223

КРИТИКА ТРИДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

*) Повѣсти, изданныя Александромъ Пушкинымъ. С.-Петербургъ. 1834. Въ т. Гинце, въ 8 д. л. XIII и 247 стр.

Это по новостъ, а второе изданіе *Повѣстей покойнаго Бѣлкина*, съ прибавленіемъ двухъ отрывковъ изъ историческаго романа, и *Пиковой дамы*, которую мы недавно читали въ одной изъ книжекъ „Библіотеки для Чтенія“. И Повѣсти Бѣлкина, и отрывки изъ Романа (не помню, гдѣ-то напечатанные)**), и Пиковая Дама—знакомы, извѣстны читателямъ, но все-таки о нихъ поговорить слѣдуетъ: вѣдь, они изданы А. С. Пушкинымъ.

Прежде всего о предисловіи. Съ нѣкотораго времени, во Франціи, вошло въ моду издавать сочиненія *покойниковъ*. Раскрываете собраніе повѣстей — и вотъ передъ вашими глазами длинное *отъ издателя*, въ которомъ рассказано о жизни и трагической смерти настоящаго (будто бы!) автора. Этимъ литературнымъ маневромъ думаютъ возбудить участіе и вниманіе читателя, но едва-ли достигаютъ своей цѣли. Настоящій авторъ всегда почти бываетъ извѣстенъ: французы такіе болтуны! Къ чему же мистификація, тайна, предисловіе! А. С. Пушкинъ издалъ чужія повѣсти, повѣсти *покойнаго Бѣлкина*. Былъ ли на свѣтѣ Бѣлкинъ, нѣтъ ли, намъ все равно; а важны для насъ его повѣсти, къ которымъ А. С. Пушкинъ руку приложилъ. Въ Повѣстяхъ Бѣлкина было, при первомъ изданіи, пять повѣстей; теперь столько же. Первая повѣсть (*Выстрѣлъ*) слаба изобрѣтеніемъ, характеровъ нѣтъ, ибо они не выдержаны;

*) „Сѣверная Пчела“ 1834 г. № 192. (Новыя книги). Статья Р. М.

**) Въ *Сюжетныхъ Цѣпкахъ*. Изд.

все, все рассказано, ничто не представлено въ дѣйствіи; одна часть повѣсти (стр. 31—37) совсѣмъ бесполезна, лишняя и ровно ни къ чему не ведетъ.

Вторая повѣсть (*Метель*) ужъ черезчуръ неправдоподобна. Прапорщикъ (кажется, прапорщикъ) подговариваетъ провинціалку бѣжать и обвѣчаться. Она бѣжитъ изъ дома родителей въ назначенный часъ одна; между тѣмъ прапорщикъ сбивается съ дороги, и не попадаетъ въ церковь, гдѣ долженъ быть обрядъ вѣнчанія. Другой офицеръ ѣдетъ мимо церкви; его останавливаютъ, вѣнчаютъ: только по окончаніи обряда, невѣста узнаетъ, что этотъ офицеръ — не ея прапорщикъ, — и падаетъ въ обморокъ. Въ этой повѣсти каждый шагъ — неправдоподобіе. Кто согласится жениться мимоѣздомъ, не зная на комъ? Какъ невѣста могла не разглядѣть своего жениха подъ вѣнцомъ? Какъ свидѣтели его не узнали? Какъ священникъ ошибся? Но такихъ какъ можно поставить тысячи при чтеніи *Метели*.

Третья повѣсть (*Гробовщикъ*) — не повѣсть, а только анекдотъ, растянутый довольно длинно. Гробовщикъ, возвращаясь полу-пьяный съ вечеринки, на которой посмѣялись надъ его ремесломъ, вздумалъ приглашать къ себѣ въ гости мертвцовъ, заснулъ и видѣлъ во снѣ, что всѣ похороненные въ его гробахъ, пришли къ нему на пирушку. Развязывать повѣсть пробужденіемъ отъ сна героя — вѣрное средство усыпить читателя. Сонъ — что это за завязка? Пробужденіе — что это за развязка? Притомъ, такого рода сны такъ часто встрѣчались въ повѣстяхъ, что этотъ способъ чрезвычайно какъ устарѣлъ.

Четвертая повѣсть (*Станціонный Смотритель*) удачно изобрѣтена и живо рассказана. Она не растянута, какъ другія Повѣсти Бѣлкина, хотя описаніе станціи и смотрителей (на стр. 93—97) тоже очень незанимательно. Оно, можетъ быть, понравилось бы въ стихахъ, если бы было оперено летучей риемою, но въ прозѣ оно вяло, не выразительно и — если говорить правду — скучно.

Пятая повѣсть (*Барышня-Крестьянка*), такъ же мало правдоподобна, какъ и *Метель*. Все дѣйствіе основано на

переодѣваніи:—старое средство французскихъ комедій. Вѣроятно ли, чтобы молодой человекъ не узналъ своей любовницы потому только, что она наругала щеки, насурмила брови, надѣла пукли?

Ни въ одной изъ повѣстей Бѣлкина — нѣтъ идеи. Читашь—мило, гладко, плавно; прочтешь,—все забыто, въ памяти нѣтъ ничего, кромѣ приключеній. Повѣсти Бѣлкина читаются легко, ибо онѣ не заставляютъ думать. Въ нихъ нельзя не замѣтить слова я, которое повторяется безпрестанно, почти на каждой страницѣ. Вездѣ Бѣлкинъ да Бѣлкинъ, къ чему это? Читатель хочетъ повѣстей, а не Бѣлкина.

За повѣстями слѣдуютъ два отрывка изъ историческаго романа, которому еще не дано никакого имени. Отрывки очень хороши, какъ отрывки, но они не стоятъ того, чтобы ихъ печатать отдѣльно. Представляютъ ли они общій характеръ русскаго общества во времена Петра Великаго?—Нѣтъ. Представляютъ ли они хоть какое-нибудь приключеніе?—Нѣтъ. Къ чему же ихъ печатать отдѣльно?...

Въ заключеніе всего—напечатана *Пиковая Дама*, точно въ такомъ же видѣ, въ какомъ мы читали ее въ „Библиотекѣ для Чтенія“, безъ всякихъ поправокъ или перемѣнъ. Подробности этой повѣсти превосходны: Германъ замѣчательнъ по оригинальности характера; Лизавета Ивановна—живой портретъ компаньонки нашихъ старыхъ знатныхъ дамъ, рисованный съ натуры мастеромъ. Но въ цѣломъ—важный недостатокъ, общій всѣмъ повѣстямъ Бѣлкина, — недостатокъ идеи. Впрочемъ, строгое сужденіе объ этихъ повѣстяхъ невозможно: онѣ прикрыты эгидою имени Пушкина *).

Извѣщая о сочиненіи Пушкина, нельзя не сказать, гдѣ оно продается. Повѣсти, изданныя Пушкинымъ, продаются по 6 р., въ книжной лавкѣ Андрея Глазунова, подъ № 25. Иногородные должны адресовать требованія на имя управляющаго лавкою, Лисенкова. Обглядывая обертку книжки, мы

*) И еще очаровательностью изложенія. Мы не знаемъ въ русской литературѣ повѣсти, которая была бы написана такъ легко, пріятно, правильно и отчетливо, какъ *Пиковая Дама*. Изд. С. Пч.

нашли объявленіе о новомъ историческомъ трудѣ А. С. Пушкина. Онъ будетъ называться: *Исторіей Пугачевского бунта*, состоятъ изъ двухъ томовъ и продаваться у Лисенкова по 20 рублей за экземпляръ. Не дорого!

Изъ „Съерной Пчелы“ 1834 г. Статья Р. М.

* * *

*) Мы не думаемъ, чтобы тѣмъ нарушили права безыменности, если скажемъ, что повѣсти, „изданныя“ Александромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ, значить — „сочиненныя“ самимъ же ихъ издателемъ. Хотя предисловіе и приписываетъ ихъ покойному Бѣлкину, но самъ авторъ, кажется, не совсѣмъ желаетъ остаться безыменнымъ, когда на оборотѣ обертки тѣ же повѣсти помѣстилъ въ числѣ твореній пѣвца „Кавказскаго Пѣлѣника“. Такъ, это — второе изданіе извѣстныхъ „Повѣстей Бѣлкина“, сочиненныхъ А. С. Пушкинымъ, и читанныхъ публично въ прошломъ году съ такимъ удовольствіемъ. Къ нимъ присодинена еще „Пиковая Дама“, которою авторъ украсилъ нашъ журналъ въ началѣ года. Мнѣнію наше объ этомъ превосходномъ разсказѣ извѣстно читателямъ Б. для Ч.

Изъ „Библіотекки для Чтенія“ 1834 г.

* * *

**) Всему свой чередъ, все подчинено неизмѣннымъ законамъ. За роскошною весною слѣдуетъ жаркое лѣто, а за нимъ унылая осень, а за нею холодная зима. Законы физическіе параллельны съ законами нравственными; юность человѣка есть прекрасная, роскошная весна, время дѣятельности и кипѣнія силъ; она бываетъ однажды въ жизни, и болѣе не возвращается. Эпоха юности человѣка есть романъ, за коимъ начинается уже исторія; эта исторія всегда бываетъ скучна и уныла. То же самое представляется и въ дѣятельности художника: сколько огня, сколько чувства въ

*) „Библіотека для Чтенія“ 1834 г., т. 6, отд. 6. („Литературная лѣтопись“).

**) „Молва“ 1835 г., № 7. „Литературная хроника“. Статья В. Бѣлинскаго.

его произведеніяхъ! Послѣдующія бываютъ изящнѣе и выше, но за то и спокойнѣе; это спокойствіе называется зрѣлостью, возмужалостію таланта. Оно правда; но, горестная мысль! эта постепенная возвышенность генія необходимо сопряжена съ постепеннымъ охлажденіемъ чувства. Найдите созданіе чудовищнѣе „Разбойниковъ“, и вмѣстѣ съ тѣмъ найдите пламеннѣе этого перваго произведенія *Шиллера*. Воля ваша, а весна самое лучшее время года! Хорошо еще, если осень плодородна и обильна, если она озарена послѣдними прощальными лучами великолѣпнаго солнца; но что, когда она бесплодна, грязна и туманна? А, вѣдь, это такъ часто случается! Вотъ передо мною лежатъ повѣсти, назанныя *Пушкинымъ*: поужели *Пушкинымъ* же и написанныя? *Пушкинымъ*, творцомъ Кавказскаго Плѣнника, Бахчисарайскаго Фонтана, Цыганъ, Полтавы, Онегина и Бориса Годунова? Правда, эти повѣсти занимательны, ихъ нельзя читать безъ удовольствія; это происходитъ отъ прелестнаго слога, отъ искусства рассказывать (conter); но онѣ не художественныя созданія, а просто сказки и побасенки; ихъ съ удовольствіемъ и даже съ наслажденіемъ прочтеть семья, собравшаяся въ скучный и длинный зимній вечеръ у камина; но отъ нихъ не закипятъ кровь пылкаго юноши, не засверкаютъ очи его огнемъ восторга; но онѣ не будутъ тревожить его сна—нѣтъ—послѣ нихъ можно задать лихую высылку. Будь эти повѣсти первое произведеніе какого-нибудь юноши—этотъ юноша обратилъ бы на себя вниманіе нашей публики; но какъ произведеніе *Пушкина*... осень, осень, холодная, дождливая осень, послѣ прекрасной, роскошной, благоуханной весны, словомъ

... Прозаическія бредни
Фламандской школы пестрый вздоръ!

Странное дѣло—очарованіе именъ! Прочтите вы эту книгу, не зная къмъ она написана—и вы будете въ полномъ удовольствіи; но загляните на заглавіе—и ваше живое удовольствіе превратится въ горькое неудовольствіе. Будь поставлено на заглавіи этой книги имя *Г. Бумарина*, и я

былъ бы готовъ подумать: ужъ и въ самомъ дѣлѣ *Оаддей Венедиктовичъ* не геній-ли? Но *Пушкинъ*—воля ваша, грустно и подумать!

Эти повѣсти уже не новостъ. Въ нихъ новаго: препро-
славленная *Ииковая Дама*, по мнѣнію „Библиотеки для Чте-
нія“ (въ которой она была помѣщена), превосходящая всѣ
созданія чуднаго *Гохманова* гонія, и два отрывка изъ исто-
рическаго романа: *Ассамблея* при Петрѣ Великомъ и *Объѣдъ*
у *Русскаго Боярина*. Не помню, что касается до перваго,
а послѣдній былъ напечатанъ давно въ „Сѣверныхъ Цвѣ-
тахъ“. Эти отрывки, особенно послѣдній, отличаются худо-
жественною занимательностію и возбуждаютъ живѣйшее же-
ланіе прочесть весь романъ. Если этотъ романъ написанъ
и будетъ изданъ вполнѣ, то русскую публику можно будетъ
поздравить съ приобрѣтеніемъ. Изъ повѣстей—собственно
только первая: *Выстрѣлъ*, достойна имени *Пушкина*.

Изъ „*Молвы*“ 1835 г. Статья В. Бѣлинскаго.

*) *Исторія Пугачевского бунта*. С.-Пб. 1834, два тома въ 6. 8.
(Продается у А. В. Глазунова. Цѣна 20 р.).

Съ большимъ нетерпѣніемъ ожидали мы этой книги, давно
обѣщанной и долго не выходившей въ свѣтъ. Многіе на-
дѣялись и были въ томъ увѣрены, что знаменитый нашъ
поэтъ нарисуетъ намъ сей кровавый эпизодъ царствованія
Екатерины Великой кистію Байрона, подарить насъ карти-
ною ужасною, отъ которой, какъ отъ взгляда Пугачевского,
не одна дама упадетъ въ обморокъ. Намъ казалось, что
историческій отрывокъ, написанный слогомъ возвышеннымъ,
живымъ, перомъ пламеннымъ, поэтическимъ, не потеряетъ
своего внутренняго достоинства; ибо событія, извлеченныя
изъ документовъ, не подлежащихъ сомнѣнію, еще свѣжихъ
и памятныхъ для многихъ стариковъ, при ихъ свидѣтель-
ствѣ, не могли лишиться чрезъ это своей достовѣрности.

*) „Сынъ Отечества“ 1835 г., ч. 169, № 3 (Библиографія). Статья П. К.

Послѣ долгаго ожиданія, наконецъ, получили мы двѣ толстыя книги, въ мрачной, какъ тюремныя стѣны, оберткѣ, съ торопливостію разрѣзали первую часть, съ жадностію прочли ее. За одинъ пріемъ прочли и вторую, и не утомленные чтеніемъ, но чѣмъ-то недовольные, мы снова, и съ болѣшимъ вниманіемъ принялись за первую часть, которой половина составляетъ неотъемлемую собственность автора. Но, къ крайнему сожалѣнію, убѣдились, наконецъ, что авторъ, на новомъ для него историческомъ поприщѣ, разрѣшился d'un enfant mort-né. Это мертво-рожденное дитя, при ближайшемъ его разсмотрѣніи, не походитъ на знаменитаго своего родителя. — Въ Исторіи Пугачевского бунта, дѣйствительно все такъ холодно и сухо, что тщетно будетъ искать въ немъ труда знаменитаго нашего поэта. Къ удивленію, и признаюсь, къ сожалѣнію нашему, мы не нашли въ немъ ни одного чувства ни одной искры жизни. Пушкинъ, какъ историкъ, такъ мало походитъ на Пушкина поэта, что мы, удивляясь такому его самоотверженію, не хвалимъ его за насиліе, самому себѣ сдѣланное, и досадимъ, что ему вздумалось, исписавъ 168 страницъ, ни однимъ словомъ, ни однимъ выраженіемъ не измѣнить своей пламенной природѣ, всегда сильно чувствующей и пишущей перомъ огненнымъ.

Конечно, авторъ имѣлъ свои причины написать Исторію Пугачевского бунта такимъ, а не инымъ слогомъ; на то была его воля, и онъ по праву, принадлежащему всякому гражданину литературной республики, написалъ ее такъ, какъ ему вздумалось, или какъ случилось. Мы не осуждаемъ его за то, но по доброжелательству къ нему, изъяснивъ только наше личное о томъ сожалѣніе, разсмотримъ трудъ его въ томъ видѣ, въ какомъ онъ предлагаетъ его публикѣ.

Твореніе г. Пушкина заключаетъ въ себѣ все то, что было обнародовано правительствомъ, касательно Пугачева; онъ присоединилъ къ этому нѣсколько рукописей, преданій и свидѣтельствъ живыхъ. Сія совокупленные вмѣстѣ факты составляютъ драгоцѣнный матеріалъ, и притомъ столь по-

лезный, что будущему исторiku и безъ пособія нераспечатаннаго еще дѣла о Пугачевѣ, не трудно будетъ исправить нѣкоторые поэтическіе вымыслы, незначащіе недосмотры, и дать сому мертвому матеріалу жизнь новую и блистательную. Если г. Пушкину не разсудилось освѣтить свои труды надлежащимъ свѣтомъ, если ему не угодно было взглянуть на свое твореніе съ надлежащей точки зрѣнія и покрыть его колоритомъ пугачевщины и всѣхъ ужасовъ сего страшнаго періода времени; то по долгу безпристрастія мы похвалимъ его за первый дѣльный, полезный трудъ, въ которомъ онъ сохранилъ все существенное, все то, что французы называютъ *la chose*. Добросовѣстно хваля трудолюбіе его, мы съ удовольствіемъ прибавимъ, что въ Исторіи Пугачевского бунта, мы нашли весьма не много ошибокъ, которыя по долгу критики замѣчаемъ, не въ судъ и осужденіе автору, а единственно для пользы наукъ, для его и общей пользы.

Стр. 2. На сей-то рѣкѣ (Яикѣ), говоритъ г. Пушкинъ, въ XV столѣтіи, явились Донскіе Казаки.

Выписанное, въ подтвержденіе сего факта, изъ Исторіи Уральскихъ Казаковъ г. Левшина (см. прим. 1. 3—8 стр.), должно было бы убѣдить автора, что Донскіе Казаки явились на Яикѣ въ XVI, а не XV столѣтіи, и именно, около 1584 года.

Вся первая глава, служащая введеніемъ къ Исторіи П. б., какъ краткая выписка изъ сочиненія С. Левшина, не имѣла, какъ думаемъ, никакой нужды въ огромномъ приращеніи къ сей главѣ (26 стр. мелкой печати), которое составляетъ почти всю небольшую книжку г. Левшина. Книжка эта не есть древность или такая рѣдкость, которой за деньги купить нельзя; посему почтенный авторъ могъ—и долженъ былъ, ограничить себя однимъ указаніемъ, откуда первая глава имъ заимствована.

Стр. 16. Извѣстно, говоритъ авторъ, что въ царствованіе Анны Іоанновны, Игнатій Некрасовъ успѣлъ увлечь за собою множество Донскихъ Казаковъ въ Турцію.

Некрасовцы бѣжали съ Дона на Кубань, въ царствова-

ніе Петра Великаго, во время Буловинскаго бунта въ 1708 году. См. Исторію Д. Войска, Исторію Петра Великаго Берхмана и другія.

Стр. 74. Атаманъ Ефремовъ былъ смѣненъ, а на его мѣсто избранъ Семенъ Силинъ. Послано повелѣніе въ Черкасскъ съжечь домъ Пугачева... Государыня не согласилась, по просьбѣ начальства, перенести станицу на другое мѣсто, хотя бы и *менѣе выгодное*; она согласилась только переименовать Зимовейскую станицу Потемкинскою.

Въ 1772 году Войсковою Атаманъ Стопанъ Ефремовъ, за недоставленіе отчетовъ объ израсходованныхъ суммахъ, былъ арестованъ и посаженъ въ крѣпость; вмѣсто его, пожалованъ изъ старшинъ въ Наказные Атаманы Алексѣй Иловайскій. Силинъ не былъ Донскимъ Войсковымъ Атаманомъ. Изъ Донской Исторіи не видно, чтобы правительство приказало сжечь домъ Пугачева; а видно только, что, по прошенію Донскаго начальства, Зимовейская станица перенесена на *выгоднѣйшее мѣсто*, и названа Потемкинскою. См. Исторію Д. Войска, стр. 88 и 124 части I.

Стр. 76. Авторъ не сличилъ показанія жены Пугачева съ его собственнымъ показаніемъ; явно, что свидѣтельство жены не могло быть вѣрно;—она, конечно, не могла знать всего и, конечно, не все высказала, что знала. Собственное же признаніе Пугачева, что онъ скрывался въ Польшѣ, должно предпочесть показанію Станичнаго Атамана Трофима Оомпна, въ которомъ сказано, что будто бы Пугачевъ, отлучаясь изъ дому въ разное время, кормился *милостынею!!* и въ 1771 былъ на Кумѣ. — Но Пугачевъ въ началѣ 1772 года явился на Янкѣ съ польскимъ фальшивымъ паспортомъ, котораго онъ на Кумѣ достать не могъ.

На Дону по преданію извѣстно, что Пугачевъ до семилѣтней войны промышлялъ, по обычаю предковъ, на Волгѣ, на Кумѣ и около Кизляра; послѣ первой Турецкой войны скрывался между польскими и глуховскими раскольниками. Словомъ, въ мирное время иногда приходилъ въ домъ свой на короткое время; а постоянно занимался воровствомъ и разбоемъ въ окрестностяхъ Донской земли, около Данкова, Таганрога и Острожка.

Стр. 92. „Шигаевъ, думая заслужить себѣ прощеніе, задержалъ Пугачева и Хлопушу, и послалъ къ Оренбургскому Губернатору Сотника Логинова съ предложеніемъ о выдачѣ Самозванца“. Но въ поставленномъ тутъ же подъ № 12 примѣчаніи, авторъ говоритъ, что сіе показаніе Рычкова невѣроятно; ибо Пугачевъ и Шигаевъ, послѣ бѣгства ихъ изъ-подъ Оренбурга, продолжали дѣйствовать заодно.

Если показаніе Рычкова невѣроятно, то въ текстъ и не должно было его ставить; если же Шигаевъ, только въ крайнемъ случаѣ, въ самомъ дѣлѣ, думалъ предать Пугачева, то это обстоятельство не мѣшало продолжать дѣйствовать заодно съ Пугачевымъ; ибо бѣда еще не наступила. Историкъ, конечно, показалось труднымъ сличать противорѣчащія показанія, и выводить изъ нихъ слѣдствія; но это его обязанность, а не читателей.

Стр. 97. „Уфа была освобождена. Михельсонъ, нигдѣ не останавливаясь, пошелъ на Тибинскъ, куда послѣ Чесноковского дѣла прискакали Ульяновъ и Чика. Тамъ они были схвачены казаками и выданы побѣдителю, который отослалъ ихъ скованныхъ въ Уфу“. Въ примѣчаніи же 16-мъ (стр. 51), принадлежащемъ къ сей V главѣ, сказано совсѣмъ другое, именно: „По своимъ разбитіи, Чика съ Ульяновымъ остановились почевать въ Боголюбскомъ мѣдно-плавильномъ заводѣ. Приказчикъ угостилъ ихъ, и напоивъ до пьяна, ночью связалъ и представилъ въ Тобольскъ. Михельсонъ подарилъ 500 рублей приказчиковой женѣ, подавшей совѣтъ напоить бѣглецовъ.“

Мѣсто дѣйствія находилось въ окрестностяхъ Уфы; а по сему приказчикъ не имѣлъ нужды отсылать преступниковъ въ Тобольскъ, находящійся отъ Уфы въ 1145 верстахъ.

Стр. 100. „Солдатамъ начали выдавать въ сутки только по четыре фунта муки, то есть десятую часть мѣры обыкновенной“.

Солдатъ получаетъ въ сутки два фунта муки, или по три фунта печенаго хлѣба. По означенной выше мѣрѣ выйдетъ, что солдаты во время осады получали двойную порцію, или что весь гарнизонъ состоялъ изъ 20 только чело-
вѣкъ. Тутъ что-нибудь да не такъ.

Въ примѣчаніи 18, стр. 52, сказано, что оборона Яицкой Крѣпости составлена по статьѣ, напечатанной въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и по журналу Коменданта Полковника Симонова. Какъ авторъ принялъ уже за правило помѣщать въполнѣ всѣ акты, изъ которыхъ онъ что-либо заимствовалъ, то журналъ Симонова, нигдѣ до сего не напечатанный, заслуживалъ быть помѣщеннымъ въ примѣчаніяхъ такъ же въполнѣ, какъ Рычкова объ осадѣ Оренбурга, и Архимандрита Платона о сожженіи Казани.

Стр. 129. „Михельсонъ, оставя Пугачева вправѣ, пошелъ прямо на Казань, и 11 іюля вечеромъ былъ уже въ *пятнадцати* верстахъ отъ нея.—Ночью отрядъ его тронулся съ мѣста. Поутру, въ *сорока пяти* верстахъ отъ Казани, услышалъ пушечную пальбу.....“ Маленькій недосмотръ.

Стр. 155 и 156. „Пугачевъ отдыхалъ сутки въ Сарептѣ, оттуда пустился внизъ къ Черному-Яру. Михельсонъ шелъ по его пятамъ. Наконецъ, 25-го августа, на разсвѣтѣ онъ настигнулъ Пугачева въ *ста пяти* верстахъ отъ Царицына. Здѣсь Пугачевъ, разбитый въ послѣдній разъ, бѣжалъ, и въ *семидесяти* верстахъ отъ мѣста сраженія, переплылъ Волгу *выше* Черноярска“.

Изъ сего описанія видно, что Пугачевъ переплылъ Волгу въ 175 верстахъ ниже Царицына; а какъ между симъ городомъ и Чернояромъ считается только 155 верстъ, то изъ сего выходитъ, что онъ переправился чрезъ Волгу *ниже* Чернояра въ 20 верстахъ.—По другимъ извѣстіямъ, Пугачеву нанесенъ послѣдній ударъ подъ самымъ Царицынымъ, откуда онъ бѣжалъ по дорогѣ къ Чернояру, и въ сорока верстахъ отъ Царицына переправился черезъ Волгу, то есть, верстахъ въ десяти ниже Сарепты.

Къ VI главѣ 6 примѣчанія не достаетъ. См. 123 и 55 стр.

На картѣ не означено многихъ мѣстъ, и даже городовъ и крѣпостей. Это чрезвычайно затрудняетъ читателя.

Синъ немногіе недостатки ни мало не уменьшаютъ внутренняго достоинства книги, и если бы нашлось и еще нѣсколько ошибокъ, книга по содержанію своему всегда оста-

нется достойною вниманія публики. Въ недавнемъ еще времени сочинители жаловались на равнодушіе читателей, читатели съ большею справедливостію могли жаловаться на равнодушіе писателей. Одни романы, повѣсти и сказки еще въ прошедшемъ году занимали всѣхъ и каждого.

Съ удовольствіемъ можно тепорь замѣтить, что въ теченіе послѣднихъ трехъ мѣсяцевъ истекшаго года, вышло нѣсколько историческихъ сочиненій, и ни одного почти романа, кромѣ дѣятельнаго производства фабрики Орлова и комп. Сказанія Курбскаго, Исторія Донская, Исторія Армянская, Исторія Ойратовъ, Извѣстія о Волжскихъ Калмыкахъ, Записки о походѣ 1813 года, Исторія Пугачевского бунта, Картина послѣдней съ Персіею войны и пр. пр. Замѣнятъ ли сіи важныя сочиненія убыль въ романахъ, и будутъ ли они, вообще говоря, съ такою же благосклонностію приняты публикою — покажетъ время. Пріятное всегда предпочиталось полезному. Желательно, чтобы почтенные писатели нашли столь же трудолюбивыхъ послѣдователей; желательно, чтобы они нашли достаточное число такихъ читателей, которые иногда и полезное предпочитаютъ пріятному.

Изъ «Сына Отечества» 1835 г. Статья П. К.

* * *

*) Но только всеобщая, но и каждая частная исторія должна стремиться къ прагматизму, т. е. поставить свой предметъ въ *человѣческое* къ намъ отношеніе, чтобы имѣть полезное на насъ вліяніе. Но читатель спокоенъ: историческое же лицо, совершая свои дѣянія, было обуреваемо страстями. Между ними двумя расположеніями духа, есть весьма великое пространство, черезъ которое не достигаетъ участіе, ибо читатель не понимаетъ героя. Какимъ же

*) „Сѣверная Пчела“ 1835 г. № 38 (новыя книги). Статья барона Розена.

образомъ ихъ сблизить? Самымъ легкимъ способомъ было бы—*воспламенить* читателя; но это дѣло ораторства и поэзіи. Исторія, вѣдаясь съ существенною правдою, относится къ нашему уму, и черезъ него дѣйствуетъ на сердце: слѣдственно, поступаетъ совершенно противоположнымъ порядкомъ; она этимъ же путемъ и достигаетъ прагматической цѣли. Исторія распоряжается своимъ матеріаломъ, и устраниваетъ его такимъ образомъ, чтобъ онъ не имѣлъ ни малѣйшей надобности въ украшеніяхъ поэтическихъ и риторическихъ. Сама не философствуя, она въ своей великой экономіи открываетъ намъ философскіе взгляды на нравственный порядокъ міра; она знакомитъ насъ психологически съ своими героями, прежде нежели началась бурная игра ихъ страстей, и тогда читатель, въ спокойномъ расположеніи духа, симпатически пойметъ движенія человѣческой природы въ неукротимыхъ дѣйствіяхъ историческаго лица, и, примѣняя къ себѣ самому обстоятельства, доводящія равное ему существо до страшныхъ ему преступленій, содрогнется спасительнымъ ужасомъ. — Если римскій гладіаторъ, съ малолѣтства пазначасмый рѣзаться на смерть съ товарищемъ своего несчастія—для одной *потѣхи* народа, если мужественный Спартакъ, за такое униженіе челоувѣчества, жесточайшимъ образомъ мститъ гордому Риму, то не нужно рыться въ его душѣ, чтобы дознаться побудительной причины его дѣйствій: дѣло само собою привлекаетъ живѣйшее участіе къ ожесточенному гладіатору, сверхъ того, умершему истиннымъ героомъ!—Но если гражданинъ, живущій подъ защитою закона, производитъ такой же бунтъ, и съ большою лютостію терзаетъ свое невинное отечество, словомъ—если является такое чудовище, каковъ былъ Пугачевъ, то какимъ образомъ историкъ можетъ поставить сей предметъ въ симпатическое къ намъ отношеніе? Мы всегда будемъ глядѣть на Пугачева, какъ на непостижимое, не нашего рода существо, чей душевный организмъ устроенъ иначе, чѣя дьявольская воля управляется законами ада; не понимая его, мы и сочувствовать ему никогда не можемъ. Сіе безспорно правда, если намъ выведутъ Пугачева, уже

бунтовщика и душегубца; но если бъ мы могли вникнуть глубже въ жизнь сего самозванца, дойти до верховья сей великой кровавой рѣки, также имѣвшій истокъ чистый—младенчество невинное; если-бъ мы, наконецъ, могли видѣть зачинаніе его порочныхъ мыслей и тайныя пружины, способствующія къ развитію его душевнаго разврата—то и исторія Пугачева, не хуже исторіи всякаго другого злодѣя, была бы великимъ нравственнымъ урокомъ для всего человечества! Грозная тѣнь Пугачева еще скрывается въ мракъ государственной тайны: нераспечатанное о немъ дѣло, вѣроятно, содержитъ въ себѣ много любопытныхъ и пояснительныхъ подробностей, не потерянныхъ для потомства. Но сіе обстоятельство крайне затрудняетъ нынѣшнюю исторію Пугачевского бунта, такъ, что она не можетъ быть прагматическою. А. С. Пушкинъ съ благороднымъ чистосердечіемъ, въ несомнѣнный вредъ своему труду по мнѣнію многихъ, къ сожалѣнію, *многихъ*, первый упомянулъ о семъ нераспечатанномъ дѣлѣ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предупредилъ важный вопросъ читателя: кто же управлялъ бунтомъ, если Пугачевъ былъ не что иное, какъ чучело? При такихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, при такой неясности предмета, при чрезвычайной строгости къ себѣ самому, въ историческомъ отношеніи, авторъ исполнилъ все, чего только можно было ожидать отъ его первокласснаго дарованія: онъ намъ представилъ полное изображеніе сего плачевнаго эпизода царствованія счастливаго и великаго. Мудрая экономія и изящное устройство матеріала; точное, истинно-художественное раздѣленіе свѣта и тѣни, и наконецъ, неподражаемая сжатость слога, гдѣ не найдете даже ни одного лишняго эпитета—все это служитъ отраднымъ доказательствомъ великаго дарованія историческаго. Какъ страпны притязанія тѣхъ, кто ожидалъ отъ Пушкина исторіи, написанной перомъ *пламеннымъ, кистью Байрона!!!* Что нашъ великій поэтъ сумѣлъ быть *не поэтомъ* въ исторіи—именно это вмѣняется ему въ лучшую похвалу, и доказываетъ, какъ хорошо онъ знаетъ непреложныя границы cadaго изящнаго искусства. Онъ не убоился неодобренія

многихъ, чтобы только угодить строгимъ цѣнителямъ его труда. Что ему до тѣхъ, кто въ *Исторіи Пугачевскаго бунта* не находятъ ни одного чувства ни одной искры жизни, и думаетъ, что автору неугодно было освѣтить свой трудъ надлежащимъ свѣтомъ, и покрыть колоритомъ пугачевщины, etc. Въ опроверженіе сего мнѣнія выпишемъ одну страницу для тѣхъ, кто еще не читалъ этой книги, какъ и для тѣхъ, кто, торопливо читая, не понималъ.

Авторъ, сказавъ, что Пугачевъ не былъ самовластенъ, что Яицкіе казаки, зачинщики бунта, управляли самозванцемъ, часто дѣйствовали безъ его вѣдома, а иногда вопреки его волѣ, продолжаетъ (стр. 46): „Пугачевъ скучалъ ихъ опекою.“ „Улицы моя тѣсна!“ говорилъ онъ Депису Пьянову, ширя на свадьбѣ младшаго его сына. Не терпя посторонняго вліянія на царя, ими созданнаго, они (Яицкіе казаки) не допускали самозванца имѣть иныхъ любимцевъ и повѣренныхъ. Пугачевъ, въ началѣ своего бунта, взялъ къ себѣ въ писаря сержанта Кармицкаго, простивъ его подъ самой висѣлицей. Кармицкій сдѣлался вскорѣ его любимцемъ. Яицкіе казаки, при взятіи Татищевой, удавили его и бросили съ камнемъ на шею въ воду. Пугачевъ о немъ освѣдомился. Онъ пошелъ, отвѣчали ему, къ своей матушкѣ, онижъ по Никѣ. Пугачевъ молча махнулъ рукою. Молодая Харлова имѣла несчастіе привязать къ себѣ самозванца. Онъ держалъ ее въ своемъ лагерѣ подъ Оренбургомъ. Она одна имѣла право во всякое время входить въ его кибитку; но ея просьбѣ прислалъ онъ въ Озерную приказъ—похоронить тѣла имъ повѣщенныхъ при взятіи крѣпости. Она встревожила подозрѣнія ревнивыхъ злодѣевъ, и Пугачевъ, уступивъ ихъ требованію, предалъ имъ свою любовницу. Харлова и семилѣтній братъ ея были разстрѣляны. Раненые, они сползлись другъ съ другомъ и обнялись. Тѣла ихъ, брошенные въ кусты, оставались въ томъ же положеніи“.—Потрудитесь выкинуть хоть въ эту одну страницу, и вы увидите, сколько въ ней чувства, сколько электрическихъ искръ жизни, какія положенія и картины трогательныя и поразительныя! Жалоба Пугачова; прощеніе

Кармичкаго подъ висѣлицей; его смерть; отвѣтъ казаковъ; покорность Пугачева своему страшному Промыслу; его склоненіе на просьбу Харловой о погребеніи повѣшенныхъ; и наконецъ смерть Харловой, это сползеніе, эти объятія умирающихъ—и *это* ли не колоритъ пугачевщины? Какая полнота, какое богатство слога при такой простотѣ и сжатости! Вотъ, какъ надобно писать исторію! Всякая строка огненная черта, изъ которой воображеніе читателя себѣ рисуетъ великія картины. Изъ *одной* этой страницы можно было бы, не прибавляя ничего существеннаго, написать трагедію въ пяти дѣйствіяхъ.

Позволяемъ себѣ два замѣчанія на *Исторію Пугачевского бунта*.

Доколѣ дѣло объ этомъ самозванцѣ не будетъ распечатано, мы не можемъ вѣрить, чтобъ Пугачевъ былъ только слѣпымъ орудіемъ яицкихъ казаковъ. Жалоба Пугачева: „*Улица моя тѣсна!*“ и слова его на площади яицкаго городка ничего не доказываютъ. Пойманный, онъ хотѣлъ свалить вину на другихъ, а бунтовщики молчали, отчасти изъ привязанности къ своему атаману, отчасти и потому, что дѣйствительно чувствовали себя виновными во многомъ. Человѣкъ съ такимъ сильнымъ духомъ не могъ быть въ зависимости отъ многихъ, и если бы кто управлялъ Пугачевымъ и его бунтомъ, то ни конемъ образомъ не могъ бы укрыться отъ гласности, въ *подобномъ* дѣлѣ.

Намъ кажется, авторъ довелъ историческую строгость до излишества: бѣольшую часть примѣчаній онъ могъ бы помѣстить въ текстѣ, и книга этимъ выиграла бы, безъ сомнѣнія. Сія излишняя строгость, самый выборъ предмета, неполнаго своею неясностью, заставляетъ догадываться, что Пушкинъ, до приступа къ *труднѣйшему* предмету историческому, хотѣлъ предварительно испытать свои силы на предметъ *трудномъ*—и съ этой точки зрѣнія излишняя въ сей книгѣ строгость есть драгоценный залогъ его успѣховъ на поприщѣ исторіи.

Изъ „*Сѣверной Пчелы*“ 1835 г. Статья барона Розена.

* * *

*) Мы опоздали отчетомъ объ этомъ примѣчательномъ явленіи въ области нашей ученой литературы, и потому удовольствуемся однимъ извѣстіемъ объ немъ. Это давно обѣщанное и долго ожидаемое сочиненіе *А. С. Пушкина*. Самая исторія содержитъ въ себѣ первую половину (168 стр.) первой части; вторая половина оной (110 стр.) состоитъ изъ примѣчаній; а вторая часть вся заключаетъ въ себѣ приложенія и раздѣлена на три отдѣленія: 1) *Манифесты, Указы и Рескрипты, относящіеся къ Пугачевскому бунту*; II) *Репортъ графа Румянцева въ Военную Коллегію, и письма Нурали-Хана, Бибикова, графа Панина и Державина*; III) *Сказанія современниковъ*.

Изъ „Молвы“ 1835 г. Статья В. Бѣлинскаго.

* * *

**) Несправедливо было бы требовать отъ сочинителя, живущаго такъ близко къ эпохѣ описываемаго происшествія, выполненія всѣхъ условій, которыхъ требуетъ исторія: чтобы обнять взоромъ все пространство значительнаго событія, необходимо стать отъ него въ извѣстной отдаленности; перспектива такъ же нужна историку, какъ и живописцу. На близкомъ разстояніи собираются только подробности, которыя со временемъ могутъ служить превосходными матеріалами для исторіи. Съ этой точки зрѣнія должно смотрѣть на „Исторію Пугачевского бунта“, изданную *А. С. Пушкинымъ*. Авторъ не имѣлъ даже доступа къ подлинному дѣлу о Пугачевѣ, которое, какъ онъ говоритъ въ предисловіи, хранится запечатанное въ Санктпетербургскомъ государственномъ архивѣ, и онъ предоставляетъ исправить и пополнить свой трудъ будущему историку, болѣе его счастливому въ этомъ отношеніи. Но нельзя не воздать ему полной похвалы и не быть благодарнымъ за совѣстливое и тщательно изготовленное сообщеніе тѣхъ бумагъ и свѣдѣній, которыя находились въ его рукахъ, и для собранія которыхъ предпринималъ онъ изысканія на

*) „Молва“ 1835 г., № 19. Статья В. Бѣлинскаго.

**) „Библиотека для Чтенія“ 1835 г. т. X, отд. 5. (Критика).

мѣстѣ самого происшествія, долго покрытаго молчаніемъ и, наконецъ, сдѣлавшагося темнымъ, почти неизвѣстнымъ нынѣшнему поколѣнію. Эти бумаги, принимая въ расчетъ разницу въ плотности печати разныхъ частей книги, занимаютъ почти семь осмьмыхъ всего сочиненія: къ нимъ приложена въ началѣ историческая статья, въ которой авторъ изобразилъ ихъ содержаніе ясно, живо и съ возможною краткостью, и она составляетъ послѣднюю одну осьмую цѣлаго. Сочинитель, конечно, и самъ не удивится тому, что мы его „Исторію“ называемъ только историческою статьею: по своему объему, который занимаетъ сто шестьдесятъ восемь страницъ крупнои печати, она равняется пяти листамъ „Библіотеки для Чтенія“; многія изъ статей этого журнала были обширнѣе. Съ другой стороны, и самое событіе—бунтъ обобщенной и пьяной черни въ отдаленной провинціи, продолжавшійся нѣсколько мѣсяцевъ, не имѣвшій никакого вліянія на общую судьбу государства, ни въ чемъ не измѣнившій хода ни внѣшней ни внутренней политики, не можетъ быть предметомъ настоящей исторіи, и, въ крайнемъ случаѣ, составляетъ только ея печальную страницу, которой, по несчастію, мы не въ правѣ вырвать, но которую властны перекинуть при чтеніи, не расторгнувъ тѣмъ связи повѣствованія о цѣлой эпохѣ, не разстроивъ въ мысли ряда блестящихъ и утѣшительныхъ событій, образующихъ истинную, прагматическую исторію того времени. Какъ бы то ни было, названіе, которое мы придаемъ этому творенію, нисколько не уменьшаетъ ни его внутренняго достоинства ни цѣны услуги, оказанной его авторомъ. Въ сочиненіяхъ, которыя, по свойству ихъ предмета и обстоятельствъ писателя, не окончательны и не могутъ требовать для себя монументальнаго титла „Исторіи“, которыя не связываютъ своего содержанія съ массою происшествій цѣлаго періода, съ ихъ обширною и сложною выпословностью, съ современнымъ состояніемъ образованности, нравовъ и умовъ,—въ такихъ сочиненіяхъ любопытность и новость рассказываемыхъ подробностей, вѣрное и откровенное ихъ изложеніе, и цѣль его, благонамѣренная и выполненная со

тщаніемъ, вообще сосредоточиваютъ въ себѣ всѣ достоинства книги, и одни обезпечиваютъ ей почетное мѣсто въ народной литературѣ. И въ этомъ отношеніи, первый историческій опытъ знаменитаго нашего поэта вполне удовлетворяетъ условіямъ особеннаго рода творенія, вышедшаго изъ-подъ его пера, потому что невозможно было ни предпринять труда съ похвальнѣйшимъ намѣреніемъ, ни совокупить большаго числа любопытныхъ фактовъ и анекдотовъ на полуторѣ сотнѣ страницъ, ни дать имъ точнѣйшей и вмѣстѣ занимательнѣйшей формы.

Авторъ превосходно объясняетъ одну изъ важнѣйшихъ сторонъ событія въ историческомъ отношеніи, именно, что Пугачевъ былъ только—орудіе мятежной партіи „Несогласныхъ“, то-есть казаковъ, которые не хотѣли подчиниться преобразованіямъ, вводимымъ въ устройствѣ ихъ войска. (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Пугачевъ не былъ самовластенъ...“ и кончающаяся словами: „Вотъ какіе люди колебали государствомъ!“).

Когда Пугачевъ былъ схваченъ своими сообщниками и выданъ генералъ-поручику Маврину, онъ съ перваго слова признался ему во всемъ. Мавринъ приказалъ привести прежнихъ его товарищей, содержавшихся въ оковахъ, и самозванецъ громко сталъ ихъ уличать, говоря: „Вы погубили меня: вы нѣсколько дней сряду меня упрашивали принять на себя имя покойнаго Великаго Государя; я долго отрицался, а когда и согласился, то все, что ни дѣлалъ, было съ вашей воли и согласія; вы же поступали часто безъ вѣдома моего и даже вопреки моей волѣ“. Бунтовщики не отвѣчали ни слова.

Пугачевъ однакожъ былъ не безъ твердости въ волѣ и не безъ дарованій. Изысканія автора бросаютъ большой свѣтъ на личный характеръ и природныя способности этого разбойника. Но мы упомянули о Харловой: исторія этой несчастной женщины ужасна, и безъ всякихъ украшеній вымысла составляетъ полный романъ.

(Выписка, начинающаяся словами: „Изъ Разсыпной Пугачевъ пошелъ на Нижне-Озерную...“ и кончающаяся слова-

ми: „Пугачевъ пораженъ былъ ея красотою, и взялъ несчастную къ себѣ въ наложницы, пощадивъ для нея семилѣтняго ея брата“).

Дикій другъ несчастной жертвы не слишкомъ былъ постояненъ въ любви: привязанность его къ Харловой не помѣшала ему, посреди лужъ крови, разбоевъ и опасностей войны, предаться влеченію новой, и еще нѣжнѣйшей страсти.

(Выписка, начинающаяся словами: „Пугачевъ въ яицкомъ городкѣ увидѣлъ молодую казачку Устинью Кузнецову, и влюбился въ нее...“ и кончающаяся словами: „Его присутствіе ознаменовано было всегда новыми покушеніями на Яицкую крѣпость“).

Мы видѣли, изъ прежде приведенной выписки, плачевную кончину Харловой. Свадьба Пугачева, котораго первая жена была еще въ живыхъ и находилась тогда въ Казани, едва не стоила нашей словесности преждевременной потери одного изъ превосходнѣйшихъ ея украшеній. Самозванецъ желалъ отпраздновать свое супружеское счастье приступомъ къ осажденной его толпами яицкой крѣпости, въ которой мужественно защищался полковникъ Симоновъ.

(Выписка, начинающаяся словами: „Его прибытіе оживляемость мятежниковъ...“ и кончающаяся словами: „Такимъ образомъ обреченъ былъ смерти и четырехлѣтній ребенокъ, впоследствии славный Крыловъ!“)

Состоянію осажденного Оренбурга, послѣ непрерывныхъ неудачъ съ мятежниками, было таково, что угроза свирѣпаго казака равнялась величайшей опасности. Тамъ давно уже боролись съ голодомъ и уныніемъ духа.

(Выписка, начинающаяся словами: „Рейнсдорпъ требовалъ сѣстныхъ припасовъ отъ Декалонга и Станиславскаго...“ и кончающаяся словами: „Ропотъ становился громче. Опасались мятежа...“)

Страхъ бѣднаго губернатора, которому въ продолженіе шестимѣсячной осады мятежниками ничто не удавалось, былъ такъ великъ, что когда Голицынъ разбилъ самозванца у Татищевой, когда избавитель уже почти стоялъ у стѣнъ

Оренбурга, и бунтовщики сами прислали къ Рейнсдорпу съ предложеніемъ выдать ему Пугачева, тотъ не хотѣлъ еще вѣрить своему счастью, опасаясь какой-нибудь хитрости, и отвергъ ихъ желаніе. Эта нерѣшимость продлила бѣдствія Россіи еще нѣсколькими мѣсяцами.

Между тѣмъ отецъ юнаго поэта претерпѣвалъ въ Яицкой крѣпости, вмѣстѣ съ своимъ начальникомъ и своими подчиненными, неслыханныя страданія. Картина бѣдствія гарнизона и его освобожденія составляетъ одну изъ лучшихъ страницъ исторіи этихъ смутеній.

(Выписка, начинающаяся словами: „Девятаго марта, на разсвѣтѣ, двѣсти пятьдесятъ рядовыхъ вышли изъ крѣпости...“ и кончающаяся словами: „Начальники бунта, Каргинъ, Толкачевъ и Горшковъ и незаконная жена самозванца, Устинья Кузнецова, были подъ стражею отправлены въ Оренбург“).

Съ того времени мятежъ и поприще войны перенеслись на Волгу. Почти непостижимо, до какой степени въ Пугачевѣ, простомъ, безграмотномъ казакѣ, вдругъ развились воинскія дарованія. При первомъ извѣстіи о приближеніи Голицына, самозванецъ оставляетъ Яикъ и Оренбургъ, и летитъ къ Татищевой крѣпости, которую самъ разорилъ въ предыдущемъ году. „Сгорѣвшія деревянныя укрѣпленія“, говоритъ авторъ, „мигомъ замѣнены снѣговыми. Распоряженія Пугачева удивили князя Голицына, который не ожидалъ отъ него такихъ свѣдѣній въ военномъ искусствѣ. „Со времени побѣга своего на Волгу, непрерывно разбиваемый Михельсономъ, онъ черезъ нѣсколько дней опять явился предводителемъ сильнаго и стройнаго отряда. Однажды Михельсонъ, вдругъ увидѣвъ передъ собою войско Пугачева, не могъ вообразить, чтобы это были остатки сволочи, разсѣянной наканунѣ, и принялъ его, какъ самъ говоритъ въ донесеніи, „за корпусъ генераль-маіора Дескалонга“. Признаться, и мы не можемъ вообразить, какъ происходили эти превращенія, которыя уже выходятъ изъ предѣловъ дарованій и довольно похожи на волшебство. Должно полагать, что авторъ не имѣлъ достаточно данныхъ для того,

чтобы объяснить ихъ. Мы приведемъ свѣдѣнія, представляемыя исторіею бунта, объ устройствѣ силъ самозванца и картину главной его квартиры въ ноябрѣ, 1774.

(Выписка, начинающаяся словами: „Войско его состояло уже изъ двадцати пяти тысячъ...“ и кончающаяся словами: „Казаки спасли его и утащили, подхвативъ его лошадь подъ уздцы“).

Характеръ этого грубаго изверга представляетъ весьма странную смѣсь неслыханной природной жестокости и мгновенныхъ проблесковъ чувства. По взятіи Ильинской крѣпости, гдѣ погибъ маіоръ Заевъ, почти всѣ его офицеры и двѣсти солдатъ, мятежники погнали остальныхъ въ близкую татарскую деревню.

(Выписка, начинающаяся словами: „Плѣнные солдаты приведены были противъ заряженной пушки...“ и кончающаяся словами: „И велѣлъ его, такъ же, какъ и солдатъ, остричь показачки“).

Въ Казани привели къ нему реформатскаго пастора. Разбойникъ узналъ въ немъ того самаго сострадательнаго человѣка, который прежде давалъ ему милостыню, когда онъ ходилъ въ оковахъ по улицамъ Казани, ожидая утвержденія приговора къ кнуту и каторгѣ за воровство и убійства. Онъ не только пощадилъ жизнь его, но еще посадилъ его на коня, пожаловалъ въ свои полковники, и увелъ съ собою. Пасторъ едва черезъ нѣсколько дней успѣлъ отдѣлаться отъ его благодарности и возвратиться въ Казань. Но подлѣ этой черты благодарности, гдѣ онъ забывалъ даже принятое на себя званіе, должно тотчасъ поставить двѣ противоположныя черты, одну — истинно турецкаго коварства въ мести, когда онъ велѣлъ тайно задушить своего вѣрнаго пріятеля, Лысова, съ которымъ поссорился напьянѣ; потомъ примирился и шелъ дружески еще за нѣсколько часовъ до его казни; другую — холоднаго и насмѣшливаго звѣрства въ поступкѣ съ злополучнымъ астрономомъ Ловицемъ. Онъ нашелъ его на южной Волгѣ, и сталъ разспрашивать, въ чемъ именно состоитъ званіе астронома, Ловицъ объяснилъ, что онъ, по званію своему, занимается исчисленіемъ звѣздъ.

Пугачевъ, въ отвѣтъ, велѣлъ повѣсить его „поближе къ звѣздамъ“.

Авторъ, въ приложеніяхъ къ первому тому, помѣстилъ отысканный имъ списокъ всѣхъ извѣстнѣйшихъ жертвъ свирѣпости этого злодѣя и его сообщниковъ.

Мы замѣтили между разсказываемыми подробностями событія два анекдота, относящіеся къ юности знаменитаго Державина, и выпишемъ ихъ здѣсь, несмотря на разительное несходство ихъ между собою. Въ первомъ случаѣ, обнаруживающемъ удивительную смѣлость и присутствіе духа, онъ былъ еще подпоручикомъ.

(Выписка, начинающаяся словами: „Державинъ, начальствуя тремя фузлерными ротами, привелъ въ повиновеніе раскольниковыя селенія, находящіеся на берегахъ Иргиза, и орды племенъ, кочующихъ между Янкомъ и Волгою...“—и кончающаяся словами: „Державинъ успѣлъ добратся до Саратова, откуда на другой день выѣхалъ вмѣстѣ съ Ляджинскимъ, оставивъ защиту города на попеченіе осмѣяннаго имъ Бошняка“).

Мы желали бы еще предложить нашимъ читателямъ прекрасное своей простотою и живостью описаніе бѣдствія Казани, взятой мятежниками, но боимся, чтобы, умножая выписки, не исчерпать всего сочиненія, и заключимъ ихъ допросомъ пойманнаго Пугачева, въ Симбирскѣ.

(Выписка, начинающаяся словами: „Пугачева привезли прямо на дворъ къ графу Панину, который встрѣтилъ его на крыльцѣ, окруженный своимъ штабомъ“, — и кончающаяся словами: „Пугачевъ сталъ на колѣна, и просилъ помилованія“).

Мы нашли въ „Исторіи Пугачевского бунта“ слишкомъ много любопытнаго и занимательнаго, чтобъ за удовольствіе; доставленное намъ и нашимъ читателямъ заплатить ея сочинителю неблагодарностью, упреками; и только мимоходомъ изъяснимъ наше сожалѣніе о нѣкоторыхъ неправильностяхъ языка и небрежностяхъ слога, оставшихся случайно подъ перомъ автора и забытыхъ его внимательностью. Кому жъ и учить насъ образцовой чистотѣ русскаго языка и

изящности выраженій, если не автору „Исторіи Пугачевского бунта“?

Изъ «Библіотеки для Чтенія» 1835 г.

*) Поэмы и повѣсти А. С. Пушкина. С.-П.б. 1835, въ Военной типографіи, 232 стр.

Изданіе этихъ „Поэмъ и Повѣстей“ было необходимо; почитатели поэта давно уже его ожидали, потому что но въ состояніи были пріобрѣсть по одиночкѣ эти *disjecta membra* его фантазій. А. Ф. Смирдинъ удовлетворилъ ихъ ожиданію, издавъ собраніе поэмъ А. С. Пушкина, которое, какъ и всѣ его изданія, отличается красотой и вмѣстѣ умѣренностью цѣны. Хотя, конечно, нельзя назвать дешевымъ изданіе двухъ томовъ посредственной величины, продающихся по двадцати рублей; но въ сравненіи съ прежнею непомерною цѣною поэтическихъ брошюръ, его составляющихъ, эта цѣна очень умеренна. Первая часть, вышедшая въ свѣтъ, заключаетъ въ себѣ три поэмы: Русланъ и Людмила, Кавказскій плѣнникъ и Бахчисарайскій фонтанъ. Во второй части будутъ:—Полтава, Цыгане, Графъ Нулинъ, Братья разбойники, Домикъ въ Коломнѣ и Анджело.

Изъ «Сѣверной Пчелы» 1835 г. Статья М. М.

* * *

**) Изданію „Поэмъ и повѣстей“ А. С. Пушкина мы предсказываемъ большой успѣхъ. Оно отличается особенною изящностью и весьма умеренною цѣною. Творенія знаменитаго нашего поэта, до сихъ поръ разсѣянные по брошюрамъ, были нестерпимо дороги для собирателей. Теперь они представляются въ цѣломъ, и доступны всякому. Въ этой первой части заключаются — „Русланъ и Людмила“, „Кавказскій плѣнникъ“ и „Бахчисарайскій фонтанъ“.

Изъ «Библіотеки для Чтенія» 1835 г.

* * *

*) „Сѣверная Пчела“ 1835 г. № 134 (новыя книги). Статья М. М.

**) „Библіотека для Чтенія“ 1835 г. т. 10, отд. IV (Литературная хѣтопись).

*) Стихотворенія Александра Пушкина. Часть четвертая. С.-Петербургъ, въ тип. И. Россійской Академіи, 1835, въ—8, стр. 189.

Эта четвертая часть „Стихотвореній“ заключаетъ собою, въ сочиненіяхъ Пушкина, особый рядъ томовъ, котораго не должно смѣшивать съ другимъ рядомъ, носящимъ заглавіе „Поэмы и повѣсти“. Послѣдній состоитъ доселѣ изъ двухъ частей.

Четвертая часть „Стихотвореній“ составлена изъ переводовъ и тѣхъ прелестныхъ подражаній народнымъ поэтическимъ преданіямъ отечественнаго и иностраннаго происхожденія, которыя подъ перомъ Пушкина обновляютъ угасающую жизнь свою, чтобы продлить свое существованіе еще на нѣсколько столѣтій. Мы не станемъ говорить объ нихъ подробно, потому что всѣ они были напечатаны въ нашемъ журналѣ. Въ числѣ этихъ переводовъ и подражаній самая важная пьеса по своему объему и разнообразію — „Пѣсни западныхъ Славянъ“. Это, какъ извѣстно, переводъ, но переводъ лучше самаго подлинника, вышедшій въ Парижѣ въ 1827 году „Гусли“ — *Guzla ou Choix de poésies Illiriques*, — въ которой неизвѣстный издатель предлагалъ, во французскомъ переводѣ, образцы народной поэзіи сербовъ, босняковъ, морлаховъ, черногорцевъ и кроатовъ, собранные имъ будто бы на мѣстѣ. Гусли эта переведена была на многіе европейскіе языки, и своею оригинальностью, своимъ, какъ тогда говорили, *неподдѣльнымъ* цвѣтомъ дикой мѣстности, своею *самобытною* поэзією восхитила страстныхъ искателей новаго и непохожаго на поэтическія формы истекшаго столѣтія. Пѣсни сербовъ и босняковъ были сравниваемы критикою съ древнѣйшими памятниками іонійской и скандинавской поэзіи. Мы намекнули мимоходомъ, въ этомъ же самомъ журналѣ, еще въ началѣ прошлаго года, что эти пѣсни *подложны*. Поддѣлка ихъ

*) „Библиотека для Чтенія“ 1835 г., т. 12, отд. VI (Литературная лѣтопись).

была намъ извѣстна прежде, чѣмъ мы ихъ читали. Но кажется, что А. С. Пушкинъ вѣрилъ ихъ подлинности еще въ началѣ нынѣшняго года, оканчивая переводъ послѣднихъ балладъ этого собранія: онъ зналъ только, что неизвѣстный издатель „Гусли“ не кто иной, какъ г. Меримѣ, авторъ двухъ подложныхъ сочиненій съ *неподдѣльнымъ* цвѣтомъ, „Театра Клары Гасуль“ и „Хроники Карла IX“, нынѣ инспекторъ историческихъ памятниковъ во Франціи, и, желая получить отъ него свѣдѣніе объ исторіи этихъ пѣсень, обратился къ нему черезъ посредство одного общаго знакомаго. Г. Меримѣ чистосердечно признался въ подлогѣ. Отвѣтъ его, отъ 18 января 1835, А. С. Пушкинъ приложилъ въ подлинникѣ къ четвертой части своихъ „Стихотвореній“. Какъ „Пѣсни западныхъ Славянъ“ были недавно напечатаны въ Б. для Ч., то для полноты удовольствія ея читателей и самаго дѣла, мы должны перевести часть этого любопытнаго письма.

„Гусля сочинена мною, по двумъ причинамъ: во-первыхъ, для того, чтобы пошутить надъ *мѣстнымъ цвѣтомъ*, отъ котораго всѣ наши были безъ памяти около года Спасенія 1827. Чтобы объяснить вамъ вторую причину, я долженъ разсказать сказку. Въ томъ же 1827 году, одинъ мой пріятель и я рѣшились было отправиться путешествовать по Италіи. Мы сидѣли передъ картою и чертили на ней карандашомъ свой маршрутъ. Прибывъ въ Венецію, — разужѣтся на картѣ, — и наскучивъ англичанами и австрійцами, которые попадались всюду въ Италіи, я предложилъ моему товарищу повернуть въ Иллирію, — ѣхать въ Триестъ, а оттуда въ Рагузу. Предложеніе было принято, но кошелекъ нашъ былъ очень тощъ, и эта „скорбь ни съ чѣмъ несравнимая“, какъ говоритъ Раблѣ, останавливала насъ посреди всѣхъ предначертаній. Я предложилъ тогда написать впередъ „Путешествіе“ наше по Иллиріи, продать рукопись книгопродавцу, и на вырученные деньги отправиться посмотреть, много ли мы ошиблись въ описаніяхъ. Я принялъ на себя собирать народныя пѣсни и переводить ихъ: мой товарищъ сказалъ, что я не сумѣю этого сдѣлать

какъ слѣдуетъ, и я, чтобъ доказать противное, принесъ ему на другой день пять или шесть этихъ мнимыхъ переводовъ. Черезъ нѣсколько дней составила книга, которую мы и издали, съ соблюденіемъ величайшей тайны, и которою надули нѣсколько человѣкъ. Теперь я долженъ показать вамъ источники, откуда почерпнулъ для своихъ славянскихъ пѣсенъ пресловутый мѣстный цвѣтъ. Есть книжонка одного французскаго консула въ Банялукѣ. Заглавія не помню, но разборъ ся не труденъ. Авторъ старается доказать, что босняки большія свиньи, и представляетъ этому довольно хорошіе доводы. По временамъ онъ приводитъ иллирійскія слова, чтобъ поблистать своими познаніями,—а онъ, вѣрно, зналъ по славянски столько же, какъ я. Я тщательно списалъ всѣ эти слова, чтобы вкленить ихъ въ свои выноски. Но сверхъ того я читалъ одну главу „О обычаяхъ морлаховъ“ въ Фортиловомъ путешествіи по Далмаціи. Тамъ есть текстъ съ италіанскимъ переводомъ баллады „Жалоба Гасановой жены“: ту я перевелъ въ самомъ дѣлѣ. Это единая пьеса, въ моей „Гуслѣ“, настоящая иллирійская... Вотъ вся исторія. Скажите г. Пушкину, что я прошу у него извиненія. Мнѣ и лестно и стыдно, что я поддѣлъ его“.

Изъ „Библиотеки для Чтенія“ 1835 г.

***)** Объ Исторіи Пугачевского бунта. Разборъ статьи, напечатанной въ „Сынѣ Отечества“, въ январѣ 1835 года.

Нѣсколько дней послѣ выхода изъ печати „Исторіи Пугачевского бунта“ явился въ „Сынѣ Отечества“ разборъ этой книги. Я почелъ за долгъ прочитатъ его со вниманіемъ, надѣясь воспользоваться замѣчаніями неизвѣстнаго критика. Въ самомъ дѣлѣ, онъ указалъ мнѣ на одну ошибку и на три важныя опечатки. Статья вообще показалась мнѣ произведеніемъ человѣка, имѣющаго мало свѣдѣній о предметѣ,

*) „Современникъ“ 1836 г., т. 3, стр. 109—134. Статья А. С. Пушкина (въ журналѣ подписана буквами: А. П.).

мною описанномъ. Я собирався при другомъ изданіи исправить замѣченныя погрѣшности, оправдаться въ несправедливыхъ обвиненіяхъ и принести изъясненіе искренней моей благодарности рецензенту, тѣмъ болѣе, что его разборъ написанъ со всевозможной умѣренностію и благосклонностію.

Недавно въ „Сѣверной Пчелѣ“ сказано было, что сей разборъ составленъ покойнымъ *Броневскимъ*, авторомъ „Исторіи Донского Войска“. Это заставило меня перечестъ его критику и возразить на оную въ моемъ журналѣ, тѣмъ болѣе, что „Исторія Пугачевского бунта“, не имѣвъ въ публнкѣ никакого успѣха, вѣроятно, не будетъ имѣть и новаго изданія.

Въ началѣ своей статьи, критикъ, изъясняя сожалѣніе о томъ, что „Исторія Пугачевского бунта“ написана вяло, холодно, сухо, а не пламенной кистію Байрона и проч., признаетъ, что эта книга „есть драгоцѣнный матеріалъ, и что будущему историку, и безъ пособія нераспечатаннаго еще дѣла о Пугачевѣ, не трудно будетъ исправить нѣкоторые *поэтическіе вымыслы, незначущіе недосмотры*, и дать сему мертвому матеріалу жизнь новую и блистательную“. За симъ г. Броневскій отмѣчаетъ сіи поэтическіе вымыслы и недосмотры „не въ судъ и осужденіе автору, а единственно для пользы наукъ, для его и общей пользы“. Будемъ слѣдовать за каждымъ шагомъ нашего рецензента.

Критика г. Броневскаго. „На сей-то рѣкѣ (Яикѣ), говоритъ г. Пушкинъ, въ XV столѣтіи явились донскіе казаки.“

Выписанное въ подтвержденіе сего факта изъ Исторіи уральскихъ казаковъ г. Левшина (см. въ примѣч. къ I гл. 1-ое) долженствовало бы убѣдить автора, что донскіе казаки пришли на Яикъ въ XVI, а не въ XV столѣтіи, и именно около 1584 года.

Объясненіе. Есть разница между *появленіемъ* казаковъ на Яикѣ и *поселеніемъ* ихъ на сей рѣкѣ. Въ русскихъ лѣтописяхъ упоминается о казакахъ но прежде какъ въ XVI столѣтіи; но преданіе могло сохранить то, о чемъ умалчивала хроника. Наша лѣтопись въ первый разъ о татарахъ

упоминаетъ въ XIII столѣтіи, но татары существовали и прежде. Г. Левшинъ неоспоримо доказалъ, что казаки поселились на Яикѣ не прежде XVI столѣтія. Къ сему же времени должно отнести и существованіе полу-баснословной Гугнихи. Г. Левшинъ, опровергая Рычкова, спрашиваетъ, какъ могла она (Гугниха) помнить происшествія, которыя были почти за сто лѣтъ до ея рожденія? Отвѣчаю: такъ же, какъ и мы помнимъ происшествія временъ императрицы Анны Іоанновны—по преданію.

Критика г. Броневскаго. Вся первая глава, служащая введеніемъ къ „Ист. Пуг. бунта“, какъ краткая выписка изъ сочиненія г. Левшина, не имѣла, какъ думаемъ, никакой нужды въ огромномъ примѣчаніи къ сей главѣ (26 стр. мелкой печати), которое составляетъ почти всю небольшую книжку г. Левшина. Книжка эта не есть древность или такая рѣдкость, которой за деньги купить нельзя; посему почтенный авторъ могъ и долженъ былъ ограничить себя однимъ указаніемъ, откуда первая глава имъ заимствована.

Объясненіе. Полное понятіе о внутреннемъ управленіи яцкихъ казаковъ, объ образѣ жизни ихъ и проч. необходимо для совершеннаго объясненія Пугачевского бунта; и потому необходимо и *огромное* (т. е. пространное) примѣчаніе къ 1-й главѣ моей книги. Я не видалъ никакой нужды пересказывать по-своему то, что было уже сказано какъ нельзя лучше г-мъ Левшинымъ, который, по своей благосклонной снисходительности, не только дозволилъ мнѣ воспользоваться его трудомъ, но еще доставилъ мнѣ свою книжку, сдѣлавшуюся довольно рѣдкою.

Критика г. Броневскаго. „Извѣстно, говоритъ авторъ, что въ царствованіе Анны Іоанновны, Ігнатій Некрасовъ успѣлъ увлечь за собою множество донскихъ казаковъ въ Турцію“.

Некрасовцы бѣжали съ Дона на Кубань въ царствованіе Петра Великаго, во время Булавинскаго бунта, въ 1708 году. См. Исторію Д. Войска, Исторію Петра Великаго Берхмана и другія.

Объясненіе. Что Булавинъ и Некрасовъ бунтовали въ

1708 году, это неоспоримо. Неоспоримо и то, что въ слѣдующемъ сей послѣдній оставилъ Донъ и поселился на Кубани. Но изъ сего еще не слѣдуетъ, чтобъ при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ не могъ онъ съ своими единомышленниками перейти на турецкіе берега Дуная, гдѣ нынѣ находятся селенія некрасовцевъ. Въ Исторіи Петра 1-го въ послѣдній разъ объ нихъ упоминается въ 1711 году, во время переговоровъ при Прутѣ. Некрасовцы поручены *покровительству крымскаго хана* (къ великой досадѣ Петра I-го, требовавшего возвращенія бѣглецовъ и наказанія ихъ предводителя). Положившись на показанія рукописнаго „Историческаго Словаря“, составленнаго учеными и трудолюбивыми издателями „Словаря о святыхъ угодникахъ“, я повѣрилъ, что некрасовцы перешли съ Кубани на Дунай во время походовъ графа Миниха, въ то время, какъ запорожцы признали снова владычество русскихъ государей *). Но это показаніе несправедливо: некрасовцы оставили Кубань гораздо позже, именно въ 1775 году. Г. Броневскій (авторъ „Исторіи Донского Войска“) и самъ не зналъ сихъ подробностей; но тѣмъ не менѣе благодаренъ я ему за дѣльное замѣчаніе, заставившее меня сдѣлать новыя успѣшныя изслѣдованія.

Критика г. Броневскаго. „Атаманъ Ефремовъ былъ смѣненъ, а на его мѣсто избранъ Семенъ Силинъ. Послано повелѣніе въ Черкасскъ съжечь домъ Пугачова... Государыня не согласилась по просьбѣ начальства перенести станицу на другое мѣсто, хотя бы и менѣе выгодное; она согласилась только переименовать Зимовейскую станицу Потемкинскою“.

Въ 1772 году войсковой атаманъ Степанъ Ефремовъ, за недоставленіе отчетовъ объ израсходованныхъ суммахъ, былъ арестованъ и посаженъ въ крѣпость; вмѣсто его, пожалованъ изъ старшинъ въ наказные атаманы Алексѣй Иловайскій. Силинъ не былъ донскимъ войсковымъ атаманомъ.

*) Измѣнникъ Орликъ, сподвижникъ Мазепы, современникъ Некрасова, былъ тогда еще живъ и призвалъ изъ Бендеръ уговаривать старшинныхъ своихъ товарищей. — А. П.

Изъ „Донской Исторіи“ не видно, чтобы правительство приказало сжечь домъ Пугачева; а видно только, что, по прошенію донского начальства, Зимовейская станица перенесена *на выгоднѣйшее мѣсто* и названа Потемкинскою. См. „Исторію Д. Войска“ стр. 88 и 124 части I.

Объясненіе. Въ 1773 и 74 году войсковымъ атаманомъ донского войска былъ *Семенъ Сулинъ* (а не Силинъ). Иловайскій былъ избранъ уже на его мѣсто. У меня было въ рукахъ болѣе пятнадцати указовъ на имя войскового атамана Семена Сулина. Въ „Русскомъ Инвалидѣ“, въ нынѣшнемъ 1836 году, напечатано нѣсколько донесеній отъ полковника Платова къ войсковому атаману Семену Пикитичу Сулину во время осады Силистріи въ 1773 году. Правда, что въ „Исторіи Донского Войска“ (сочиненіи моего рецензента) не упомянуто о Семенѣ Сулинѣ. Это пропускъ важный и, къ сожалѣнію, не единственный въ его книгѣ.

Г. Броневскій также несправедливо оспариваетъ мое показаніе, что послано было изъ Петербурга повелѣніе сжечь домъ и имущество Пугачева, ссылаясь опять на свою „Исторію Донского Войска“, гдѣ о семъ обстоятельствѣ опять не упомянуто. Указъ о томъ, писанный на имя атамана Сулина, состоялся 1774 года, января 10 (NB. казнь Пугачева совершилась ровно черезъ годъ, 1775 года, 10 января). Вотъ собственныя слова указа:

„Дворъ Емельки Пугачева, въ какомъ бы онъ худомъ или лучшемъ состояніи ни находился, и хотя бы состоялъ онъ въ развалившихся токмо хижинахъ, имѣетъ донское войско, при присланномъ отъ оберъ-коменданта крѣпости Св. Димитрія штабъ-офицерѣ, собравъ священный той станицы чинъ, старѣйшинъ и прочихъ оной жителей, при всѣхъ ихъ сжечь, и на томъ мѣстѣ черезъ палача или профоса пепелъ развѣять; потому что мѣсто огородить надобами, или ровомъ окопать, оставя на вѣчныя времена безъ поселенія, какъ оскверненное жительствою на немъ всѣ казни лютыя и истязанія дѣлами своими превосшедшаго злодѣя, котораго имя останется мерзостію навѣки, а особливо для донскаго общества, яко оскорбленнаго ношеніемъ

тѣмъ злодѣемъ казацкаго на себѣ имени—хотя отнюдь такимъ богомерзкимъ чудовищемъ ни слава войска донскаго, ни усердіе онаго, ни ревность къ намъ и отечеству помрачиться и ни малѣйшаго нареканія претерпѣть не можетъ.“

Я имѣлъ въ рукахъ и донесеніе Сулина о точномъ исполненіи указа (иначе и быть не могло). Въ семъ-то донесеніи Сулинъ отъ имени жителей Зимовейской станицы проситъ о дозволеніи перенести ихъ жилища съ земли, оскверненной пребываніемъ злодѣя, на другое мѣсто, *хотя бы и менѣе удобное*. Отвѣта я не нашель; но по всѣмъ новѣйшимъ картамъ видно, что Потемкинская станица стоитъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на старинныхъ означена Зимовейская. Изъ сего я вывелъ заключеніе, что государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердія, и только переименовала Зимовейскую станицу въ Потемкинскую.

Критика г. Бруневскаго. Авторъ не сличилъ показанія жены Пугачева съ его собственнымъ показаніемъ; явно, что свидѣтельство жены не могло быть вѣрно: она, конечно, не могла знать всего и, конечно, не все высказала, что знала. Собственное же признаніе Пугачева, что онъ скрывался въ Польшѣ, должно предпочесть показанію станичнаго атамана Трофима Омина, въ которомъ сказано, что будто бы Пугачевъ, отлучаясь изъ дому въ разное время, кормился *милостынею!!* и въ 1771 г. былъ на Кумѣ.— Но Пугачевъ въ началѣ 1772 года явился на Яикъ съ польскимъ фальшивымъ паспортомъ, котораго онъ на Кумѣ достать не могъ.

НаДону по преданію извѣстно, что Пугачевъ до семилѣтней войны промышлялъ, по обычаю предковъ, на Волгѣ, на Кумѣ и около Кызляра; послѣ первой турецкой войны скрывался между польскими и глуховскими раскольниками. Словомъ, въ мирное время иногда приходилъ въ домъ свой на короткое время; а постоянно занимался воровствомъ и разбоемъ въ окрестностяхъ Донской земли, около Данкова, Таганрога и Острожска.

Обясненіе. Показанія мои извлечены изъ официальныхъ, неоспоримыхъ документовъ. Рецензентъ мой, укоряя меня въ несообразностяхъ, не показываетъ, въ чемъ оныя состоятъ. Изъ показаній жены Пугачева, станичнаго атамана Ооминна и, наконецъ, самого самозванца, *въ концѣ* (а не въ началѣ) 1772 года приведеннаго въ малыковскую канцелярію, видно, что онъ въ 1771 году отпущенъ изъ арміи на Донъ, по причинѣ болѣзни; что въ концѣ того же года, уличенный въ возмутительныхъ рѣчахъ, онъ успѣлъ убѣжать, и, тайно возвратясь домой въ началѣ 1772 года, былъ схваченъ, и бѣжалъ опять. Здѣсь прекращаются свѣдѣнія, собранныя правительствомъ на Дону. Самъ Пугачевъ показалъ, что весь 1772 годъ скитался онъ за польской границею и пришелъ оттуда на Яикъ, кормясь милостынею (о чемъ Ооминъ не упоминаетъ ни слова). Г. Броневскій, выписывая сіе послѣднее показаніе, подчеркиваетъ слово *милостыня* и ставитъ нѣсколько знаковъ удивленія (!!); но что-жъ удивительнаго въ томъ, что нищій бродяга итается милостынею? Г. Броневскій, не взявъ на себя труда сличить мои показанія съ документами, приложенными къ „Исторіи Пугачевского бунта“, кажется, не читалъ и манифеста о преступленіяхъ казака *Пугачева*, въ которомъ именно сказано, что онъ *кормился отъ подаянія*. (См. манифестъ отъ 19-го декабря 1774 года, въ „Приложеніи къ Исторіи Пугачевского бунта“).

Г. Броневскій, опровергая свѣдѣтельство жены Пугачева, показанія станичнаго атамана Ооминна и официально обнародованное извѣстіе, пишетъ, что *Пугачевъ въ началѣ 1772 года явился на Яикъ съ польскимъ фальшивымъ паспортомъ, котораго онъ на Кумъ достать не могъ*.—Пугачевъ въ началѣ 1772 года былъ на Кубани и на Дону; онъ явился на Яикъ въ концѣ того же года не съ польскимъ фальшивымъ паспортомъ, но съ русскимъ, даннымъ ему отъ начальства, имъ обманутаго, съ Добрянскаго форпоста. Преданіе, слышанное г. Броневскимъ, будто бы Пугачевъ, *по обычаю предковъ* (!), промышлялъ разбоями на Волгѣ, на Кумѣ и около Кизляра, ни на чемъ не основано

и опровергнуто официальными, достовѣрнѣйшими документами. Пугачевъ былъ *подозрѣваемъ* въ воровствѣ (см. показаніе Оомина); но до самаго возмущенія яицкаго войска *ни въ какихъ* разбояхъ не бывалъ.

Г. Броневскій, оспаривая достовѣрность неоспоримыхъ документовъ, имѣлъ, кажется, въ виду оправдать собственныя свои показанія, помѣщенные имъ въ „Исторіи Донскаго войска“. Тамъ сказано, что природа одарила Пугачева *чрезвычайной живостію, и съ неустрашимымъ мужествомъ дала ему и силу тѣлесную и твердость душевную*; но что, къ несчастію, ему *недоставало самой лучшей и нужнѣйшей прикрасы—добродѣтели*; что отецъ его былъ убитъ въ 1738 году; что двѣнадцатилѣтній Пугачевъ, *гордясь своимъ одиночествомъ, своею свободою, съ дерзостію и самонадѣяніемъ вызывалъ днтей равныхъ съ нимъ мѣтъ на бой, нападалъ храбро, билъ ихъ всегда*; что въ одной изъ такихъ забавъ убилъ онъ предводителя противной стороны; что по пятнадцатому году онъ уже не *терпѣлъ* никакой власти; что на двадцатомъ году ему стало *тѣсно и душно на родной землѣ*; что честолюбіе мучило его; что въслѣдствіе того онъ сѣлъ однажды на коня и *пустился искать приключеній въ чистое поле*; что онъ поѣхалъ на востокъ, достигнулъ *Волги и увидѣлъ большую дорогу*; что встрѣтивъ четырехъ удалцовъ, началъ онъ съ ними грабить и разбойничать; что, *впрямую*, онъ занимался разбоями только во время мира, а во время войны служилъ въ казачьихъ полкахъ; что генералъ Тотлебенъ, во время прусской войны, увидѣвъ однажды Пугачева, сказалъ окружающимъ его чиновникамъ: „*чѣмъ болѣе смотрю на сего казака, тѣмъ болѣе порижаюсь сходствомъ его съ великимъ княземъ*“ и проч. и проч. (См. „Исторію Донскаго войска“, ч. II гл. XI). Все это ни на чемъ не основано и заимствовано изъ пустаго пѣмецкаго романа „Ложный Петръ III“, не заслуживающаго никакого вниманія. Г. Броневскій, укоряющій меня въ какихъ-то *поэтическихъ вымыслахъ*, самъ поступилъ неосмотрительно, повторивъ въ своей „Исторіи“ вымыслы столь нелѣпые.

Критика в. Грошевская. „Шигаевъ, думая заслужить себѣ прощенье, задержалъ Пугачева и Хлопушу, и послалъ къ оренбургскому губернатору сотника Логинова съ предложеніемъ о выдачѣ самозванца“. Но въ поставленномъ тутъ же подъ № 12 (75) примѣчаніи авторъ говоритъ, что сіе показаніе Рычкова невѣроятно: ибо Пугачевъ и Шигаевъ, послѣ бѣгства ихъ изъ-подъ Оренбурга, продолжали дѣйствовать заодно.

Если показаніе Рычкова невѣроятно, то въ текстъ и не должно было его ставить; если же Шигаевъ только въ крайнемъ случаѣ въ самомъ дѣлѣ думалъ предать Пугачева, то это обстоятельство не мѣшало продолжать дѣйствовать заодно съ Пугачевымъ: ибо бѣда еще не наступила. Исторiku, конечно, показалось труднымъ сличать противорѣчащія показанія и выводить изъ нихъ слѣдствія; но это его обязанность, а не читателей.

Объясненіе. Выписываю точныя слова текста и примѣчаніе на оный:

„Послѣ сраженія подъ Татищевой, Пугачевъ съ 60 казаками пробился сквозь непріятельское войско и прискакалъ самъ-пятъ въ Бердскую слободу съ извѣстіемъ о своемъ пораженіи. Бунтовщики начали выбираться изъ Берды, кто верхомъ, кто на саняхъ. На воза громоздили награбленное имущество. Женщины и дѣти шли пѣшія. Пугачевъ велѣлъ разбить бочки вина, стоявшія у его избы, опасаясь нѣяства и смятенія. Вино хлынуло по улицѣ. Между тѣмъ Шигаевъ, видя, что все пропало, думалъ заслужить себѣ прощенье и, задержавъ Пугачева и Хлопушу, послалъ отъ себя къ оренбургскому губернатору съ предложеніемъ о выдачѣ ему самозванца, и прося дать ему сигналъ двумя пушечными выстрѣлами.

„Примѣчаніе. Рычковъ пишетъ, что Шигаевъ велѣлъ связать Пугачева. Показаніе невѣроятное. Увидимъ, что Пугачевъ и Шигаевъ дѣйствовали заодно нѣсколько времени послѣ бѣгства ихъ изъ-подъ Оренбурга“.

Шигаевъ, человѣкъ лукавый и смысленный, могъ подъ кажимъ ни есть предлогомъ задержать нехитраго самозванца;

но не думаю, чтобъ онъ его *связалъ*: Пугачевъ этого ему бы не простилъ.

Критика г. Броневскаго. „Уфа была освобождена. Михельсонъ, нигдѣ не останавливаясь, пошелъ на Тибинскъ, куда послѣ чесноковскаго дѣла прискакали Ульяновъ и Чика“. Тамъ они были схвачены казаками, и выданы побѣдителямъ, который отослалъ ихъ скованныхъ въ Уфу“. Въ примѣчаніи же 16-мъ (79), принадлежащемъ къ сей V главѣ, сказано совсѣмъ другое, именно: „По своемъ разбитіи, Чика съ Ульяновымъ остановились ночевать въ Богоявленскомъ жѣдноплавильномъ заводѣ. Приказчикъ угостилъ ихъ и, напоивъ до-пьяна, ночью связалъ и представилъ въ Тобольскъ. Михельсонъ подарилъ 500 руб. приказчиковой женѣ, подавшей совѣтъ напоить бѣглецовъ“.

Мѣсто дѣйствія находилось въ окрестностяхъ Уфы; а по сему приказчикъ не имѣлъ нужды отсылать преступниковъ въ Тобольскъ, находящійся отъ Уфы въ 1145 верстахъ.

Объясненіе. Если бы г. Броневскій потрудились взглянуть на текстъ, то онъ тотчасъ исправилъ бы опечатку, находящуюся въ примѣчаніи. Въ текстѣ сказано, что Ульяновъ и Чика были выданы Михельсону въ *Табинскъ* (а не въ *Тобольскъ*, который слишкомъ далеко отстоитъ отъ Уфы, и не въ *Тибинскъ*, который не существуетъ).

Критика г. Броневскаго. „Солдатамъ начали выдавать въ сутки только по четыре фунта муки, т. е. десятую часть мѣры обыкновенной“.

Солдатъ получаетъ въ сутки два фунта муки, или три фунта печенаго хлѣба. По означенной выше мѣрѣ выйдетъ, что солдаты во время осады получали двойную порцію, или что весь гарнизонъ состоялъ изъ 20 только человекъ. Тутъ что-нибудь да не такъ.

Очевидная опечатка: *вмѣсто четыре фунта*, должно читать *четверть фунта*, что и составитъ *около десятой части* мѣры обыкновенной, т. е. двухъ фунтовъ печенаго хлѣба. Смотри статью „Объ осадѣ Яицкой крѣпости“, откуда заимствовано сіе показаніе. Вотъ собственныя слова неизвѣстнаго повѣствователя: „солдатамъ стали выдавать въ

сутки только по четверти фунта муки, что составляетъ десятую часть обыкновенной порціи“.

Критика 1. Броневскаго. Въ примѣчаніи 18 (81) сказано, что оборона Яицкой крѣпости составлена по статьѣ, напечатанной въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и по журналу коменданта полковника Симонова. Какъ авторъ принялъ уже за правило помѣщать вполнѣ всѣ акты, изъ которыхъ онъ что либо заимствовалъ, то журналъ Симонова, пикдѣ до сего не напечатанный, заслуживалъ быть помѣщеннымъ въ примѣчаніяхъ такъ же вполнѣ, какъ Рычкова — объ осадѣ Оренбурга и архимандрита Платона — о сожженіи Казани.

Объясненіе. Я не могъ помѣстить *всѣ* акты, изъ коихъ заимствовалъ свои свѣдѣнія. Это составило бы болѣе десяти томовъ: я долженъ былъ ограничиться любопытнѣйшими.

Критика 1. Броневскаго. „Михельсонъ, оставя Пугачева вправѣ, пошелъ прямо на Казань, и 11-го іюля вечеромъ былъ уже въ 15 верстахъ отъ нея. — Ночью отрядъ его тронулся съ мѣста. Поутру, въ 45 верстахъ отъ Казани, услышалъ пушечную пальбу!..“ Маленькій недосмотръ!

Объясненіе. Важный недосмотръ: вмѣсто въ 15 *верстахъ*, должно читать въ *пятидесяти*.

Критика 1. Броневскаго. Пугачевъ отдыхалъ сутки въ Сарептѣ, отсюда пустился внизъ къ Черному Яру. Михельсонъ шелъ по его пятамъ. Наконецъ, 25 августа на разсвѣтѣ, онъ настигнулъ Пугачева въ *ста пяти* верстахъ отъ Царицына. Здѣсь Пугачевъ, разбитый въ послѣдній разъ, бѣжалъ, и въ семидесяти верстахъ отъ мѣста сраженія переплылъ Волгу *выше* Черноярска“.

Изъ сего описанія видно, что Пугачевъ пероплылъ Волгу въ 176 верстахъ *ниже* Царицына; а какъ между симъ городомъ и Чернояромъ считается только 155 верстъ, то изъ сего выходитъ, что онъ переправился черезъ Волгу *ниже* Чернояра въ 20 верстахъ. — По другимъ извѣстіямъ, Пугачеву нанесенъ послѣдній ударъ подъ самымъ Царицынымъ, откуда онъ бѣжалъ по дорогѣ къ Чернояру, и въ

сорока верстахъ отъ Царицына переправился черезъ Волгу, то есть верстахъ въ десяти ниже Сарепты.

Объясненіе. Выписываю точныя слова текста:

„Пугачевъ стоялъ на высотѣ, между двумя дорогами. Михельсонъ ночью обошелъ его и сталъ противу мятежниковъ. Утромъ Пугачевъ опять увидѣлъ предъ собою своего грознаго гонителя; но не смутился, а смѣло пошелъ на Михельсона, отрядивъ свою пѣшую сволочъ противу донскихъ и чугуевскихъ казаковъ, стоящихъ по обомъ крыламъ отряда. Сраженіе продолжалось недолго. Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ разстроили мятежниковъ. Михельсонъ на нихъ ударилъ. Они бѣжали, брося пушку и весь сбозъ. Пугачевъ, переправясь черезъ мостъ, напрасно старался ихъ удержать; онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ ними. Ихъ били и преслѣдовали сорокъ верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ тысячъ убитыми и до семи тысячъ взятыми въ плѣнъ. Остальные разбѣжались. Пугачевъ, въ семидесяти верстахъ отъ мѣста сраженія, переплылъ Волгу, выше Черноярска, на четырехъ лодкахъ, и ушелъ на луговую сторону, не болѣе какъ съ тридцатью казаками. Преслѣдовавшая его конница опоздала четвертью часа. Бѣглецы, не успѣвшіе переправиться на лодкахъ, бросились вплавь и перетонули“.

Рецензентъ пропустилъ безъ вниманія главное обстоятельство, поясняющее дѣйствіе Михельсона, который ночью обошелъ Пугачева, и слѣдственно разбивъ его, погналъ *не внизъ*, а *вверхъ* по Волгѣ, къ Царицыну. Такимъ образомъ мнимая полнота моего разсказа исчезаетъ. Но понимаю, какимъ образомъ военный человѣкъ и военный писатель (ибо г. Броневскій писалъ военныя книги) могъ сдѣлать столь опрострачивую критику на мѣсто столь ясное само по себѣ!

Критика г. Броневскаго. Къ VI главѣ 6 примѣчанія не достаеъ.

На картѣ не означено многихъ мѣстъ, и даже городовъ и крѣпостей. Это чрезвычайно затрудняетъ читателя.

Объясненіе. Цифра, означающая ссылку на замѣчаніе, есть опечатка („Храбрый Толстой былъ убитъ,“) и отрядъ“ и проч.).

Карта далеко не полна; но она была необходима, и я не имѣлъ возможности составить другую, болѣе совершенную.

Г. Броневскій заключаетъ свою статью слѣдующими словами: „сія немногіе недостатки ни мало не уменьшаютъ внутренняго достоинства книги, и если бы нашлось и еще нѣсколько ошибокъ, книга, по содержанію своему, всегда останется достойною вниманія публики“.

Если бы всѣ замѣчанія моего критика были справедливы, то врядъ ли книга моя была бы достойна вниманія публики, которая въ правѣ требовать отъ историка если не таланта, то добросовѣстности въ трудахъ и осмотрительности въ показаніяхъ. Знаю, что оправдываться опечатками легко; но, надѣюсь, читатели согласятся, что *Тобольскъ*, вмѣсто *Табинскъ*, въ *пятнадцати верстахъ*, вмѣсто въ *пятидесяти верстахъ*, и наконецъ *четыре фунта*, вмѣсто *четверти фупта*—болѣе походятъ на опечатки, нежели слѣдующія сггата, которыя гдѣ-то мы видѣли: *Митрополитъ* — читай: *простой священникъ*, *духовникъ царскій*; *зала въ тридцать саженой вышины* — читай: *зала въ пятнадцать аршинъ вышины*; *Петръ I изъ Вѣны отправился въ Венецію*—читай: *Петръ I изъ Вѣны поспѣшно возвратился въ Москву*.

Рецензенту, наскоро набрасывающему бѣглыя замѣчанія на книгу, бѣгло прочитанную, очень извинительно ошибаться; но автору, посвятившему два года на составленіе ста шестидесяти осьми страницекъ, таковое небреженіе и легкомысліе были бы непростительны. Я долженъ былъ поступать тѣмъ съ большею осмотрительностію, что въ изложеніи военныхъ дѣйствій (предметъ для меня совершенно новый) не имѣлъ я тутъ никакого руководства, кромѣ донесенія частныхъ начальниковъ, показаній казаковъ, бѣглыхъ крестьянъ и тому подобнаго—показаній, часто другъ другу противорѣчащихъ, преувеличенныхъ, иногда совершенно ложныхъ. Я прочелъ со вниманіемъ все, что было напечатано о *Пугачевѣ*, и сверхъ того 18 толстыхъ томовъ in-folio разныхъ рукописей, указовъ, донесеній и проч. Я посѣтилъ мѣста, гдѣ произошли главныя событія эпохи, мною описанной, повѣряя мертвые документы словами еще живыхъ, по уже

престарѣлыхъ очевидцевъ и вновь повѣряя ихъ дряхлѣющую память историческою критикою.

Сказано было, что „Исторія Пугачевского бунта“ не открыла ничего новаго, неизвѣстнаго. Но вся эта эпоха была худо извѣстна. Воспная часть оной никѣмъ не была обработана; многоо даже могло быть обнародовано только съ высочайшаго соизволенія. Взглянувъ на „Приложенія къ Исторіи Пугачевского бунта“, составляющія весь второй томъ, всякій легко удостовѣрится во множествѣ важныхъ историческихъ документовъ, въ первый разъ обнародованныхъ. Стоитъ упомянуть о собственноручныхъ указахъ Екатерины II, о нѣсколькихъ ея письмахъ, о любопытной лѣтописи нашего славнаго академика Рыкова, коего труды ознаменованы истинной ученостію и добросовѣстностію—достоинствами столь рѣдкими въ наше время, о множествѣ писемъ знаменитыхъ особъ, окружавшихъ Екатерину: Панина, Румянцева, Бибикова, Державина и другихъ... Признаюсь, я полагалъ себя въ правѣ ожидать отъ публики благосклоннаго пріема, конечно, не за самую „Исторію Пугачевского бунта“, но за историческія сокровища, къ ней приложенныя. Сказано было, что историческая достовѣрность моего труда поколебалась отъ разбора г. Броневского. Вотъ доказательство, какое вліяніе имѣетъ у насъ критика, какъ бы поверхностна и неосновательна она ни была!

Теперь обращаюсь къ г. Броневскому, уже не какъ къ рецензенту, но какъ къ историку.

Въ своей „Исторіи Донского войска“ онъ помѣстилъ краткое извѣстіе о Пугачевскомъ бунтѣ. Источниками служили ему: вышеупомянутый романъ „Ложный Петръ III“, „Жизнь А. И. Бибикова“ и, наконецъ, преданія, слышанныя имъ на Дону. О романѣ мы уже сказали наше мнѣніе. „Записки о жизни и службѣ А. И. Бибикова“ по всѣмъ отношеніямъ очень замѣчательная книга, а въ нѣкоторыхъ—и авторитетъ. Что касается до преданій, то если оныя, съ одной стороны, драгоцѣнны и незамѣнимы, то, съ другой, я по опыту знаю, сколь много требуютъ они строгой повѣр-

жи и осмотрительности. Г. Броневскій не умѣлъ ими пользоваться. Преданія, собранныя имъ, не даютъ его разсказу печати живой современности, а показанія, на нихъ основанныя, сбивчивы, темны, а иногда и совершенно ложны.

Укажемъ и мы на *нѣкоторые вымыслы* (къ сожалѣнію, непозитическіе), на *нѣкоторые недосмотры* и явныя несообразности.

Привода вышеупомянутый анекдотъ о Тотлебенѣ, будто бы замѣтившемъ сходство между Петромъ III и Пугачевымъ, г. Броневскій пишетъ: „Если анекдотъ сей справедливъ, то можно согласиться, что слова сія, просто сказанныя, хотя въ то время не сдѣлали на умъ Пугачева большого впечатлѣнія, но впослѣдствіи могли подать ему мысль называться императоромъ“. А черезъ нѣсколько страницъ г. Броневскій пишетъ: „Пугачевъ принялъ предложеніе яицкаго казака Ивана Чики, болѣе его дерзновеннаго, называться Петромъ III“.—Противорѣчіе!

Анекдотъ о Тотлебенѣ есть вздорная выдумка. Историкъ не слѣдовало о немъ и упоминать и того менѣе выводить изъ него какое-бы то ни было заключеніе. Государь Петръ III былъ дороденъ, бѣлокуръ, имѣлъ голубые глаза; самозванецъ былъ смуглъ, сухощавъ, малорослъ, — словомъ, ни въ одной чертѣ не сходствовалъ съ государемъ.

Страница 98. „12 генваря 1773, раскольники (въ Яицкомъ городкѣ) взбунтовались и убили генерала (Траубенберга), такъ и своего атамана“.

Не въ 1773, но въ 1771. См. Левшина, Рычкова, Ист. Пугачевского бунта и пр.

Стран. 102. „Полковникъ Чернышевъ прибылъ на освобожденіе Оренбурга, и 29-го апрѣля 1774 года сражался съ мятежниками; губернаторъ не подалъ ему никакой помощи“ и проч.

Не 29-го апрѣля 1774, а 13-го ноября 1773; въ апрѣлѣ 1774 года разбитый Пугачевъ скитался въ Уральскихъ горахъ, собирая новую шайку.

Г. Броневскій, описавъ прибытіе Бибикова въ Казань, пишетъ, что въ то время (въ январѣ 1774) *самозванецъ*

въ Самарѣ и Пензѣ былъ принятъ народомъ съ хлѣбомъ и солью.

Самозванецъ въ январѣ 1774 года находился подъ Оренбургомъ и разѣзжалъ по окрестностямъ оного. Въ Самарѣ онъ никогда не бывалъ, а Пензу взялъ уже послѣ сожженія Казани, во время своего страшнаго бѣгства, за нѣсколько дней до своей собственной гибели.

Описывая первыя дѣйствія генерала Бибикова и медленное движеніе войскъ, идущихъ на пораженію самозванца къ Оренбургу, г. Броневскій пишетъ: „Пугачевъ, умѣя грабить и рѣзать, не умѣлъ воспользоваться симъ выгоднымъ для него положеніемъ. Повѣривъ распущеннымъ нарочно слухамъ, что будто изъ Астрахани идетъ для нападенія на него нѣсколько гусарскихъ полковъ съ донскими казаками, онъ долго простоялъ на мѣстѣ, потомъ обратился къ низовью Волги, и чрезъ то упустилъ время, чтобы стать на угрожаемомъ нападеніемъ мѣстѣ“.

Показаніе ложное. Пугачевъ все стоялъ подъ Оренбургомъ, и не думалъ обращаться къ низовью Волги.

Г. Броневскій пишетъ: „новый главноначальствующій, графъ Панинъ, не нашелъ ни мѣстъ (на какомъ мѣстѣ?) всѣхъ нужныхъ средствъ, чтобы утишить пожаръ мгновенно и не допустить распространенія оного за Волгою“.

Графъ П. И. Панинъ назначенъ главноначальствующимъ, когда уже Пугачевъ пореправился черезъ Волгу и когда пожаръ уже распространился отъ Нижняго-Новгорода до Астрахани. Графъ прибылъ изъ Москвы въ Керенскъ, когда уже Пугачевъ разбитъ былъ окончательно полковникомъ Михельсономъ.

Умалчиваю о нѣсколькихъ незначущихъ ошибкахъ, но не могу не замѣтить важныхъ пропусковъ. Г. Броневскій не говоритъ ничего о генералъ-маіорѣ Карѣ, игравшемъ столь замѣчательную и рѣшительную роль въ ту несчастную эпоху. Не сказываетъ, кто былъ назначенъ главноначальствующимъ по смерти А. И. Бибикова. Дѣйствія Михельсона въ Уральскихъ горахъ, его быстрое, неутомимое преслѣдованіе мятежниковъ оставлены безъ вниманія. На

слова не сказано о Державинѣ, ни слова о Всеволожскомъ: Осада Яицкаго городка описана въ трехъ слѣдующихъ строкахъ: „онъ (Мансуровъ) освободилъ Яицкій городокъ отъ осады, и избавилъ жителей отъ голодной смерти, ибо они уже употребляли въ пищу землю“.

Политическія и правоучительныя размышленія *), коими г. Броневскій украсилъ свое повѣствованіе, слабы и пошлы, и не вознаграждаютъ читателей за недостатокъ фактовъ, точныхъ извѣстій и яснаго изложенія происшествій.

Я не имѣлъ случая изучать исторію Дона, и потому не могу судить о степени достоинства книги г. Броневского; прочитавъ ее, я не нашелъ ничего новаго, мнѣ неизвѣстнаго; замѣтилъ нѣкоторыя ошибки, а въ описаніи эпохи мнѣ знакомой—непростительную опрометчивость. Кажется, г. Броневскій не имѣлъ ни средствъ ни времени совершить истинно историческій памятникъ. „Тяжкая болѣзнь“—говоритъ онъ въ началѣ „Исторіи Донскаго Войска“—принудила меня отправиться на Кавказъ. Первый курсъ леченія пятигорскими минеральными водами, хотя не оказалъ большого дѣйствія, но, по совѣту медиковъ, я рѣшился взять другой курсъ. Ѣхать въ Петербургъ и къ веснѣ назадъ возвращаться было слишкомъ далеко и убыточно; оставаться на зиму въ горахъ слишкомъ холодно и скучно; итакъ 15-го сентября 1831 года отправился я въ Новочеркасскъ, гдѣ родной мой братъ жилъ по службѣ съ своимъ семействомъ. Осьмиимѣсячное мое пребываніе въ городѣ донскаго войска доставило мнѣ случай познакомиться со многими почтенными особами донского края“ и проч. „Впо-

*) Напримѣръ: „нравственный міръ, такъ же какъ и физическій, имѣтъ свои феномены, способные устрашить всякаго любопытнаго, держащаго разсматривать оныя. Если вѣрить философамъ, что человѣкъ состоитъ изъ двухъ стихій, добра и зла: то Емелька Пугачевъ безспорно принадлежалъ къ рѣдкимъ явленіямъ, къ извергамъ, внѣ законовъ природы рожденнымъ; ибо въ естествѣ его не было и малѣйшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которая разумное твореніе отъ безсмысленнаго животнаго отличаютъ. Исторія сего злодѣя можетъ изумить порочнаго и вселить отвращеніе даже въ самыхъ разбойникахъ и убійцахъ. Она выѣстъ съ тѣмъ доказывать, какъ низко можетъ падать человѣкъ, и какою адскою злобою можетъ быть преисполнено его сердце. Если бы дѣянія Пугачева подвержены были малѣйшему сомнѣнію, я съ радостію вырвалъ бы страницу сію изъ труда моего“.

слѣдствіи, увѣрившись, что въ словесности нашей недостаетъ исторіи донскаго войска, имѣя досугъ и добрую волю, я рѣшился пополнить этотъ недостатокъ“ и проч.

Читатели г. Броневскаго могли, конечно, удивиться, увидя, вмѣсто статистическихъ и хронологическихъ изслѣдованій о казакахъ, подробный отчетъ о лѣченіи автора; но кто не знаетъ, что для больного человѣка здоровье его не въ примѣръ занимательнѣе и любопытнѣе всевозможныхъ историческихъ изысканій и предположеній! Изъ добродушныхъ показаній г. Броневскаго видно, что онъ въ своихъ историческихъ занятіяхъ искалъ только невиннаго развлеченія. Это лучшее оправданіе недостаткамъ его книги.

А. С. Пушкинъ.

*) Стихотворенія Александра Пушкина. Часть четвертая. Санктпетербургъ. Печатано въ типографіи Императорской Россійской Академіи, 1835. 189. (8).

Четвертая часть стихотвореній Пушкина заключаетъ въ себѣ двадцать шесть пьесъ, и въ числѣ ихъ извѣстный всѣмъ наизусть „Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“, напечатанный, вмѣсто предисловія, при первой главѣ „Евгенія Онѣгина“ перваго изданія; потомъ, три большія сказки и, наконецъ, шестнадцать пѣсонъ западныхъ славянъ, переложенныхъ или переложившихъ съ французскаго (исторія этого перевода извѣстна). Вообще очень мало утѣшительнаго можно сказать объ этой четвертой части стихотвореній Пушкина. Конечно, въ ней виденъ закатъ таланта, но таланта Пушкина; въ этомъ закатѣ есть еще какой-то блескъ, хотя слабый и блѣдный... Такъ, на примѣръ, всѣмъ извѣстно, что Пушкинъ перевелъ шестнадцать сербскихъ пѣсенъ съ французскаго, а самыя эти пѣсни подложныя, выдуманныя двумя французскими шарлатанами—и что-жъ?.. Пушкинъ умѣлъ придать этимъ пѣснямъ колоритъ славян-

*) „Молва“ (при Телескопѣ) 1836 г., ч. II, № 3. (Библиографія). Статья В. Б. (В. Бѣлинскаго).

скій, такъ что, если бы его ошибка не открылась, никто и не подумалъ-бы, что это пѣсни подложныя. Кто что ни говори—а это могъ сдѣлать только одинъ Пушкинъ!—Самыя его сказки—онѣ, конечно, рѣшительно дурны, конечно поэзія и не касалась ихъ *); но все-таки онѣ цѣлою головою выше всѣхъ попытокъ въ этомъ родѣ другихъ нашихъ поэтовъ. Мы не можемъ понять, что за странная мысль овладѣла имъ, и заставила тратить свой талантъ на эти поддѣльные цвѣты. Русская сказка имѣетъ свой смыслъ, но только въ такомъ видѣ, какъ создала ее народная фантазія; передѣланная же и прикрашенная, она не имѣетъ рѣшительно никакого смысла. „Гусаръ“, „Будрысь и его сыновья“, „Воевода“—всѣ эти пьесы не безъ достоинства, а послѣдняя рѣшительно хороша: такіе стихи, какъ напри- мѣръ, эти, теперь очень рѣдки:

Говорить онъ: „Все пропало,
Чѣмъ лишь только, я, бывало,
Наслаждался, что любилъ:
Бѣлой груди воздыханье,
Нѣжной ручки пожиманье—
Воевода все купилъ.
Сколько лѣтъ тобой страдать я,
Сколько лѣтъ тебя искалъ я—
Отъ меня ты отперлась.
Не искалъ онъ, не страдалъ онъ,
Серебромъ лишь побряцалъ онъ—
И ему ты отдалась.
Я скакалъ во мракѣ ночи
Милой панны видѣть очи,
Руку нѣжную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лѣтъ ей и веселья,
И потомъ на вѣкъ бѣжать“.

Здѣсь есть чувство; но прочее, по большей части, показываетъ одно умѣнье владѣть языкомъ и речкою, умѣнье,

*) Впрочемъ, сказка „о Рыбакѣ и Рыбкѣ“ заслуживаетъ вниманія по крайней простотѣ и естественности разсказа, а болѣе всего по своему размѣру чисто-русскому. Кажется, нашъ поэтъ хотѣлъ именно сдѣлать попытку въ этомъ размѣрѣ, и для того нарочно написалъ эту сказку.

иногда уже изъѣняющее, потому что нерѣдко попадаютъ стихи, вставленные для рѣзны, особенно въ сказкахъ, стихахъ, въ которыхъ отсутствуетъ даже вкусъ, видно одно *zavoir-faire*, и то нерѣдко съ промахами!..

„Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“ привелъ насъ въ грустное расположеніе духа: онъ напомнилъ намъ золотое время поэзіи Пушкина, то время, когда—какъ говоритъ онъ самъ о себѣ въ этой пьесѣ—

Все волновало нѣжный умъ:
Цѣлующій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой то демонъ обладалъ,
Мои игры, досуговъ;
За мною всюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки чудные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ подугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размѣры стройныя стекались
Мои послушныя слова,
И звонкой рѣчей замыкались.
Въ гармоніи соперникъ мой
Былъ шумъ лѣсовъ, плъ вихорь буйный,
Иль иволги напѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шопотъ рѣчки тихоструйной.

Да, прекрасное было то время! Но что намъ до времени? оно прошло, а прекрасные плоды его остались, и они все также свѣжи, также благоуханны!..

Въ томъ же „Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ“ поразило насъ грустнымъ чувствомъ еще одно обстоятельство: помните-ли вы мѣсто, гдѣ поэтъ, разочарованный въ женщинахъ, отказывается, въ своемъ благородномъ негодованіи, воспрѣвать ихъ? Въ первомъ изданіи „Евгенія Онѣгина“, при которомъ былъ приложенъ и этотъ поэтический „Разговоръ“, поэтъ говоритъ:

Пускай ихъ *Шаликовъ* поетъ,
Любезный баловень природы!

Теперь эти стихи напечатаны такъ:

Пускай ихъ юноша поестъ,
Любезный божовень природы!

Увы!.. Sic transit gloria mundi!..

Но въ четвертой части стихотвореній Пушкина есть одно драгоценное перло, напомнившее намъ его былую поэзію, напомнившее намъ былого поэта: это „Элегія“. Вотъ она:

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмѣлье.
Но какъ вино, печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй.
Мой путь унылъ. Судить мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнующее море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,
И пѣдаю: мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и тремоленья:
Порой опять гармоніей уныю,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И можетъ быть—на мой закатъ печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной!

Да! такая элегія можетъ выкупить не только нѣсколько сказокъ, даже цѣлую часть стихотвореній!..

Изъ „Молвы“ (при „Телескопѣ“) 1836 г. Статья В. Балинскаго.

*) Евгений Онегинъ, романъ въ стихахъ, соч. А. Пушкина. Спб. 1837 г. Въ тип. экспед. загот. госуд. бумагъ (64).

Прелестная библиографическая игрушка, напечатанная въ миниатюрномъ форматѣ, точно такомъ же, какъ „Басни Крылова“ послѣдняго изданія, на прекрасной веленовой бумагѣ, самымъ мелкимъ (нонпарелью), но четкимъ шрифтомъ, и завернутая въ кружевной переплетъ изъ цвѣтной бумаги. Она имѣетъ одно важное удобство—дешевизну: всѣ главы

*) Литературныя Прибавленія къ „Русскому Пивалюду“ 1837 г., № 5. Критика и библиографія.

Онѣгина прежнихъ изданій стоятъ 40 р., а эта книжечка только 5 р.;—за 5 р. вы будете имѣть *всего* Онѣгина—это чудное, глубокое созданіе творца „Руслана и Людмилы“: не правда-ли, что за это стоитъ поблагодарить предприимчиваго издателя, г-на И. Глазунова? Жаль одного: издатель не догадался включить сюда же „Разгонура поэта съ книгопродавцемъ“, который предшествуетъ „Онѣгину“ въ прежнихъ изданіяхъ.

— Скоро, говорятъ, изготовится новое, дешевое изданіе всѣхъ стихотвореній Пушкина: тогда мы поговоримъ о достоинствѣ его „Онѣгина“ подробнѣе.

Из „Литературныхъ Прибавленій“ къ „Русскому Инвалиду“ 1837 г.

*) Сочиненія Александра Пушкина. Томы I и II С.-Пб., въ тип. Экспед. загот. госуд. бумагъ, 1838 г., въ 8, 439 и 376 стр.

Безмолвный привѣтъ памяти еще столь недавно утраченнаго нами незабвеннаго поэта!

Издатели полныхъ „Сочиненій Пушкина“ обѣщали кончить взятую ими на себя обязанность въ началѣ сего года. Можемъ извѣстить публику и многочисленныхъ подписчиковъ на „Сочиненія Пушкина“, что въ *мартъ мѣсяцъ* выйдутъ всѣ обѣщанные *шесть* томовъ. Два изъ нихъ уже отпечатаны, другіе печатаются, но и тѣ и другіе будутъ раздаваться только по окончаніи всѣхъ частей вполнѣ. Изданіе весьма опрятно и красиво, на хорошей бумагѣ, четкими, крупными буквами. Въ 1-мъ томѣ помѣщены: Онѣгинъ, Годуновъ и драматическіе отрывки: *Сцены изъ Фауста, Пиръ во время чумы, Моцартъ и Сальери, Скупой рыцарь*; во 2-мъ томѣ: *Русланъ и Людмила, Кавказскій пленникъ, Бахчисарайскій фонтанъ, Братья разбойники, Цыгане, Графъ Нулинъ, Полтава, Домикъ въ Коломнѣ, Анжели.*

Θ. Буларинъ.

*) „Сѣверная Пчела“ 1838 г., № 1. (Русская литература). Рецензія Θ. Буларина.

*) Сочиненія Александра Пушкина. С.-П.-бургъ, въ тип. Э. З. Государственныхъ Бумагъ, 1838, въ—8. Томи первый, второй и третій, стр. 439—376—242.

Мѣсяцъ, обильный снѣгомъ и книгами. Болѣе ста томовъ, большихъ и малыхъ, упали на нашу голову. Разбирать ли ихъ всѣ? Конечно, нѣтъ. Во-первыхъ, половина ихъ не стоитъ этой чести, а во-вторыхъ, теперь страстная недѣля, смѣяться надъ чужими грѣхами—грѣхъ, да и на обозрѣніе всей этой груды потребовалось бы мѣсяца два времени. На этотъ разъ займемся только книгами, достойными похвалы и чтенія. Прочія могутъ подождать.

Вотъ три первые тома „Сочиненій“ Пушкина,—первые три тома всей русской словесности. Здѣсь „Кавказскій плѣнникъ“; здѣсь „Бахчисарайскій фонтанъ“; здѣсь „Опѣгизъ“, здѣсь „Борисъ Годуновъ“, розы, расцвѣтшія на снѣгу сѣвернаго поэтическаго генія, и розы неувадаемыя; здѣсь все, что мы любимъ, чѣмъ восхищаемся, что повторяемъ наизусть,—поэмы Пушкина, повѣсти Пушкина, драматическія сцены Пушкина, элегіи, посланія и эпиграммы Пушкина. Да! и эпиграммы. Для меня онѣ совершенно новы: я не люблю этого рода литературы, и имѣлъ удовольствіе не слышать ни одной изъ нихъ въ свое время. Но странное чувство возбуждаютъ теперь эти эпиграммы въ томъ, кто ихъ въ первый разъ читаетъ. Пушкинъ защищается ими отъ враговъ своихъ, отъ своихъ злиловъ! Враги Пушкина! Гдѣ же они теперь? Я вижу однихъ только восторженныхъ обожателей Пушкина. Велико дѣло смерть, для человѣка съ истиннымъ дарованіемъ! Если бъ Пушкинъ могъ встать изъ своей безсмертной могилы, онъ навѣрное, между этими восторженными обожателями своего генія, съ изумленіемъ узнать бы знакомыя зловѣщія лица злѣйшихъ своихъ

*) „Библиотека для Чтенія“ 1838 г., т. 27, отд. VI (Мартъ, 1838. Новая книга.)

зоиловъ прежняго времени. Нынче, слава Богу, эти эпиграммы остаются уже безъ примѣненія для Пушкина, и составляютъ наше невинное литературное наслѣдство. Каждый изъ насъ можетъ избрать себѣ ту изъ нихъ, которая болѣе другихъ нравится ему по остроумію, соли, веселости или ловкости стиха, и повторять ее при всякомъ случаѣ, если у него есть зоилы, — которые, впрочемъ, есть у всякаго изъ насъ, какъ бы мы ни были ничтожны. Раздѣлите же между собою, любезные читатели, эту подвижность покойнаго генія. Берите вы „Прозаикъ и поэтъ“, берите „Къ пріятелямъ“, берите „Exungue Leonem“, берите „Какъ брань тебѣ не надобла!“ Я возьму себѣ самую невинную эпигramму на *Сей*, который, по словамъ поэта, страстный охотникъ до журнальной брани. *Сей*, какъ извѣстно, природный врагъ мой. Недавно я видѣлъ страшный сонъ, сущій сонъ: *Сей* произносилъ клятву уничтожить меня; *Сей* связался съ *Онымъ*, и обѣщалъ „уронить, убить, стереть меня съ лица земли“: я не преувеличиваю! *Сей*, пускаясь плясать въ присядку, свой привычный танецъ, торжественно объявлялъ, что „кто любитъ добродѣтель, книжный языкъ и русскую литературу, тотъ долженъ клеветать на меня день и ночь“, пока я, бѣдный *Этомъ*, не умру съ горя и досады. *Сей* говорилъ во всенародное услышаніе, что — „онъ, или я, должны остаться въ литературѣ“. Согласитесь, что все это очень обидно, да и очень нескромно, даже неловко, со стороны честолюбиваго *Сей*’я, и что я, при видѣ такого неистовства, такого смѣшного остервенѣнія, имѣлъ бы полное право повторять про себя изъ Пушкина:

„Охотникъ до журнальной драки,
Сей, усыпительный зойлъ,
 Разводить ошумъ чернилъ
 Слюною бѣшеной собаки“.

Конечно, я могъ бы повторять во снѣ эти четыре стиха о *Сей*’ѣ: вѣдь, они напечатаны на яву! Да я не хотѣлъ и не хочу повторять ихъ: я добрый *Этомъ*, — всѣ *Эти* предобрые люди, — эпиграммы не люблю, и охотно прощаю моему зоилу, несчастному *Сей*’ю, на котораго, очевидно,

нашла стень: его, бѣдняжку, душитъ доховой, Честолюбіе, и оно ослабляетъ Сей'я до того, что онъ не чувствуетъ и не видитъ, до какой степени дѣлается смѣшнымъ и жалкимъ въ глазахъ людей хладнокровныхъ и разсудительныхъ, во снѣ и на яву.

Изъ „Библіотеки для Чтенія“ 1838 г.

*) Сочиненія Александра Пушкина. Тома 4, 5, 6, 7, 8. Спб. въ тип. Эксп. Загот. Гос. Бумагъ, 1838 г., въ—8, 328, 247, 310, 251 и 324 стр.

Въ изданныхъ теперь *восьми томахъ* помѣщено только то, что было *напечатано при жизни Пушкина*. Все, что помѣщалось потомъ въ „Современникъ“, журналахъ и альманахахъ, оставлено до будущихъ томовъ, которыхъ сколько будетъ—неизвѣстно. Въ заключеніе восьмого тома помѣщены извѣстная статья В. А. Жуковского: *Послѣднія минуты Пушкина*, и снимокъ съ почерка. Снимокъ сдѣланъ очень дурно, и—признаемся, мы вообще недовольны изданіемъ. Усердіе соотечественниковъ къ памяти великаго поэта и огромныя средства издателей, при усовершенствованіи печатаемыхъ нынѣ въ Россіи книгъ со стороны типографической, все обѣщало намъ изданіе, достойное славы Пушкина. Не говоря уже ни о чемъ другомъ, какъ-то: примѣчаніяхъ, поясненіяхъ, вариантахъ, хронологіи твореній Пушкина, предисловіи, и проч. и проч., чѣмъ должно было и могло ознаменоваться полное собраніе сочиненій нашего единственнаго поэта, неуклюжій форматъ и сѣрая бумага *восьми изданныхъ томовъ* рѣшительно не соотвѣтствуютъ ожиданіямъ, какія могли имѣть читатели на полное собраніе сочиненій пѣвца „Полтавы“ и „Годунова“.

Изъ „Сына Отечества“ 1838 г.

*) „Сынъ Отечества“ 1838 г., т. 6., отд. 4. (Очеркъ русской литературы за 1838-й годъ).

*) Сочиненія Александра Пушкина. С.П.Б. Въ Т. Эксп. Загот. Госуд. бумагъ. 1838 г. Съ портретомъ и facsimile.

Наконецъ, нетерпѣливая публика дождалась полного собранія сочиненій Пушкина. Это истинный подарокъ для читателей и по дешевизнѣ и, что всего важнѣе, по внутреннему достоинству. Изданіе могло быть лучше, роскошнѣе, но оно хорошо и такъ, какъ есть, особенно если принять въ расчетъ дешевизну, 8 томовъ in-8 вы покупаете за 25 рублей! Это почти даромъ. Благодарность издателямъ! Сочиненія Пушкина надолго, если не навсегда, останутся памятникомъ современной русской словесности, вліяніе ихъ на нашу литературу слишкомъ ощутительно; поэтому мы вмѣняемъ себѣ въ непремѣнную обязанность дать объ нихъ отчетъ, по возможности подробный. Въ рецензіи нашей мы не будемъ руководствоваться ни духомъ партій, ни отношеніями, ни мнѣніями призванныхъ, а тѣмъ менѣе не призванныхъ судей въ литературѣ. Мы въ правѣ гордиться Пушкинымъ, — по какъ далеко должна простираться эта гордость, вотъ вопросъ, который мы постараемся разрѣшить по мѣрѣ нашихъ силъ. Есть люди, которые имѣютъ собственное мнѣніе, каково бы оно ни было; есть люди, чьихъ мнѣніе не болѣе какъ эхо; — мы, благодаря Бога, не принадлежимъ къ послѣднему разряду; наше мнѣніе въ дѣлѣ словесности можетъ быть ошибочнымъ, но оно *наше*, не прививное, не заимствованное, самостоятельное.

При разборѣ сочиненій Пушкина мы по возможности будемъ держаться хронологическаго порядка, и каждое или почти каждое изъ нихъ, начиная съ „Руслана и Людмилы“, постепенно слѣдить, съ тѣмъ, чтобы показать нашимъ читателямъ, гдѣ поэтъ нашъ вѣренъ былъ своему первоначальному направленію, гдѣ отступалъ онъ отъ него; гдѣ онъ былъ самобытенъ, гдѣ увлекался духомъ времени, и самъ себѣ измѣнялъ. Само собою разумѣется, что мы бу-

*) „Галатея“ 1839 г., ч. II, № 17. (Критика и библиографія).

демъ останавливаться болѣе на красотахъ, нежели на ошибкахъ, на которыя мы только намекнемъ; не упоминать объ нихъ совсѣмъ—значило бы безотчетно хвалить, писать панегирикъ, а не рецензію; надѣмся, ни одинъ благоразумный читатель не упрекнетъ насъ за откровенность, необходимую въ дѣлѣ критики.

* *

*) „Русланъ и Людмила“. Судить о современномъ писателѣ—дѣло трудное, а можетъ быть, и опасное: будто снисходительны—васъ назовутъ пристрастнымъ къ писателю; будьте строги—васъ опять назовутъ пристрастнымъ къ своему мнѣнію, къ своимъ правиламъ. Въ томъ и другомъ случаѣ вы не избѣгнете укоризны, особенно если подсудимый, съ одной стороны, пользуется славой у читателей, съ другой,—волею или неволею вызываетъ рецензента на критику. Пушкинъ именно этими двумя сторонами соприкасается публикѣ. Непишущіе читатели—вся эта огромная масса—любятъ его сочиненія, удивляется имъ, почти благоговѣетъ предъ ними, и часто безусловно, безотчетно. Такъ и должно быть: Пушкинъ вышелъ въ первый разъ на сцену при всеобщемъ рукоплесканіи: *Русланъ и Людмила*, потомъ *Кавказскій пльнникъ* и *Бахчисарайскій фронтанъ* произвели на публику такое глубокое впечатлѣніе, что оно не могло уже ничѣмъ изгладиться. Критика возвысила было свой голосъ, но публика не хотѣла слушать ея; не хотѣла вѣрить даже тому, чему для пользы искусства, для самой славы поэта должна была повѣрить. Надобно знать, что при появленіи *Руслана и Людмилы* у насъ существовала школа пюризма, которую псевдо-литераторы называли *старою школою*.—Какъ будто въ области вкуса есть что-нибудь старое или новое; онъ вѣчно одинъ и тотъ же, онъ не подчиняется законамъ времени, и измѣняется только въ однихъ частностяхъ, а не въ цѣломъ, не въ основаніи. Къ этой школѣ принадлежалъ самъ Пушкинъ не какъ теоретикъ, но какъ прак-

*) „Галатея“ 1839 г. Часть 3-я, № 19, 20.

тикъ. Впослѣдствіи времени онъ было уклонился отъ нея, за то, можетъ быть, и Музы иногда уклонялись отъ него. При концѣ земного поприща онъ принесъ имъ очистительную жертву въ „Камонномъ гостѣ“, въ этой, къ сожалѣнію, недоконченной пьесѣ, запечатлѣнной истиннымъ вкусомъ, необыкновенною отдѣлкою стиха. Значить—критики *Руслана и Людмилы* не совсѣмъ неправы, по крайней мѣрѣ, со стороны пюризма, и если Пушкинъ впослѣдствіи времени увлекался чуждымъ направленіемъ и, вопреки своему призванію, выступалъ за черту искусства, то должно винить не критиковъ, не враговъ, какъ иные называли критиковъ слишкомъ откровенныхъ, слишкомъ вѣрныхъ своимъ правиламъ—короче—литературной совѣсти, въ благородномъ значеніи этого слова,—нѣтъ, должно винить *друзей*, художниковъ, или лучше, не хотѣвшихъ понимать поэта и его поэзіи.

Я познакомился съ Пушкинымъ въ то время, когда онъ жилъ въ Одессѣ; тамъ читалъ онъ мнѣ только что сбѣжавшую съ пера *Письмо о въщемъ Олгѣ* и отрывки изъ *Евгенія Онегина*. Тогда онъ былъ въ апогеѣ своей славы и поэзіи. Какъ онъ былъ преданъ ей! Какъ иногда боялся измѣны ей! Однажды, послѣ продолжительнаго разговора со мною о поэзіи, о своихъ произведеніяхъ, онъ умолкъ, задумался и тяжело вздохнулъ.—Что съ вами, Александръ Сергѣевичъ? спросилъ я его; о чемъ вы задумались?

— Есть о чемъ задуматься при мысли—что будетъ со мною, съ моими произведеніями?

— Если вы будете продолжать, какъ начали, вы навсегда останетесь любимцемъ русской публики.

— *O ruz!*—Замѣйте, что Пушкинъ любилъ играть словами, и это *qui pro quo* онъ избралъ эпиграфомъ для одной изъ главъ „Евгенія Онегина“.—Любимцемъ русской публики, говорите вы; но развѣ эта русская публика не восхищалась въ свое время Херасковымъ? Развѣ не хвалила она его такъ же безотчетно, безусловно, какъ меня! И что же теперь Херасковъ? Кто его читаетъ?

— Вы и Херасковъ—тутъ есть разница, къ тому же въ его время не было критики.

— А теперь развѣ она есть? Я не говорю о г. К... *) (Пушкинъ былъ предубѣжденъ противъ г. К..., простимъ ему). Но отзывъ Мерзлякова — даже жесткій, только справедливый отзывъ, признаюсь, для меня былъ бы очень полезенъ; однакожъ, я его не слышу.

— И не услышито.

— Почему же?

— Потому что.... потому что....

— Не договаривайте, — я понимаю васъ, — онъ боится возвысить голосъ, чтобы *русей не раздражить*... Теперь представьте мое положеніе: кто имѣетъ полное право произнести въ дѣлѣ словесности безпристрастный судъ, тотъ боится произнести его, чтобы не показаться пристрастнымъ: кто не имѣетъ на это никакого права, тотъ произноситъ судъ свой и громко и смѣло, и ему рукоплещутъ, — и толпа или, что все равно, благородная чернь становится его эхомъ. Теперь прошу покорно ожидать усовершенствованія въ поэзіи, въ искусствахъ вообще!.. О *rus!*...

Пушкинъ не боялся отчетливой критики, но отчетливая критика боялась его или, лучше сказать, его *друзей*, изъ которыхъ нѣкоторые безъ зазрѣнія совѣсти говорили, что если бы Пушкинъ даже и хотѣлъ, то не могъ бы написать что-нибудь дурное, а эти друзья имѣли, а можетъ быть, и теперь еще имѣютъ вѣсъ въ публикѣ. Что послѣ этого оставалось дѣлать критикамъ, даже самымъ благонамѣреннымъ и умѣреннымъ? Молчать или подвергнуться негодованію читателей, тѣмъ болѣе, если критикъ самъ, хоть какъ дилетантъ, занимается поэзіею. Его назовутъ завистникомъ, его запятнаютъ, уронятъ. Странное дѣло! какъ будто въ человѣкѣ, у котораго есть хоть искра художественности, можно предполагать зависть: Музы и Фуріи отдѣлены другъ

*) Если бы Пушкинъ короче узналъ г. К.... какъ писателя, а еще болѣе, какъ человѣка, онъ переимѣнилъ бы о немъ свое мнѣніе, и питалъ бы къ нему глубокое уваженіе, которое заслужилъ К.... своими учеными трудами, въ сожалѣнію, не многими оцененными, прямою благородною, возвышеннаго характера, неподкупностью мнѣній, чистотою намѣреній, безкорыстіемъ, истинно героическимъ во всѣхъ отношеніяхъ. Г. К.... *многихъ*, вывелъ въ люди, посвятилъ въ ученье, а были ли они ему благодарны?.. Увы! не можемъ положительно отвѣчать на этотъ вопросъ. Таково чело-
вѣчество.

отъ друга неизмѣримымъ пространствомъ. Но приступимъ къ дѣлу.

Русланъ и Людмила, по нашему мнѣнію, одно изъ лучшихъ поэтическихъ произведеній Пушкина,—это прелестный, вѣчно свѣжій, вѣчно душистый цвѣтокъ въ нашей поэзіи. Въ этомъ созданіи нашъ поэтъ почти въ первый разъ заговорилъ языкомъ развязнымъ, свободнымъ, текучимъ, звонкимъ, гармоническимъ; почти въ первый разъ, говоримъ мы: до появленія Пушкина на литературномъ поприщѣ у насъ были уже Богдановичъ, И. И. Дмитріевъ, Батюшковъ, В. А. Жуковский, уравнившіе, угладившіе путь къ повѣствовательной поэзіи. Въ нашей литературѣ есть странная особенность: явились новый даровитый писатель,—о прежнихъ какъ будто забываютъ, какъ будто они ничего не сдѣлали для словесности... не слишкомъ утѣшительная истина!... Прежде было, по крайней мѣрѣ, триумфаторство, но со времени Пушкина оно уничтожено,—Октавію трудно ужиться съ Антоніемъ и Ленидомъ,—долой ихъ!... Но стало Пушкина, — мы сажаемъ на его мѣсто другого. Въ добрый часъ! Впрочемъ, это только въ дѣлѣ славы, въ другихъ случаяхъ у насъ вдругъ, по одному мановенію волшебнаго жезла, явятся *сто литераторовъ* — и все первоклассныхъ!...

Мы не считаемъ пужнымъ излагать содержаніе *Руслана и Людмилы*; кому не извѣстно оно, кто не читалъ этой восхитительной поэмы? Дѣйствіе, характеры, форма, отдѣлка—вотъ на что обратимъ мы вниманіе читателей.

Дѣйствіе есть необходимое условіе эпическаго (и драматическаго) произведенія. Поэтъ выводитъ своего героя на поприще и указываетъ ему вдали цѣль; герой стремится къ этой цѣли черезъ цѣлый рядъ препятствій, непреодолимыхъ для обыкновеннаго человѣка, но падающихъ одно за другимъ передъ героемъ, достойнымъ этого названія. Чѣмъ болѣе этихъ препятствій, чѣмъ труднѣе ихъ преодолевать, тѣмъ сильнѣе раздражается наше любопытство, тѣмъ живѣе участіе, которое мы принимаемъ въ героя. Поэтому-то герою поэмы необходимъ характеръ твердый, рѣши-

тельный, неизмѣнно вѣрный самому себѣ отъ начала до конца дѣйствія. Герой, проходя поприще свое, соприкасается съ другими лицами, съ героями второстепенными, третьестепенными и т. д.; одни изъ этихъ лицъ помогаютъ главному лицу, другія ставятъ ему препятствія на пути къ цѣли; нныя выводятся для оттѣнковъ, для контрастовъ съ нимъ,—но всѣ должны имѣть свой характеръ, свой типъ индивидуальный, опредѣленный. Это придаетъ поэмѣ очаровательное разнообразіе, которое, впрочемъ, не уничтожаетъ и не должно уничтожать единства дѣйствія; единство есть центръ, разнообразіе—лучи, разбѣгающіеся отъ центра и стремящіеся къ окружности, къ периферіи. Прелесть разнообразія усиливается эпизодами, отступленіями, картинами, образами, чувствами, мыслями, примѣненіями и проч.; но все это должно быть въ зависимости отъ центра, отъ единства. Разнообразіе и единство представляютъ въ поэмѣ двѣ силы—центробѣжную и центростремительную, и находятся точно въ такомъ же отношеніи другъ къ другу.

Показавши условія эпического творенія, приложимъ ихъ къ *Руслану и Людмилѣ*. Дѣйствіе въ этой поэмѣ истинно художественное; оно не запутано, просто, поэтически естественно и мастерски оживлено, расцвѣчено разнообразіемъ, мастерски сосредоточеннымъ въ единствѣ:

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданы старины глубокой.
Въ толпѣ могучихъ сыновей,
Съ друзьями въ грядищахъ высокой
Владиміръ-солнце широваль;
Меньшую дочь онъ выдавалъ
За князя храбраго, Руслана....

Молодые въ спальнѣ.

Все смолкло. Въ грозной тишинѣ
Раздался дважды голосъ странный,
И кто-то въ дынной глубинѣ
Взвился чернѣе мглы туманной....

Людмила похищена Черноморомъ. Здѣсь начинается дѣйствіе поэмы; Русланъ отправляется искать своей супруги. Дорогой онъ освобождается отъ двухъ соперниковъ, отъ

Рогдая, котораго побѣдилъ на поединкѣ, отъ Ратмира, который, влюбившись въ пастушку, забылъ про Людмилу. Покровительствуемый волшебникомъ Финномъ, онъ отыскиваетъ Черномора, лишаетъ его силы волшебствъ, и ѣдетъ со своею Людмилой въ обратный путь. Но тутъ встрѣчается новое препятствіе: Фарлафъ, третій соперникъ, руководствуемый Нанною, убиваетъ его. Казалось бы, все кончилось, и цѣль осталась бы недостигнутою; но Финнъ вспыскиваетъ Руслана мертвою и живою водою, — и Русланъ снова на конѣ — съ карломъ за плечами; онъ прѣзжаетъ въ Кіевъ, разбиваетъ печенѣговъ, является въ княжескихъ палатахъ, пробуждаетъ волшебнымъ кольцомъ долго спавшую Людмилу, —

И бѣдствіи празднуя конецъ,
Владиміръ въ гриднищѣ высокой
Запировалъ въ семьѣ своей.
Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.

Характеры въ „Русланъ и Людмила“ опредѣленны, индивидуальны и развиты, сколько позволялъ объемъ поэмы; нельзя сказать, что каждый изъ нихъ рѣзко обрисованъ, но этого нельзя строго требовать отъ нашего поэта, — онъ почти первый у насъ выступилъ на эпическое поприще и, къ чести его должно сказать, первый вывелъ на сцену въ „Русланъ и Людмила“ людей, а не тѣни. Эпическіе характеры, въ какомъ бы то ни было государствѣ, образуются вѣками и переходятъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, изъ поэмы въ поэму. Въ Италіи, напримѣръ, положили основаніе Пульчи, воспроизведши Карла Великаго, Морганто и пр. М. Боярдо безъ поремѣны внесъ его характеры въ свою поэму *Orlando innamorato*, и создалъ нѣсколько своихъ новыхъ характеровъ, Аріосто воспользовался характерами, созданными воображеніемъ своихъ предшественниковъ, и досоздалъ нѣсколько своихъ; такимъ образомъ три поэта нарисовали цѣлую галерею характеровъ, сотворили маленькій міръ идеаловъ.

Заслуги Пушкина въ отечественной словесности велики,

но онъ были бы еще больше, значительнѣе, важнѣе, если бы, не поддаваясь чуждому вліянію, онъ остался вѣрнымъ первому своему направленію; если бы онъ написалъ обѣщанную имъ поэму *Мстислава Удаюго*; онъ создалъ бы для будущихъ поэтовъ нѣсколько новыхъ, чисто русскихъ характеровъ.

Форма „*Руслана и Людмилы*“ чисто аріостовская, самая приличная для живого разсказа, для обрисовки событій полуживыхъ, полусмѣшныхъ. Она заимствована итальянцами у арабовъ—это снимокъ съ *Тысячи и одной ночи*. Здѣсь поэтъ не связанъ условіями такъ называемыхъ классическихъ поэмъ; онъ, говоря собственно, не поетъ, а разсказываетъ. Такъ и должно быть, — время древняго эпоса прошло невозвратно; цѣль его была религіозная и политическая, цѣль новѣйшаго эпоса—просто забава воображенія, отдыхъ ума, утомленнаго такъ называемою положительностію.

У лукоморья дубъ зеленый;
Златая цѣпь на дубѣ томъ:
И днемъ и ночью котъ ученый
Все ходитъ по цѣпи кругомъ.
Идетъ направо—пѣснь заводитъ,
Налѣво—сказку говорить!..

Одну я помню: сказку эту
Повѣдаю теперь я свѣту.

Этимъ прелестно простымъ вступленіемъ условливается форма „*Руслана и Людмилы*“ и, разсматриваемая съ этой точки зрѣнія, вѣрно выдержана отъ начала до конца. Одно только показалось намъ страннымъ: Пушкинъ пересказываетъ сказку кота, а между тѣмъ въ нѣкоторыхъ отступленіяхъ самъ является на сцену и говоритъ отъ своего лица, напримѣръ:

Ты мнѣ волишь, о другъ мой нѣжный,
На лиръ легкой и небрежной
Старинны были напѣвать
И музѣ вѣрной посвящать
Часы безцѣннаго досуга....

Къ кому относятся эти стихи? Къ ученому коту или къ нашему поэту? Самый эпилогъ не противорѣчитъ ли прологу? Но это мелочи, къ которымъ мы не станемъ привязываться; даже если это большая погрѣшность, то она искупается великими красотою изложенія, очаровательнымъ слогомъ, этимъ чудеснымъ колоритомъ Рафаэлевыхъ картинъ. Жаль только, что Пушкинъ, принадлежавшій прежде къ школѣ пюризма, позволялъ иногда себѣ небрежности въ слогѣ, оттого во многихъ мѣстахъ нѣтъ единства тона, колорита. Непріятно встрѣчать у него нѣкоторыя усѣченія, которыя въ легкой поэзіи отзываются жесткостью въ слухѣ; еще непріятнѣе видѣть вмѣстѣ со словами чисто русскими, взятыми изъ обыкновеннаго общественнаго быта, слова церковно-славянскія; такъ, напримѣръ, въ слѣдующихъ стихахъ:

*Объемлетъ старца-колдуна....
Погибни, трусь! умри! вѣщаетъ....
Блестая въ ризѣ парчевой,
Щекотитъ ноздри копіемъ....
Какъ ястребъ богатырь летитъ
Съ поднятой грозною десницей,
И въ щеку тяжкой рукавицей
Съ размаха въ голову разитъ....*

Есть въ „Русланѣ и Людмилѣ“ и другого рода погрѣшности, погрѣшности противъ слога, есть прозаическіе стихи, напр.:

*Русланъ насъ долженъ занимать,
Русланъ, сей витязь безпримѣрный....
Но противъ времени закона
Его наука не сильна....
Чтобъ чѣмъ-нибудь играть отъ скуки,
Копье стальное взялъ онъ въ руки....
Но вдругъ знакомый слышитъ гласъ,
Гласъ добродѣтельнаго Финна.
Такъ совершилось дѣло славно....*

Но, какъ говорится, есть нятна и на лунѣ, однакоже онѣ не мѣшаютъ намъ любоваться ею, какъ любуемся, гордимся мы „Русланомъ и Людмилой“. И есть чѣмъ гор-

даться,—это одинъ изъ прелестнѣйшихъ цвѣтковъ въ цвѣтникахъ нашей поэзіи, прибавимъ, повѣствовательной, потому что въ лирическомъ родѣ мы богаты, можетъ быть, до излишества богаты. Къ стыду нашему, мы не знаемъ цѣны этимъ сокровищамъ. Мы съ благородною гордостью можемъ указать иностранцамъ.... виноватъ, соотечественникамъ,—на Языкова, О. Н. Глинку, Подолинскаго, Ознобишина, Соколовскаго, Макшееву, Деларю, Венедиктова, Баратынскаго, Туманскаго, и проч. и проч. Не говоримъ уже о Державинѣ, Дмитріевѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ.

Мы не говорили подробно о красотахъ языка въ „Русланъ и Людмилѣ“, потому что онѣ, вѣроятно, извѣстны всѣмъ нашимъ читателямъ; при томъ объемъ статьи не позволяетъ намъ быть слишкомъ многорѣчивыми.

* * *

*) „Кавказскій Плѣнникъ“. Въ „Русланъ и Людмилѣ“ видѣли мы поэзію чистую, безпримѣсную; поэтъ, оставивши міръ дѣйствительный, постоянно, почти неизмѣнно жилъ въ мірѣ идеальномъ, носился по поднебесью, изрѣдка только, въ своихъ вступленіяхъ и отступленіяхъ опускался на землю, какъ будто для того, чтобы удовлетворить житейскимъ потребностямъ и потомъ снова, подобно жаворонку, взвиться подъ облака, дать просторъ своей пѣснѣ и ронять трели ея на землю, въ слухъ людей, жадно расширяющійся для принятія звуковъ, зародившихся въ высшихъ, болѣе чистыхъ слояхъ воздуха,—въ эфирѣ. И сколько жизни, сколько поэзіи въ этой пѣснѣ, въ этихъ треляхъ!

Сознательно ли, безсознательно ли Пушкинъ выразился въ „Русланъ и Людмилѣ“—все равно; довольно того, что это произведение—чистая поэзія, что по содержанію и формѣ оно имѣетъ полное право на названіе поэмы. Да, это поэма, рыцарская, романтическая, волшебная—все равно,—дѣло только въ томъ, что это поэма. Жаль, что Пушкинъ оставилъ этотъ родъ, что изъ міра чисто идеальнаго онъ

*) „Галатея“ 1839 г., часть 3-я, № 21.

спустился въ міръ дѣйствительный или, по крайней мѣрѣ, полудѣйствительный; жаль, что онъ измѣнилъ своему призванію. Въ „Русланъ и Людмилъ“ Пушкинъ настоящій Прометей, только похитившій огонь у неба, въ „Кавказскомъ плънникѣ“ онъ—Прометей, прикованный къ Кавказу; здѣсь вы видите, что внутренность его уже начинаетъ терзать коршунъ, что ему до неба далеко, что онъ, озираясь кругомъ себя, видитъ землю съ ея страданіями, съ ея грубыми эллементами, съ ея ничтожностью.

„Кавказскій плънникъ“ не поэма, а стихотворный рассказъ; вы восхищаетесь въ немъ прелестными картинами, художественнымъ описаніемъ горцовъ, мастерскою отдѣлкою стиховъ, живымъ яркимъ колоритомъ богатаго русскаго языка, и только; но поэзіи въ немъ, говоря собственно, не такъ много, какъ въ „Русланъ и Людмилъ“, какъ въ самомъ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“. Пушкинъ самъ признается, въ послѣднихъ стихахъ эпилога къ „Руслану и Людмилъ“, что онъ съ поэзіею не въ самыхъ тѣсныхъ отношеніяхъ:

Душа, какъ прежде, каждый часъ
Полна томительною думой—
Но огонь поэзіи погасъ.
Ищу напрасно впечатлѣній!
Она прошла, пора стиховъ,
Пора любви, веселыхъ сновъ,
Пора сердечныхъ вдохновеній!
Восторговъ краткій день протекъ—
И скрылась отъ меня навѣкъ
Богиня тихихъ пѣснопѣній...

Истинный поэтъ никогда, ни при какихъ обстоятельствахъ не измѣняетъ своему призванію, и

Богиня чистыхъ вдохновеній

никогда отъ него не скрывается. Чего ему искать въ существенности, въ дѣйствительной жизни, окованной желѣзными цѣпями отношеній, приличій, цѣпями, заржавѣвшими отъ ядовитаго дыханія черныхъ, зміевласыхъ, какъ Фуріи страстей? Развѣ ему не просторнѣе, не свободнѣе, не от-

радиѣ летать въ мірѣ идеаловъ, носиться по высотамъ поднебеснымъ и только изрѣдка заглядывать на землю, чтобы видѣть, что дѣется въ этой юдоли слезъ,

Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas;
Sed quibus ipse malis careas quia cernere svave est,

какъ говорить Лукрецій...

Какъ бы то ни было, а Пушкинъ написалъ „Кавказскаго плѣнника“ не по чистому поэтическому вдохновенію, но по направленію современности или подъ вліяніемъ байронизма. Къ чему это разочарованіе въ роскошной веснѣ жизни, въ двадцать лѣтъ съ небольшимъ? Къ чему эта мизантропія, чтобы не сказать, эта клевета на человѣчество! Люди могутъ быть дурны,—положимъ даже, что они *дѣйствительно* дурны большею частію; но человѣчество все остается человѣчествомъ, все еще много осталось въ немъ отъ первобытнаго отечества—отъ неба, все еще не погасъ въ немъ чистѣйшій лучъ чистѣйшаго свѣта, все еще искрится въ немъ Божество. Зачѣмъ же поэту зарываться въ густые слои мрака или погружаться въ тинистое болото и прятаться отъ солнечныхъ лучей? Предоставьте это полулюдовское удовольствіе грубымъ Киликійскимъ поселянамъ, возмущившимъ свѣтлыя струи прохладнаго потока, для того чтобы не дать Аполлоновой матери утолить палящую жажду. Богъ далъ намъ поэзію взамѣнъ потеряннаго рая; ея дѣло сближать, роднить землю съ небомъ, откликаться съ земли небу, а не аду... Отчего теперь почти во всей Европѣ нѣтъ поэзіи? Не оттого ли, что она, забывъ свое высокое назначеніе—утѣшать человѣчество, накликаетъ на него отчаяніе, короче, перекликается не съ небомъ, а съ адомъ? Поэзія и умираетъ, и возраждается, и блекнетъ, и вновь расцвѣтаетъ какъ общество; изсякнетъ *любы*, и общество клонится къ паденію, изсякнетъ *любы*, и поэзія блекнетъ, вянетъ; это непреложная истина, это аксіома. Поэзія, какъ поэзія—вся въ нравственности, въ религіи; чѣмъ ближе религія какого-нибудь народа къ своему источнику—къ небу, тѣмъ возвышеннѣе, чище, *музыкальнѣе* его

поззія, и наоборотъ; вотъ почему у древнихъ язычниковъ поззія была по преимуществу пластическая; у христіанъ, какъ въ свое время у евреевъ, она — музыкальная. Которая изъ нихъ болѣе удовлетворяетъ требованіямъ человѣка, — это другой вопросъ, на который, впрочемъ, не трудно отвѣчать: для этого стоитъ только принять въ расчетъ человѣка *внѣшняго* и человѣка *внутренняго*. — Но мы слишкомъ далеко уклонились отъ своего предмета.

Содержаніе „Кавказскаго Пльнника“ очень просто: молодой человѣкъ, оставивъ родину свою — Россію,

.... Гдѣ пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
Гдѣ первую позналъ онъ радость,
Гдѣ много милаго любилъ,
Гдѣ обнялъ грозное страданье,
Гдѣ бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье...

Отступникъ свѣта, другъ природы

Съ веселымъ призракомъ свободы

отправился къ черкесамъ — и отправился, какъ изволите видѣть, за свободою, а черкесы, безъ зазрѣнія совѣсти, взяли его въ плѣнъ. Въ первую ночь посѣщаетъ его молодая дѣвушка, черкешенка, чудо красоты, влюбляется въ него, потомъ каждую ночь

Приноситъ плѣннику вино,
Кумысъ и медъ душистый,
И бѣлоснѣжное пшено...
Впервые дѣвственной душой
Она любила, знала счастье,
Но русскій жизни молодой
Давно утратилъ сладострастье.

Тщетно новая Пентефріева жена соблазнила новаго Юсифа — русскаго барича; онъ не поддался. И что же? она освободила его отъ оковъ, выпроводила на берегъ рѣки, за которою стоялъ русскій постъ, а сама въ глазахъ его уто-

нула,—и онъ хотъ бы вздохнулъ о своей избавительницѣ,— удивительная безчувственность!

Въ „Кавказскомъ плѣнникѣ“ два лица — черкешенка съ характеромъ, достойнымъ поэзіи, и русскій — совершенно безхарактерный, какъ можно видѣть по ходу пьесы, и безхарактерность его какъ будто съ намѣреніемъ выдержана отъ начала до конца: это лицо безъ образа и вида, это автоматъ. Если бы мы не боялись оскорбить памяти покойника, если бы мы не были увѣрены, что онъ питалъ въ сердцѣ чувство патріотизма, которое такъ хорошо, такъ сильно выражено у него въ пьесѣ — „Клеветникамъ Россіи“, мы упрекнули бы его за то, что онъ для своего разсказа выбралъ героемъ лицо бездушное, безчувственное, и, что всего досаднѣе, обиднѣе для народной чести, далъ ему роль представителя Россіанъ, и какихъ Россіанъ?—Россіанъ Александрова вѣка, пзумившихъ свѣтъ своимъ великодушіемъ, благородствомъ, своимъ самоотверженіемъ, короче—своимъ высокимъ характеромъ. Позволяемъ себѣ думать, что Пушкинъ впалъ въ эту ошибку безсознательно, что она не болѣе какъ недосмотръ, необдуманность, слѣдствіе поспѣшности или молодости, недозрѣлости таланта, иначе мы ее объяснить себѣ не можемъ.

Характеръ черкешенки прекрасенъ, тѣмъ болѣе, что онъ поставленъ въ яркой противоположности: съ одной стороны, дочь природы, съ другой—сынъ образованнаго общества; тамъ высокое самопожертвованіе, здѣсь низкій эгоизмъ... За то, если черкесы когда-нибудь будутъ читать „Кавказскаго плѣнника“, они съ гордостью укажутъ на его героиню и съ презрѣніемъ на героя, на русскаго. Это, повторяемъ, оскорбительно для насъ... Но утѣшимся,—черкесы не такъ еще скоро будутъ читать нашихъ поэтовъ.

При всемъ желаніи видѣть въ Пушкинѣ какъ въ поэтѣ, и *первоклассномъ русскомъ* поэтѣ, оди совершенства—рецензентъ и видитъ и, по безпристрастію, показываетъ читающей публикѣ несовершенства „Кавказскаго плѣнника“. Всѣ эти несовершенства касаются внутренней, а не внѣшней его стороны,—въ немъ ошибочно созданіе, но отдѣлка

преlestна. Этимъ объясняется, почему „Кавказскій плѣнникъ“ пользовался и пользуется необыкновенною славой у читающей публики; наружность первая бросается въ глаза; внутренности, кромѣ рецензента, никто не коснется. „Есть люди, для которыхъ пріятная гармонія и блескъ замѣняютъ самую истину“, сказалъ Лукрецій.

Если „Кавказскаго плѣнника“ нельзя защитить отъ укориизъ въ цѣломъ, въ созданіи, то, съ другой стороны, нельзя не восхищаться его частностями и отдѣлкою: картины, отдѣльно взятые, написаны мастерской рукой, а о стихахъ и говорить нечего,—сами Граціи нашептывали ихъ Пушкину. Это однакоже не значитъ, что всѣ они запечатлѣны совершенствомъ;—на землѣ ничего нѣтъ совершеннаго.

* * *

*) „Евгеній Онѣгинъ“. Судить по писаннымъ законамъ эстетики произведенія такого поэта, какъ Пушкинъ, поэтъ разнообразнаго, всегда новаго, неистощимаго,—не такъ легко, какъ иные думаютъ; для этого, можетъ быть, нужны законы эстетики, внесенные не въ книги, но въ скрижали сердца. Въ самомъ дѣлѣ, какъ подвести подъ общіе законы эстетики большую часть произведеній Пушкина — и, въ томъ числѣ, его „Евгенія Онѣгина“?..

Челини, извѣстный итальянскій художникъ XVI вѣка, какъ преступникъ, по одному дѣлу, о которомъ рассказывать было бы слишкомъ долго, подлежалъ уголовному суду; дѣло представили на разрѣшеніе умному, просвѣщенному папѣ. Папа съ негодованіемъ разорвалъ приговоръ и, обратясь къ присутствовавшимъ, произнесъ: „Невѣжды хотятъ, чтобы художниковъ судили наравнѣ съ чернью! Художника не должно судить по тѣмъ же законамъ, по которымъ судятся люди обыкновенные“. Высокое изреченіе, достойное главы церкви и правительства!..

Судите „Евгенія Онѣгина“ по теоріи,—и вы найдете въ немъ много недостатковъ въ отношеніи къ созданію и ис-

*) „Галатей“ 1839 г., часть 3-я, № 23.

полненію; судите его по чувству, по впечатлѣніямъ, которыя производитъ на васъ его чтеніе—и вы отъ души простите ему недостатки; это красавица, которую нельзя назвать чудомъ красоты, но у которой такъ много прелестей, такъ много граціи, что вы невольно полюбите ее, это настоящая Татьяна Ларина, героиня романа, о которой можно сказать то же, что сказалъ покойный И. И. Дмитріевъ о красавицѣ въ одномъ изъ своихъ прелестныхъ мадригаловъ:

Ты лучше быть могла, но лучше такъ,—какъ есть.

Этимъ мы могли бы кончить отчетъ объ „Евгеніи Онѣгинѣ“, но должность рецензента — должность неумышлаго судьи; по сердцу онъ смягчилъ бы приговоръ, по законамъ долженъ быть неумолимъ,—онъ руководствуется свободомъ законовъ — *писаннымъ разумомъ*, *ratio scripta*, а не внушеніемъ сердца.

Поэта, какъ всякаго художника, пока онъ живъ, пока еще не дозрѣлъ и, слѣдовательно, пока еще раздражителенъ, позволительно судить съ большимъ снисхожденіемъ, чтобы не охладить его жара, его любви къ искусству; но къ поэту созрѣвшему, отжившему, можно, даже должно, быть строгимъ,—творенія его становятся наслѣдіемъ общества, въ которомъ онъ жилъ, если не всего человѣчества; по нимъ потомство учится воспроизводить новыя созданія.

Природа надѣлила Пушкина необыкновенною способностію принимать впечатлѣнія и передавать ихъ художественному перу; это Протей, который по произволу принимаетъ на себя всѣ виды. Въ „Русланъ и Людмила“ онъ отторгается отъ земли, отъ современности, носится по поднебесью, паритъ въ прошедшемъ; „Кавказскій плѣнникъ“ сводитъ его на землю и заставляетъ рыться въ сердцѣ современниковъ, въ сердцѣ людей, прикованныхъ къ грубой существенности; „Бахчисарайскій фонтанъ“ навѣваетъ на него прохладу и восточную пѣгу; „Евгеній Онѣгинъ“ переселяетъ его въ современное русское общество, въ которомъ такъ много прозы и такъ мало поэзіи. Должно ли обвинять Пушкина за то, что онъ свелъ поэзію съ неба на

землю, что идеальное слилъ съ существеннымъ? Конечно, нѣтъ,—поэзія не служба, по крайней мѣрѣ, не внѣшняя, необходимая обязанность; поэтъ воленъ пѣть, что ему угодно; такъ ли онъ поетъ, выполнѣ ли удовлетворяетъ требованіямъ искусства, это другой вопросъ, на который отвѣчать дѣло рецензента.

„Евгеній Онѣгинъ“ романъ во всей формѣ, и отличается отъ другихъ произведеній въ этомъ родѣ одною только поэтической оболочкою. *Романъ въ стихахъ!* При появленіи первой главы „Евгенія Онѣгина“ эти два понятія долго не могли совмѣститься въ умѣ нѣкоторыхъ читателей; впрочемъ, можетъ быть, эти скрупулезные читатели не совсѣмъ были виноваты, можетъ быть, стихи также не идутъ къ роману, какъ проза не годится для поэмы; между людьми, закутанными въ парадныя платья какъ въ латы, нельзя явиться въ эеирной одеждѣ феи; цвѣтная поэтическая оболочка мнется, тускнѣетъ на прозаическомъ предметѣ; отъ этого-то, вѣроятно, въ „Евгенія Онѣгинъ“ такъ много прозаическихъ стиховъ и такъ часто романъ выходитъ изъ своей сферы.

Пушкинъ хотѣлъ показать въ своемъ романѣ современное высшее русское общество—аристократію; представителями и представительницами этого общества избралъ онъ Евгенія Онѣгина, Ленскаго, Татьяну и Ольгу; достигъ-ли онъ своей цѣли, объ этомъ судить предоставляемъ читателямъ и почитателямъ „Евгенія Онѣгина“. Изъ четырехъ дѣйствующихъ лицъ всѣхъ лучше, если не правдоподобнѣе, по характеру, Татьяна и Ленскій; но Пушкинъ, какъ будто изъ опасенія уронить, не докончить такъ хорошо обрисованный характеръ Ленскаго, поторопился поскорѣе отдѣлаться отъ него, и на половинѣ романа убилъ его на дуэли; Ольга, какъ большая часть русскихъ барышень, лишившись жениха Ленскаго, прекраснаго человѣка, такъ нѣжно любившаго ее, не успѣвши еще износить башмаковъ, какъ говоритъ Шекспиръ, вышла замужъ за гусара, ни одною слезою не почтивши памяти прежняго жениха; Евгеній съ своею хандрою презираетъ весь свѣтъ, прези-

раетъ Татьяну, имъ однимъ занятую, и, наконецъ, влюбляется въ нее, когда она стала въ свѣтѣ играть важную роль, вышедши замужъ за генерала; одна Татьяна выдержала свой характеръ отъ начала до конца.

Наши писатели, за исключеніемъ двоихъ или троихъ, которыхъ не называемъ по благовиднымъ причинамъ, не мастера рисовать характеры, оттого-ли, что не приобрѣли еще навыка, или оттого, что у насъ, какъ у всѣхъ народовъ славянскаго происхожденія, мало твердости, рѣшимости, настойчивости; само-собою разумѣется, что это имѣетъ свою хорошую сторону; мы уважаемъ сильные характеры, мы безусловно повинемся имъ: при нашемъ только характерѣ твердая воля Петра могла въ четверть столѣтія поставить на ряду съ европейскими государствами отатарившуюся въ нѣсколько вѣковъ Россію.

Если „Евгеній Онѣгинъ“ какъ романъ, имѣетъ недостатки въ отношеніи къ содержанію, завязкѣ, развязкѣ, характерамъ и движенію, во что мы не считали нужнымъ входить подробно, то сколько есть красотъ, истинно художническихъ, въ его картинахъ, описаніяхъ, примѣненіяхъ, намекахъ, мысляхъ, сколько аттической соли въ проблескахъ сатиры чисто Гораціанской, умной, свѣтской, сколько искрометныхъ эпиграммъ, всегда умѣстныхъ, всегда отличныхъ въ прелестную форму! По мѣстамъ встрѣчаются въ немъ глубокія чувства, какъ, напримѣръ, въ слѣдующихъ стихахъ (глава 2):

Увы! на жизненныхъ браздахъ
Мгновенной жатвой, поколѣнья
По тайной волѣ Провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падаютъ,
Другія ихъ во слѣдъ идутъ...
Такъ наше вѣтренное племя
Растетъ, волнуется, кипитъ
И къ гробу пращѣдовъ тѣснитъ.
Придетъ, придетъ и наше время,
И наши внуки въ добрый часъ
Изъ міра вытѣснятъ и насъ.
Покаместъ уживайтесь ею,
Сей легкой жизнію, друзья!

Ея ничтожность разумѣю,
 И мало къ ней привязанъ я;
 Для призраковъ закрытъ я вѣжды;
 Но отдаленныя надежды
 Тревожатъ сердце иногда:
 Безъ непримѣтнаго слѣда
 Мнѣ было бъ грустно міръ оставить.
 Живу, пишу не для похвалъ;
 Но я бы, кажется, желалъ
 Печальный жребій свой прославить,
 Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,
 Напомнилъ хоть единый звукъ.

Должно однакоже сказать, что такихъ мѣстъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ мало: Пушкинъ—поэтъ, по преимуществу, пла-
 стическій, поэтому онъ рѣдко отрѣшается отъ матеріаль-
 наго, и чаще всего останавливается на тѣхъ предметахъ,
 которые даютъ просторъ его кинучему воображенію, умѣ-
 ющему все *очувствовать*, если можно такъ выразиться. Ска-
 жемъ болѣе,—онъ ищетъ такихъ предметовъ, находитъ ихъ,
 и сливается съ ними. Такъ въ 1-й главѣ „Евгенія Онѣги-
 на“, остановившись на маленькихъ ножкахъ, онъ не хочетъ
 расстаться съ ними, онъ весь въ нихъ (строфы XXX—
 XXXIV).

Къ чести Пушкина должно сказать, что, несмотря на
 страсть все *очувствовать*, онъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ нигдѣ
 не оскорбляетъ граціи; за то мы могли бы упрекнуть его,
 что онъ слишкомъ любитъ говорить о себѣ самомъ и, какъ
 красавица-кокетка, безпрестанно обращаясь къ зеркалу, за-
 бывается про постороннихъ—про читателей, и даже про
 своихъ героевъ и героинь; это безпрестанно прерываетъ
 рассказъ и замедляетъ ходъ происшествій.

Можно бъ было еще указать на нѣкоторые, впрочемъ,
 легкіе недостатки въ „Евгеніи Онѣгинѣ“,—но для чего?
 онъ и читался, и читается и, вѣроятно, долго еще будетъ
 читаться съ наслажденіемъ. Это романъ, въ которомъ болѣе
 или менѣе отражается общество, современное Пушкину,
 разумѣется, общество аристократическое, а оно-то у насъ
 только и читаетъ. Этимъ, между прочимъ, объясняется не-

обыкновенный успѣхъ „Евгенія Онѣгина“. Жаль, что поэтъ нашъ почти исключительно ограничился однимъ только высшимъ сословіемъ; онъ много нашелъ бы поэзіи въ низшихъ слояхъ общества, ближайшаго къ природѣ... Но кто имѣетъ право подписывать законы поэту? Онъ по собственному произволу или по тайному влеченію поетъ, что ему поется:

По воздуху вихорь свободно шумить:
Кто знаетъ, откуда, куда онъ летитъ?
Изъ бездны потокъ выбѣгаетъ;
Такъ пѣснь зарождаетъ души глубина!
И темное чувство изъ дивнаго сна,
При звукахъ поспранувъ, пылаетъ!..

* * *

*) „Братья-разбойники“. — „Цыганы“. На „Братьяхъ-разбойникахъ“ мы не намѣрены долго останавливаться: это рассказъ разбойника въ кругу новыхъ его товарищей-разбойниковъ, рассказъ легкій, живой, поэтический по изложению, но не по содержанію. Въ самомъ дѣлѣ, что вы найдете поэтического въ земледѣльцѣ, который, соскучившись добывать насущный хлѣбъ трудами, пустился съ братомъ на промыселъ, болѣе легкій и болѣе выгодный, на разбой. Въ цѣломъ рассказѣ встрѣчается вамъ одно только мѣсто, которымъ искупается нѣсколько содержаніе: меньшой братъ тяжело заболѣлъ; въ жару, въ разгарѣ недуга

Предъ нимъ толпились привидѣнья,
Грозя перстомъ издалика.
Всѣхъ чаще образъ старика,
Давно зарѣзаннаго нами,
Ему на мысли приходилъ;
Больной, зажавъ глаза руками,
За старца такъ меня молилъ:
„Братъ, сжался надъ его слезами!
„Не рѣжь его на старость лѣтъ...
„Мнѣ дряхлый крикъ его ужасенъ...

„Пусти его — онъ неопасенъ;
 „Въ немъ крови капли теплой нѣтъ...
 „Не смѣйся, братъ, надъ сѣдинами,
 „Не мучь его... авось мольбами
 „Смягчить за насъ онъ Божій гнѣвъ!..“

Изложеніе въ „Братьяхъ-разбойникахъ“, какъ мы сказали, легко, живо, но не вездѣ гармонируетъ съ своимъ предметомъ; разбойникъ, изъ простолюдиновъ, говоритъ, по мѣстамъ, языкомъ книжнымъ, отъ этого въ колоритѣ происходитъ невѣрность, неточность, — погрѣшность, отъ которой Пушкинъ не умѣлъ или не хотѣлъ освободиться.

„Братья-разбойники“ вышли въ свѣтъ послѣ „Шильонскаго узника“ въ прелестномъ переводѣ В. А. Жуковскаго; это подало многимъ поводъ думать, что „Братья-разбойники“ не что иное, какъ подражаніе Байронову „Шильонскому узнику“. Мы этого мнѣнія не раздѣляли и не раздѣляемъ съ другими; съ перваго взгляда, конечно, оно покажется, если не справедливымъ, по крайней мѣрѣ, правдоподобнымъ; но вникните глубже въ то и другое созданіе, и вы увидите, что между ними нѣтъ ничего общаго; ставить ихъ въ параллель значило бы обижать британскаго поэта: въ Байроновскомъ произведеніи видите вы глубокую мысль, въ его героѣ принимаете вы живое участіе. Иначе и быть не можетъ, — онъ страдаетъ невинно, онъ переноситъ муки одну другой неспособѣе за религіозное мнѣніе, само по себѣ святое, отъ чистаго сердца посвященное отцомъ въ чистомъ сердцѣ сына. Это трагедія, трагедія высокая, нравственная. Въ „Братьяхъ-разбойникахъ“ Пушкина и тѣни подобія этому нѣтъ: можете ли вы сочувствовать человѣку, который оставляетъ общество потому только, что не хочетъ трудиться ни въ немъ, ни для него, ни даже для себя, и рѣшетъ встрѣчнаго и поперечнаго? А гдѣ нѣтъ сочувствія, тамъ нѣтъ и поэзіи. Такіе предметы, какъ „Братья разбойники“ Пушкина, не стоятъ не только прекрасныхъ, но даже и никакихъ стиховъ; это значитъ бесполезно тратить сокровище дарованій, которыя ниспосылаются намъ свыше для лучшаго употребленія, для возвеличенія, для прославленія добродѣтели и ея источника — Бога.

Съ береговъ Волги, отъ шайки разбойниковъ перейдемъ въ Бессарабію; подъ шатры цыганъ, и полюбуемся раздольемъ степей и Пушкинской поэзіи.

„Цыганы“ Пушкина — маленькая драматическая поэма, исполненная дикой степной прелести; здѣсь поэтъ нашъ торжествуетъ; онъ овладѣлъ своимъ предметомъ, слился съ нимъ и отлилъ его въ изящную, истинно художническую форму. Мы уже сказали, что природа надѣлила Пушкина необыкновенною способностію принимать впечатлѣнія отъ предметовъ, непосредственно соприкасавшихся ему. Пушкинъ хорошо изучилъ Бессарабію, въ которой прожилъ нѣсколько времени въ совершенной независимости отъ свѣтскихъ отношеній, часто оковывающихъ и умъ и воображеніе; онъ самъ на досугахъ нерѣдко посѣщалъ цыганскіе таборы, и посѣщалъ не даромъ, не безъ пользы: этимъ его посѣщеніямъ мы обязаны „Цыганами“.

Пушкинъ любилъ говорить о Бессарабіи, о своей тамъ жизни, вольной, кочевой. „Часто“, сказалъ онъ мнѣ однажды, вспомнивши о Бессарабіи, „часто по цѣлымъ недѣлямъ я не одѣвался, не брился, ходилъ по степи, какъ сынъ природы—въ одной сорочкѣ и, признаюсь вамъ, никогда послѣ не бывалъ такъ доволенъ собою, никогда не любилъ такъ поэзію“. Пушкинъ говорилъ это въ изліяніи сердца, я вѣрилъ и теперь вѣрю его словамъ,—я вполне понимаю внутреннее состояніе челоѣка, всею душою преданнаго поэзіи. Въ этомъ-то состояніи Пушкинъ написалъ своихъ „Цыганъ“, въ которыхъ каждый стихъ запечатлѣнъ поэтической истиною.

Созданіе, планъ, движеніе, мѣстность, картины, образы, характеры, чувства, мысли, выраженія—все что въ удивительномъ сочетаніи другъ съ другомъ и какъ будто въ одинъ присѣсть сбѣжало на бумагу съ одушевленнаго, волшебнаго пера. Сначала, какъ и должно быть, представлена сцена дѣйствія, которое какъ будто само-собою развивается естественно, постепенно, легко, быстро, живо; вы не успѣете еще опомниться отъ очарованія, а „Цыганы“ уже прочитаны. Сцена обрисована немногими чертами, но съ такою полнотою, какой только можно требовать и желать:

Цыганы шумною толпой
 По Бессарабіи кочуютъ.
 Они сегодня надъ рѣкой
 Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ.
 Какъ вольность веселѣ ихъ ночлегъ
 И миренъ сонъ подъ небесами.
 Между колесами телегъ,
 Полузавѣшанныхъ коврами,
 Горитъ огонь: семья кругомъ
 Готовитъ ужинъ; въ чистомъ полѣ
 Пасутся кони; за шатромъ
 Ручной медвѣдь лежитъ на волѣ.
 Все живо посреди степей:
 Заботы мирныя семей,
 Готовыхъ съ утромъ въ путь недалеый,
 И пѣсни женъ, и крикъ дѣтей,
 И звонъ походной наковальни.
 Но вотъ на таборъ кочевой
 Нисходитъ сонное молчанье,
 И слышно въ тишинѣ степной
 Ляпсъ-лай-собакъ да коней ржанье.
 Огни вездѣ погашены,
 Спокойно все, луна сіяетъ
 Одна съ небесной выпшны
 И тихій таборъ озаряетъ.

Сцена дѣйствія обрисована, остается вывести на нее дѣйствующія лица, и вывести такъ, чтобы вы съ перваго взгляда на нихъ могли легко ихъ разгадать, — легко, говорю я, потому что дѣйствіе, такъ сказать, съ каждымъ стихомъ подвигается впередъ, — и Пушкинъ выводитъ ихъ почти въ одинъ и тотъ же моментъ, но такъ, что ни одинъ изъ нихъ не теряетъ своей индивидуальности, не сливается съ другимъ — и что всего важнѣе — при всей быстротѣ и подвижности не разрушаетъ эффекта перспективы: прежде видите вы передъ собою цыгана старика, представителя цыганскаго табора, потомъ дочь его Земфиру, представительницу цыганской дикой воли, не связанной гражданскими законами, и, наконецъ, Алесю, который не умѣлъ ужиться съ гражданскими законами и который, само-собою разумѣется, не уживется съ обычаями кочевому народа:

Въ шатрѣ одномъ старикъ не спитъ;
 Онъ передъ углями сидитъ,
 Согрѣтый ихъ послѣднимъ жаромъ,
 И въ поле дальнее глядитъ,
 Ночнымъ подернутое паромъ.
 Его молоденькая дочь
 Пошла гулять въ пустынномъ полѣ.
 Она привыкла къ рѣзвой волѣ;
 Она придетъ; но вотъ ужъ ночь,
 И скоро мѣсяцъ ужъ покинетъ
 Небесъ далекихъ облака;
 Земфиры нѣтъ какъ нѣтъ, и стынетъ
 Убогій ужинъ старика.
 Но вотъ она. За ноею слѣдомъ
 По стени юноша спѣшитъ;
 Цыгану вовсе онъ невѣдомъ.
 „Отецъ мой, дѣва говоритъ,
 Веду я гостя: за курганомъ
 Его въ пустынь я нашла
 И въ таборъ на ночь зазвала.
 Онъ хочетъ быть, какъ мы, цыганомъ;
 Его преслѣдуетъ законъ,
 Но я ему подругой буду.
 Его зовутъ Алеко; онъ
 Готовъ итти за мною всюду“.

Старикъ.

Я радъ. Останься до утра
 Подъ сѣнью нашего шатра,
 Или пробудь у насъ и долъ,
 Какъ ты захочешь. Я готовъ
 Съ тобой дѣлить и хлѣбъ и кровь.

Алеко.

Я остаюсь.

Земфира.

Онъ будетъ мой:
 Кто жъ отъ меня его отгонитъ?

Въ этихъ немногихъ словахъ вполнѣ выражень харак-
 теръ всѣхъ трехъ дѣйствующихъ лицъ: въ старикѣ, взрос-
 шемъ въ степи, свыкшемся съ нуждами коч

съ сердечными горестями, видите вы, съ одной стороны, какую-то патриархальность и радушіе, съ другой — какой-то стоицизмъ; Земфира — олицетворенное непостоянство, это вѣтерокъ пустыни, не удерживаемый никакими преградами; Алеко — сынъ гражданского общества — которое, прибавьте, онъ оскорбилъ и которымъ оскорбленъ; это оскорбленіе глубоко врѣзалось въ его сердце, оно грызетъ его; вотъ почему на многословное, радужное приглашеніе старика онъ отвѣчаетъ лаконически: „и остаюсь“. Въ этомъ я *остаюсь* вылилось волиѣ его погодованіе на общество, которое отторгло его отъ себя. Въ другомъ мѣстѣ это погодованіе на общество выражено у него если не сильнѣе, по крайней мѣрѣ, явственнѣе, многорѣчивѣе. На вопросъ Земфиры:

Скажи, мой другъ, ты не жалѣешь
О томъ, что бросилъ навсегда?

Онъ отвѣчаетъ:

О чемъ жалѣть? Когда бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городов!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышать утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ;
Любви стыдятся, мысли гонять,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонять
И просить денегъ да цѣпей.
Что бросилъ я? Измѣнъ волненіе,
Предразсужденій приговоръ,
Толпы безумное гоненіе
Или блистательный позоръ.

Прошло два года, — Алеко встосковался по обществу, которое проклиналъ, а можетъ быть, ему стало жалъ *блистательнаго позора*; воспитанный въ такъ называемомъ образованномъ кругу, могъ-ли онъ забыть тѣ побрякушки, которыя въ душѣ презираетъ истинный мудрецъ, но которыми свѣтскій человѣкъ тѣшится, какъ дитя? Между тѣмъ вѣт-

ренная Земфира измѣняетъ ему; ревнивый, мстительный Алеко омываетъ свой позоръ, свою обиду въ ея крови.

Пушкинъ, кажется, ни одной изъ страстей не умѣлъ такъ вѣрно и такъ ярко живописать, какъ ревность; постигалъ-ли онъ эту мстительную страсть своимъ пламеннымъ, все-воспроизводящимъ воображеніемъ, или самъ одержимъ былъ ею,—положительно сказать не можемъ; нельзя однако же не замѣтить, что онъ въ произведеніяхъ своихъ былъ болѣе субъективенъ, нежели объективенъ, и всегда съ большою силою воспроизводилъ только тѣ предметы, съ которыми соприкасался собственнымъ чувствомъ, съ которыми, такъ сказать, сливался всѣмъ своимъ существомъ и, надобно сказать, что во всѣхъ его твореніяхъ субъективныхъ гораздо болѣе поэзіи, по крайней мѣрѣ, пластики, чѣмъ въ твореніяхъ объективныхъ.

Изъ всѣхъ благородныхъ страстей, волновавшихъ на жизненномъ поприщѣ сердце Пушкина, была первая страсть къ поэзіи, и онъ, гдѣ только могъ, выставялъ на показъ поэзію или поэта. Такъ, живя въ Бессарабіи, онъ глубоко запечатлѣлъ въ душѣ своей образъ Овидія, съ которымъ, скажемъ мимоходомъ, имѣлъ много общаго, и воспроизвелъ его прежде въ прелестной элегіи „Къ Овидію“, потомъ въ своихъ „Цыганахъ“; въ этой драматической поэмѣ онъ весьма кстати вложилъ въ уста старика темное преданіе о рикскомъ поэтѣ, изгнанномъ въ Бессарабію, и кончившемъ тамъ свой вѣкъ:

Межъ нами есть одно преданье:
Царемъ когда-то сосланъ былъ
Полудня житель къ намъ въ изгнанье.
(Я прежде зналъ, но позабылъ
Его мудреное прозванье).
Онъ былъ уже лѣтами старъ,
Но младъ и живъ душой незлобной;
Имѣлъ онъ пѣсенъ дивный даръ
И голосъ, шуму водъ подобный.
И полюбили всѣ его,
И жилъ онъ на брегахъ Дуная,
Не обижая никого,

Людей рассказами плѣнял.
 Не разумѣлъ онъ ничего,
 И слабъ и робокъ былъ какъ дѣти;
 Чужіе люди за него
 Звѣрей и рыбъ ловили въ сѣти;
 Какъ мерзла быстрая рѣка
 И зимни вихри бушевали,
 Пушистой кожей покрывали
 Они святого старика;
 Но онъ къ заботамъ жизни бѣдной
 Привыкнуть никогда не могъ;
 Скитался онъ изсохшій, блѣдный,
 Онъ говорилъ, что гнѣвный Богъ
 Его каралъ за преступленье,
 Онъ ждалъ, придетъ-ли избавленье.
 И все несчастный тосковалъ,
 Бродя по берегамъ Дуная,
 Да горьки слезы проливалъ,
 Свой дальній градъ воспоминалъ.
 И завѣщалъ онъ, умирая,
 Чтобы на югъ перенесли
 Его тоскующія кости,
 И смертью—чуждой сей земли
 Не успокоенные гости.

Пушкинъ, само-собою разумѣется, сознавалъ въ себѣ высокій даръ, чувствовалъ свое призваніе, но онъ какъ будто боялся, что его не поймутъ, не оцѣнятъ, что онъ оставитъ на землѣ недоплетеннымъ свой поэтический вѣнокъ, что слава его не упрочится, не увѣковѣчится, и эту напрасную боязнь высказывалъ, гдѣ только могъ,—въ „Евгеніи Онѣгинѣ“, въ мелкихъ стихотвореніяхъ, въ „Цыганахъ“. Алеко, которому Пушкинъ какъ будто сочувствовалъ, выслушавши преданіе старика объ Овидіи, восклицаетъ съ горькимъ негодованіемъ:

Такъ вотъ судьба твоихъ сыновъ,
 О, Римъ, о громкая держава!
 Скажи мнѣ: что такое слава?
 Могильный гудъ, хвалебный гласъ,
 Изъ рода въ роды звукъ бѣгущій
 Или подъ снѣю дымной кущи
 Цыгана дикаго рассказъ?

*
*
*

*) „Полтава“. Не считаемъ нужнымъ разбирать *Графа Нулина*, *Анджело* и *Домикъ из Коломны*; двѣ первыя изъ этихъ пьесъ не выдержатъ строгой критики, послѣдняя не болѣе какъ забавный анекдотъ, удачно вставленный въ русскія, по подражанію итальянскимъ, октавы — и, кажется, для нихъ только написанный; но не можемъ не остановиться на *Полтавѣ*, тѣмъ болѣе, что многіе изъ читателей Пушкина имѣютъ объ ней, если смѣемъ сказать, превратное понятіе; они ставятъ ее на ряду съ *Русланомъ* и *Людмилою*, если еще не выше; мы, напротивъ, откровенно скажемъ, — это если не самое слабое, по крайней мѣрѣ, одно изъ слабыхъ его эпическихъ произведеній по созданію, характерамъ и самому изложенію. Правда, въ *Полтавѣ* есть нѣсколько отрывковъ, достойныхъ пера Пушкина, но отрывки еще не составляютъ цѣлаго. Мы ничего не скажемъ о названіи поэмы, — оно невѣрно; Полтава въ Пушкинскомъ произведеніи составляетъ только эпизодъ — не болѣе. Но названіе не самое важное дѣло, каково созданіе — вотъ вопросъ:

Богатъ и славенъ Кочубей.
Его луга необозримы;
Тамъ табуны его коней
Пасутся вольны, *нетранными*,
Крутомъ Полтавы хутора
Окружены его садами,
И мною у него добра,
Мяхова, атласа, серебра
И на виду и подъ замками.
Но Кочубей богатъ и гордъ
Не долгогривыми конями,
Не златомъ, данью Крымскихъ ордъ,
Не родовыми хуторами:
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.

За то завидныхъ жениховъ
 Ей шлетъ Украина и Россія.

Всѣмъ жонихамъ отказъ—я вотъ
 За ней самъ Гетманъ сватовъ шлетъ...
 Онъ старъ
 Но чувства въ немъ кипятъ, и вновь
 Мазепа въдастъ любовь.

Прибавьте къ этому, что Мазепа крестный отецъ Кочубеевой дочери, которую Пушкинъ изъ Матрены перекрестилъ въ Марію. Мать отказываетъ Мазепѣ въ рукѣ дочери, но Марія, влюбленная въ гетмана, бѣжитъ тайно изъ отеческаго дома къ влюбленному старику. Оскорбленный Кочубей вооружается противъ Мазепы местію; онъ пишетъ на него къ Петру доносъ объ измѣнѣ по принадлежности. съ Искрою, который безнадежно любилъ Марію.

Казакъ на сѣверъ держитъ путь,
 Какъ стекло булатъ его блеститъ,
 Мѣшокъ за пазухой звенитъ;
 Не спотыкаясь, конь ретивый
 Бѣжитъ, размахивая гривой.
 Червонцы нужны для гонца,
 Булатъ потѣха молодца,
 Ретивый конь потѣха тоже—
 Но шапка для нея дороже.
 За шапку онъ оставитъ радъ
 Коня, червонцы и булатъ;
 Но выдастъ шапку только съ бою,
 И то лишь съ буйной головою.
 Зачѣмъ онъ шапкой дорожитъ?
 Затѣмъ, что въ ней доносъ зашитъ,
 Доносъ на Гетмана злодѣя
 Царю Петру отъ Кочубея.

Что же было слѣдствіемъ этого посольства?

Доносъ оставя безъ вниманья,
 Самъ Царь Іуду утѣшалъ,
 И злобу шумомъ наказанья
 Смирить надолго обѣщалъ.

Невинный Кочубей действительно выданъ въѣстъ съ Искрою Мазепѣ; Мазепа публично казнилъ обоихъ, а Марія сошла съ ума. Тутъ бы, казалось, и должна была кончиться повѣсть, не имѣя притязанія на названіе поэмы; но Пушкину вздумалось привязать къ ней Полтавское сраженіе; отъ этого дѣйствіе раздвоилось: отъ нарушенія единства дѣйствія разрушился эффектъ повѣсти.

Вотъ созданіе *Полтавы*; хорошо-ли оно или нѣтъ, предоставляемъ судить самимъ читателямъ. Посмотримъ, каковы въ ней характеры. Во всей поэмѣ главныхъ лицъ три: Мазепа, Марія и Кочубей; начнемъ съ перваго.

Мазепа—лицо отвратительное, но и отвратительныя лица могутъ быть допущены, какъ въ трагедіи, такъ и въ поэмѣ, съ однимъ условіемъ: онѣ не должны стоять на первомъ планѣ, ихъ ставятъ на вторыя мѣста, и притомъ для одной только противоположности съ лицомъ первичнымъ, благороднымъ, для того чтобы возвысить доблести главнаго лица; иначе и быть не можетъ. Что такое поэма? Поэтическое повѣствованіе о важномъ историческомъ событіи, имѣвшемъ вліяніе—если не на все человѣчество, то, по крайней мѣрѣ, на значительную часть его, на государство. Какая цѣль поэмы? Возбудить удивленіе, благоговѣніе къ герою, какъ Божію избраннику. Что такое главное лицо въ поэмѣ? Это, какъ сказано, избранникъ Божій, который стремится къ предположенной благородной цѣли и, напутствуемый Богомъ, достигаетъ ея, преодолевъ всѣ препятствія, противопоставленныя ему враждебными силами. Спрашивается, есть-ли что-нибудь подобное въ „Полтавѣ“, въ Мазепѣ? Положимъ, что „Полтава“ не поэма, а просто стихотворная повѣсть,—но отъ этого лицо Мазепы нисколько не лучше. Прибавьте къ этому, что характеръ его не выдержанъ. Вся поэма—если „Полтава“ поэма—состоитъ изъ трехъ пѣсней; въ первыхъ двухъ пѣсняхъ вы видите въ Мазепѣ человѣка хитраго, дальновиднаго, проницательнаго, человѣка, который напередъ все расчелъ, все взвѣсилъ, все предугадалъ; читаете третью пѣснь, и сами себя не вѣрите. — Вотъ что говоритъ онъ наперснику своему Орлику наканунѣ Полтавскаго сраженія:

„Нѣтъ, вижу я, нѣтъ, Орликъ мой,
 Поторопились мы не кстати:
 Расчетъ и дерзкій и плохой,
 И въ немъ не будетъ благодати.
 Пропала, видно, цѣль моя.
 Что дѣлать? Далъ я промахъ важный:
 Ошибся въ этомъ Карлъ я.
 Онъ мальчикъ бойкій и отважный;
 Два-три сраженья разыграть,
 Конечно, можетъ онъ съ успѣхомъ,
 Къ врагу на ужинъ прискакать;
 Не хуже русскаго стрѣлка,
 Прокрасться въ ночь ко вражью стану;
 Свалить какъ нынче казака,
 И обмѣнять на рану рану;
 Но не ему вести войну
 Съ самодержавнымъ великаномъ.“

Характеръ Маріи въ нравственномъ отношеніи не лучше характера Мазепы, но онъ ровнѣе, вѣрнѣе самому себѣ, и выдержанъ отъ начала до конца; жаль одного,—Марія не возбуждаетъ въ насъ участія, потому что мы не видимъ въ ней ни одного отблеска нравственной красоты — это настоящая Танька, Ростокинская разбойница. Мало того, что она обезславилъ своего отца, мать, весь свой родъ, бросившись въ объятія Мазепы, крестнаго своего отца, замѣтьте, крестнаго отца: она, эта же Марія—для спасенія своего соблазнителя—готова пожертвовать головою своего отца. Тревожимая ревностію, она выпытываетъ у Мазепы задушевные тайны, и сама открываетъ ему глубину души своей. Вотъ разговоръ ихъ по этому случаю:

Мазепа.

Скажи: отецъ или супругъ
 Тебѣ дороже?

Марія.

Милый другъ,
 Къ чему вопросъ такой? Тревожить
 Меня напрасно онъ. Семейю
 Стараюсь я забыть мою.
 Я стала ей въ позоръ; быть можетъ,

(Какая страшная мечта!)
Мои отцомъ я проклета,
А за кого?

Мазепа.

Такъ я дороже
Тебѣ отца? Молчишь.

Марія.

О Боже!

Мазепа.

Что-жъ? отвѣчай!

Марія.

Рѣши ты самъ.

Мазепа.

Послушай, если-бъ было намъ,
Ему или мнѣ, погибнуть надо,
А ты бы намъ судьей была:
Кого-бъ ты въ жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

Марія.

Ахъ, полно! сердце не смущай!
Ты искуститель.

Мазепа.

Отвѣчай!

Марія.

Ты блѣденъ; рѣчь твоя сурова...
О, не сердись! Всѣмъ, всѣмъ готова
Тебѣ я жертвовать.

Лучше всѣхъ характеръ Кочубея, но и онъ не безукоризненъ: Кочубей доноситъ Петру объ измѣнѣ Мазепы, и прекрасно, — это долгъ каждого вѣрнооподданнаго. — Но въ какое время онъ разоблачаетъ передъ Петромъ замыслы Гетмана?.. Когда Мазепа похитилъ у него дочь и, слѣдовательно, нанесъ ему личное оскорбленіе. Не чувствуете-ли, какъ это много отнимаетъ цѣны у преданности Кочубея къ Петру. Можетъ быть, кто-нибудь скажетъ, что Кочубей прежде не зналъ о замыслахъ Гетмана, что они совпадаютъ

съ похищеніемъ Маріи,—ничуть не бывало: Кочубей давно уже зналъ объ нихъ,—ссылаемся на самого Пушкина, на то, что говоритъ онъ въ первой пѣснѣ „Полтавы“:

Издавна умыселъ ужасный
Взлелѣвалъ тайно злой старикъ
Въ душѣ своей. Но взоръ опасный,
Враждебный взоръ его проницъ.

Такъ! было время: съ Кочубеемъ
Былъ другъ Мазепа; въ оны дни
Какъ солью, хлѣбомъ и елеемъ,
Дѣлились чувствами они.
Ихъ кони по полямъ побѣды
Скакали рядомъ сквозь огни;
Нерѣдко долгія бесѣды
Наединѣ вели они.
Предъ Кочубеемъ Гетманъ скрытый
Души мятежной ненасытной
Отчасти бездну открывалъ,
И о грядущихъ измѣненіяхъ,
Переговорахъ, возмущеніяхъ
Въ рѣчахъ неясныхъ намскалъ.

До сихъ поръ мы рассматривали только внутреннюю сторону Полтавы, и съ сожалѣніемъ замѣтили въ ней значительные недостатки относительно созданія, дѣйствія, характеровъ; теперь обратимъ вниманіе нашихъ читателей на внѣшнюю ея сторону—на изложеніе.

Рецензентъ „Полтавы“ принялъ на себя тяжелую, неприятную обязанность: онъ чувствуетъ, что отзывъ его объ этомъ произведеніи любимаго нашего поэта многимъ не по сердцу. Что дѣлать? *Amicus Plato, sed magis amica veritas.* Рецензентъ, разбирая *Руслана и Людмилу*, *Бахчисарайскій Фонтанъ*, *Цыганъ*,ставлялъ напоказъ неподдѣльные красоты этихъ произведеній со всею откровенностью, со всѣмъ радушіемъ; онъ радовался имъ, онъ восхищался ими, по любви своей ко всему изящному, по чувству патріотизма,—

Чувствительна душа и вчужѣ веселится.

Почему же не высказать откровенно своихъ мыслей о

Полтава? Затѣмъ утаивать недостатки ея? Назначеніе критики—показывать, въ поученіе другимъ, и красоты и недостатки въ произведеніяхъ изящныхъ искусствъ, иначе искусства не подвигались бы впередъ.

Приступая къ разбору изложенія въ *Полтавѣ*, названной поэмою, надлежало бы прежде всего коснуться слога эпоса вообще, но это былъ бы лишній трудъ; другое дѣло, если бы мы говорили объ эпосѣ или, что все равно, если бы *Полтава* хоть вполовину удовлетворяла требованіямъ эпоса,—нѣтъ, она слишкомъ далека отъ эпоса; „Полтава“ не поэма, но эпоса; у насъ еще нѣтъ поэмы ни классической ни такъ называемой романтической; у насъ въ этомъ родѣ есть только опыты, какъ говорилъ самъ Пушкинъ; удачнѣйшимъ изъ нихъ въ романтическомъ родѣ мы обязаны самому же Пушкину.

Итакъ, оставивъ въ сторонѣ теорію слога эпоса, рассмотримъ „Полтаву“ со стороны слога, какъ произведеніе просто повѣствовательное, въ которое, впрочемъ, но мѣстамъ входитъ драма.

И то сказать: въ Полтавѣ нѣтъ
Красавицы, Маріи равной.
Она свѣжа какъ вешній цвѣтъ,
Взлелѣанный въ тѣни дубравной!
Какъ тополь кievскихъ высотъ
Она стройна. Ея движенья
То лебедя пустынныхъ водъ
Напоминаютъ плавный ходъ,
То лани быстрыя стремленья.
Какъ пѣна грудь ея бѣла;
Вокругъ высокаго чела,
Какъ тучи, локоны чернѣютъ;
Звѣздой блестятъ ея глаза;
Ея уста, какъ роза, рдѣютъ.

Мы съ намѣреніемъ выписали эти стихи: они сами по себѣ хороши, за исключеніемъ тѣхъ, которые отмѣчены курсивомъ; но въ цѣломъ этого объ нихъ нельзя сказать; съ перваго взгляда они, конечно, бросаются въ глаза; но рассмотрите ихъ какъ черты, какъ образы, которыми обри-

сованъ портретъ Маріи, и вы убѣдитесь, что изъ нихъ нельзя составить картины, чисто изящной, художественной.

Она свѣжа, какъ вешній цвѣтъ,
Взлелѣянный въ тѣни дубравной.

Этотъ образъ самъ по себѣ хорошъ, но соедините его съ послѣдующими образами: съ *тополеми кievскихъ высотъ*, съ *ходомъ лебедя пустынныхъ водъ*, съ *быстрыми стремленіями лани*, съ *тучами черныхъ локоновъ*, съ *устами, рдѣющими какъ розы*, и вы увидите, что картина невѣрна, не скомпанована надлежащимъ образомъ, что она не индивидуализируется въ вашемъ воображеніи. То ли дѣло портретъ грузинки въ „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“!

Вокругъ лилейнаго чела
Ты косу дважды обвила;
Твои плѣнительныя очи
Листѣ дня, чериѣ ночи.
Чей голосъ выразить сильнѣй
Порывы пламенныхъ желаній?
Чей страстный поцѣлуй живѣй
Твоихъ язвительныхъ лобзаній?

Восемь стиховъ,—и картина полна, каждая черта въ совершенномъ согласіи.

Перейдемъ къ отдѣльнымъ слабымъ стихамъ въ „Полтавѣ“, и будемъ ихъ слѣдить по пѣснямъ.

Пылаетъ сердце старика,
Окаменѣлое юдами...
И вся полна негодованьемъ
Къ ней мать идетъ...
Нѣтъ, онъ грѣха не совершитъ,
Онъ, должный быть отцомъ и другомъ...
То молча плача, то стена,
Марія не плала, не пла ..
... Но чѣмъ Мазепа злѣй,
Чѣмъ сердце въ немъ хитрѣй, ложный,
Тѣмъ съ виду онъ неосторожнѣй
И въ обхожденіи простѣй...
Не многимъ, можетъ быть, извѣстно...
Что онъ не въдаетъ святыни,

Что онъ не пожимитъ благодати,
 Что онъ не любитъ ничего,
 Что кровь готовъ онъ лить какъ воду...
 Грозы не чуя между тѣмъ,
 Не ужасаемый ничѣмъ,
 Мазена козни продолжаетъ.
 . . . Въ неправый споръ
 Зачѣмъ вступитъ сей безумецъ?
 Онъ самъ, надменный вольнодумецъ,
 Самъ точить на себя топоръ.

Здѣсь слово вольнодумецъ явно поставлено для рѣши—
безумецъ.

Куда бѣжитъ, зажавши въжды?
 На чемъ онъ основалъ надежды?

Вторая пѣснь „Полтавы“ по слогу несравненно выше первой; здѣсь меньше встрѣчено въ слабыхъ стиховъ, и можете упрекнуть Пушкина только за картину казни Кочубея, картину, довольно непріятную, хотя, впрочемъ, нарисованную не безъ искусства.

Ботъ она:

Пестрѣютъ шапки. Коня блещутъ.
 Бьютъ въ бубны. Скачутъ сердюки,
 Въ строяхъ ровняются полки.
 Толпы кипятъ. Сердца трепещутъ.
 Дорога, какъ змѣинный хвостъ,
 Полна народу, шевелится.
 Средь поля роковой помостъ.
 Ни немъ гуляетъ, веселится
 Палачъ, и алчно жертвы ждетъ;
 То въ руки бѣглый беретъ
 Ираючи топоръ тяжелый,
 То шутитъ съ чернью веселой.
 Въ гремучій говоръ все слилось:
 Крикъ женскій, брань, и смѣхъ, и ропотъ.

 Какъ будто въ гробъ тьмы людей
 Молчать. Топоръ блеснулъ сразмаху,
 И отскочила голова.
 Все поле ахнуло. Другая
 Катится вслѣдъ за ней мигая.
 Зардѣлась кровію трава—

*И сердцемъ радуясь во злобу,
Палачъ за чубъ поймавъ ихъ обѣ,
И напряженною рукой
Потрясъ ихъ обѣ надъ толпой.*

Третья иѣсьнѣ Полтавы такъ неудовлетворительна, такъ слаба, такъ далеко отъ совершенства, что намъ и жалко и совѣстно высчитывать всѣ ея недостатки. Здѣсь событія смѣшаны и, такъ сказать, нагромождены одно на другое, лица не обрисованы, не отѣнены, не сгруппированы надлежащимъ образомъ, оттого они другъ друга заслоняютъ, затемняютъ, и, какъ китайскія тѣни въ волшебномъ фонарѣ, мгновенно являясь, мгновенно исчезаютъ; ни одно лицо не индивидуализировано, самый Петръ, этотъ прототипъ героевъ, является на сцену не въ томъ священномъ величьи, которымъ ослѣпила его полтавская битва; что же сказать о Шереметевѣ, Брюссѣ, Боурѣ, Ропнинѣ и другихъ? А изъ нихъ, изъ этихъ героевъ, можно было составить цѣлую галлерей, богатую картинную галлерей. Но посмотрите, какъ Пушкинъ рисуетъ ихъ, начиная съ Петра:

. Изъ шатра
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяютъ. Лицъ ея ужасенъ,
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ,
Онъ весь какъ Божія гроза.
Идетъ. Ему коня подводятъ.
Ретивъ и смиренъ вѣрный конь,
Почуя роковой огонь,
Дрожить, глазами косо водить.
И мчится въ прахъ боевомъ,
Гордясь могучимъ сѣдокомъ.

.
И онъ промчался предъ полками,
Могучъ и радостенъ какъ бой,
Онъ поле пожиралъ очами.
За нимъ во слѣдъ неслись толпой
Сии птенцы князда Петрова
Въ прсмѣнахъ жребія земною,
Въ трудахъ державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметевъ благородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпинъ,
И счастья баловень безродный,
Полудержавный властелинъ.

Такъ-ли слѣдовало изобразить Петра предъ Полтавскою битвою, которою рѣшался для Россіи роковой вопросъ: *быть или не быть?* Воплотѣ-ли обрисованы, — не говорю уже — нарисованы — сподвижники Петра? Нѣтъ! Пушкинъ удѣлилъ всего два стиха на изображеніе Шереметева, Брюса, Боура, Рѣпинна, менѣе, чѣмъ на изображеніе Петрова коня: на его долю досталось пять стиховъ...

Пушкинъ, мастерски нарисовавшій въ Русланѣ и Людмилѣ поединокъ Рогдая съ Русланомъ, не умѣлъ справиться съ Полтавскою битвою, и рѣшительно палъ въ ней.

И грянуль бой, Полтавскій бой!
Въ огнѣ, подъ градомъ раскаленнымъ,
Стѣной живою отраженнымъ,
Надъ падшимъ строемъ свѣжій строй,
Отряды конницы летучей
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся съ плеча.
Бросая груды тѣлъ на груды,
Шары чугунные повсюду
Межъ ними прыгаютъ, разятъ,
Прахъ роютъ и въ крови шипать.

Есть-ли въ этихъ стихахъ, въ этомъ наборѣ словъ, стоишь ли приемъ что-нибудь похожее на описанія битвъ у Гомера, Виргилія, Аріоста, Тасса, даже у самого Лукана и Стація?.. И есть еще люди, которые со всею увѣренностью утверждаютъ, что Пушкинъ — поэтъ не одной Россіи, но всего человѣчества, что онъ нисколько не хуже поэтовъ всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ!..

* * *

*) „Борисъ Годуновъ“. Пушкинъ, часто пресмыкающійся по землѣ въ своей „Полтавѣ“, почти всегда носитъ по поднебесью въ своемъ „Борисѣ Годуновѣ“. Подумаешь, что духъ бессмертнаго Карамзина, подъ вліяніемъ котораго написанъ „Борисъ Годуновъ“, навѣвала поэту нашему и высокія мысли и гармоническіе стихи. Это не то, что „Полтава“, въ которой на немногихъ только мѣстахъ можно съ удовольствіемъ остановиться и подышать чистымъ эфиромъ поэзіи. Мы не указали и не указываемъ на эти мѣста, потому что они очень хорошо извѣстны всѣмъ любителямъ изящнаго въ словесности и почитателямъ Пушкина.

Можетъ быть, иные упрекнутъ насъ за излишнюю строгость или, правильнѣе сказать, за излишнюю откровенность, съ которою мы разбирали „Полтаву“; мы безъ всякой уклончивости, по чистой совѣсти разоблачили многіе недостатки внутренней и внѣшней ея стороны, во-первыхъ, для того, чтобы показать, что Пушкинъ еще не такое свѣтло поэзіи, въ которомъ нѣтъ ни одного темнаго пятна; во-вторыхъ, для того, чтобы отвратить молодое поколѣніе стихотворцевъ отъ слѣпнаго подражанія Пушкину, — для большей части подражателей доступна одна только слабая сторона художественныхъ произведеній, *græx imitatorum*, какъ называетъ ихъ Горацій, не проникаетъ въ святилище истинныхъ красотъ; въ третьихъ, для того, чтобы вразумить нѣкоторыхъ, что Пушкину не всѣ роды поэзіи были доступны. „Русланъ и Людмила“, „Бахчисарайскій Фонтанъ“, „Цыганы“ ясно доказываютъ, что область его была одно граціозное; въ „Полтавѣ“, по крайней мѣрѣ, въ третьей ея пѣсни, онъ пытался вступить въ сферу грандіознаго, и далеко не достигъ своей цѣли; здѣсь разыгралъ онъ печальную роль Икара, — на восковыхъ крыльяхъ нельзя подняться къ солнцу.

Замѣтимъ мимоходомъ, что поэтъ нашъ, по собственному ли убѣжденію или по совѣту друзей, въ „Полтавѣ“ вышелъ

*) „Галатея“ 1839 г., ч. 4, № 27.

изъ границъ пюризма, которому прежде былъ всегда вѣренъ, и оттого часто впадалъ въ тривіальность.—Странное дѣло! Пушкинъ не любилъ Батюшкова: онъ съ какимъ-то презрѣніемъ называлъ его *поэтомъ звуковъ*. Пушкинъ думалъ, что музыкальность и вообще тщательная отдѣлка стиховъ вредить ихъ силѣ, энергій; это ошибочное, ложное мнѣніе, которое въ послѣдніе годы его жизни много повредило нѣкоторымъ изъ его произведеній; подъ вліяніемъ этого неправильнаго мнѣнія написалъ онъ „Анжелло“, пьесу слабую, тяжелую по слогу. Пушкинъ самъ, наконецъ, кажется, замѣтилъ ошибочность своего мнѣнія, и, какъ очистительную жертву, положилъ на алтарь музъ „Каменнаго гостя“, произведеніе, къ сожалѣнію, недоконченное, но не менѣе того прелестное, очаровательное по своему изложенію. Если бы Пушкинъ долѣе жилъ, онъ совершенно очистился бы отъ ложныхъ мнѣній въ теоріи поэзіи; вѣрный своему природному вкусу, онъ подарилъ бы насъ геніальнымъ твореніемъ, которое дѣйствительно поставило бы его наряду съ великими поэтами всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ... Но будемъ благодарны ему и за то, что онъ оставилъ намъ по себѣ; значительная часть его сочиненій долго еще будетъ съ наслажденіемъ читаться любителями изящнаго въ поэзіи...

Manibus date lilia plenis:
Purpureos spargam flores!

Послѣ этого длиннаго, впрочемъ, необходимаго отступленія, служащаго дополненіемъ къ разбору „Полтавы“, перейдемъ снова къ „Борису Годунову“. Пушкинъ, какъ мы уже замѣтили, одаренъ былъ необыкновенною способностью принимать впечатлѣнія и воспроизводить ихъ; появился предпоследній томъ „Исторіи Государства Россійскаго“, превосходное предсмертное твореніе незабвеннаго Карамзина; поэтъ нашъ вдохновился имъ, и подарилъ соотечественниковъ „Борисомъ Годуновымъ“. Это драматическое произведеніе составляетъ, такъ сказать, рельефъ, арматуру на великолѣпномъ зданіи нашего исторіографа, поэтическіе комментарии на событія одной изъ достопримѣчательнѣйшихъ

эпохъ въ русскихъ лѣтописяхъ. Пушкинъ, вѣрный своимъ впечатлѣніямъ, такъ дорожилъ образомъ мыслей Карамзина, что въ сущности не измѣнилъ ни одного изъ описанныхъ имъ лицъ, портретовъ, характеровъ. Онъ какъ будто избралъ для себя правиломъ собственные стихи, влагаемые имъ въ уста Пимена, повѣряющаго Григорію докончить свою лѣтопись:

Братъ Григорій,
Ты грамотой свой разумъ просвѣтилъ,
Тебѣ свой трудъ передаю. Въ часы,
Свободные отъ подвиговъ духовныхъ,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидѣтель въ жизни будешь.

Вѣрны-ли характеры Карамзина, исполни-ли онъ постигъ, разгадалъ два лица, истинно загадочныя въ нашей исторіи,—Бориса Годунова и Лжедмитрія—это другой вопросъ, рѣшеніе котораго предоставляется будущему времени.

Драма Пушкина обнимаетъ собою промежутокъ времени въ нашей исторіи съ 1598 года февр. 20 по 1606, и раздѣляется на нѣсколько сценъ, ничѣмъ не связанныхъ одна съ другою—ни временемъ, ни мѣстомъ, ни постепенностью и преемственностью событій, короче, не организованныхъ, и при всемъ томъ имѣющихъ какое-то единство, обрамленное, если можно такъ выразиться, восемью годами царствованія Бориса Годунова. Это исторія въ лицахъ его времени; здѣсь важны не событія, но люди, двигавшіе событіями, и на этихъ-то людей Пушкинъ преимущественно обращалъ вниманіе. Онъ не исполнилъ рисовалъ лица, но только обрисовывалъ ихъ; его портреты можно сравнить съ превосходными очерками Флаксмана, перенесшаго на картины всю Божественную Дантову поэму—Адъ, Чистилище и Рай.

Къ чести нашего поэта, должно сказать, что у него каждая сцена округлена, въ каждой сценѣ, отдѣльно взятой, есть какое-то единство и особенный интересъ. Рисуя характеры лицъ, онъ не каждую черту ихъ анализируетъ, онъ не опускается, такъ сказать, въ бездонную глубь ихъ сердца, не теряется въ его изгибахъ, но съ легкою дѣя-

тельностью слѣдить за его движеніями, и выставляетъ на-показъ только тѣ изъ нихъ, въ которыхъ болѣе игры поэзіи. Такъ и должно быть: взволновать страсти, произвести изъ нихъ, для извѣстной цѣли, неукротимую бурю—дѣло краснорѣчія. Кроткая, миролюбивая поэзія придастъ имъ только легкое движеніе, приводитъ ихъ въ игру. Въ каждой сценѣ видна удивительная экономія, нигдѣ, кажется, нѣтъ лишняго стиха, лишняго слова: все въ своихъ предѣлахъ, все въ обмѣрѣ, въ обрѣзѣ; все предусмотрѣнно, расчислено.

Дѣйствіе начинается въ ту самую минуту, какъ патріархъ и народъ отправились въ монастырь съ предложеніемъ Борису короны. Въ первой сценѣ князь Шуйскій, собиравшій, какъ говорится, себѣ вѣнецъ Мономаха, разговаривая съ Воротынскимъ, хитро, искусно умѣлъ навести послѣдняго на мысль, что царемъ быть бы не Годунову, а кому-нибудь изъ князей отъ Рюриковой крови.

Воротынский.

Слушай, вѣрно
Губителя раскаянье тревожить:
Конечно, кровь невиннаго младенца
Ему ступить мѣшаетъ на престолъ.

Шуйскій.

Перешагнуть. Борисъ не такъ-то робокъ!
Какая честь для насъ, для всей Руси!
Вчерашній рабъ, татаринъ, зять Малюты,
Зять палача, и самъ въ душѣ палачъ,
Возьметъ вѣнецъ и бармы Мономаха!

Воротынский.

Такъ, родомъ онъ незнатенъ, мы знатнѣе.

Шуйскій.

Да кажется

Воротынский.

Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ!

Шуйскій.

Что-жь?

Когда Борисъ хитрить не перестанетъ,
Давай народъ искусно волновать...

Въ этихъ немногихъ словахъ виденъ Шуйскій съ своими высокоумными замыслами и, еще болѣе, видна причина нелюбви бояръ къ Годунову.

Вчерашній рабъ, татаринъ, зять Малюты...
Возьметъ вѣнецъ и бармы Мономаха!

Вотъ что свело Годунова съ престола въ гробъ! и больше это, чѣмъ кровь Димитрія, имъ или не имъ пролитая,—
имъ или не имъ, мы говоримъ потому, что это вопросъ еще не рѣшенный...

Во второй сценѣ одинъ изъ народа, возвратившійся изъ монастыря на Красную площадь, говоритъ, что Годуновъ отказывается отъ престола, другой, въ порывѣ сердца чисто русскаго, съ горестью восклицаетъ:

О Боже мой, кто будетъ нами править?

Это „кто будетъ нами править“ удивительно вѣрно характеризуетъ русскій народъ. Этимъ начинается наша исторія, этимъ, вѣроятно, она и кончится. Покоренные норманнами, освободившіеся отъ норманновъ, мы зовемъ къ себѣ княжить норманновъ. „Земля наша велика и обильна, а управу въ ней нѣтъ; придите владѣти нами“, съ такою инструкціею предки наши отправлялись за море искать себѣ правителей.

Характеръ Годунова, въ третьей сценѣ, обрисованъ немногими чертами, по съ необыкновенною вѣрностью и искусствомъ; вотъ что говоритъ этотъ, въ своемъ родѣ, Монтальто:

Ты, отче патріархъ, вы всѣ, бояре,
Обнажена душа моя предъ вами:
Вы видѣли, что я приѣмлю власть
Великую со страхомъ и смиреніемъ.
Сколь тяжела обязанность моя!

Жаль, однакоже, что Пушкинъ не внесъ, если только могъ, незабвенныхъ словъ Годунова, произнесенныхъ имъ при вѣнчаніи своемъ на царство: „Богъ мнѣ свидѣтель, что въ моемъ царствѣ не будетъ ни сираго ни бѣднаго... Отдамъ и эту (рубашку) послѣднюю наряду!“

Прелестная сцена Пимена съ Григоріємъ (Гришкою Отрепьевымъ) вся вообще, и въ особенности хорошо ее окончаніе: оно сильно потрясаетъ васъ,—прочитавъ ее, вы невольно задумаетесь глубокою думою.

Вотъ оно:

Борись, Борись! все предъ тобой трепещеть,
Никто тебѣ не смѣетъ и напомнить
О жребіи несчастнаго младонца;
А между тѣмъ отшельникъ въ темной кельѣ
Здѣсь на тебя доносъ ужасный пишетъ,
И не уйдешь ты отъ суда мірскаго,
Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда.

Пушкинъ, по подражанію ли Шекспиру, для разнообразія ли или, что правдоподобнѣе, для того, чтобы полнѣе представить жизнь эпохи, современной событіямъ, которыя онъ описываетъ, вводитъ въ драму свою сцены въ родѣ гротеско, и эти сцены очень милы своей наивностью; таковы сцены въ патриаршихъ палатахъ и въ корчмѣ на Литовской границѣ. Для большей свободы и естественности въ выраженіи, онѣ написаны прозою живою, легкою, игривою, короче — пушкинскою. Мы сказали пушкинскою, потому что пушкинская проза такъ же хороша въ своемъ родѣ, какъ и пушкинскіе стихи. Есть люди, которымъ она не нравится. Все зависитъ отъ точки зрѣнія, съ которой мы смотримъ на предметы.

Завязка пьесы приготовлена; событія быстро сменяются одно другимъ; Самозванецъ вступаетъ въ предѣлы Россіи; кровавая трагедія начинаетъ разыгрываться. Тѣнь Димитрія прельщаетъ народъ и всюду преслѣдуетъ хищника престола; вездѣ предательства, вездѣ измѣны; Борись изнемогаетъ подъ тягостію несчастій, обрушившихся надъ его головою; застигнутый внезапнымъ предсмертнымъ подугомъ, онъ, ввѣряя сыну престолъ, даетъ ему наставленія истинно мудрыя, истинно царскія; въ нихъ излита вся душа его. Жаль только, что онѣ по многорѣчивости своей неестественны въ устахъ умирающаго, и умирающаго скоропостижно.

Предѣлы журнальной статьи не позволяютъ намъ рас-

пространяться въ исчисленіи всѣхъ красотъ „Бориса Годунова“: мы многое пропускаемъ, но не можемъ, не должны пропустить послѣдней сцены, въ которой такъ много поэтического, что вы, прочитавши ее, невольно прослезитесь надъ несчастьемъ невинныхъ дѣтей Годунова, достойныхъ лучшей доли, и надъ безуміемъ легкомысленнаго, неблагодарнаго народа.

Борисъ умеръ, семейство его подъ стражою.

„*Теодоръ у окна.*

Нищій. Дайте милостыню, Христа ради!

Стража. Поди прочь; не велѣно говорить съ заключенными.

Теодоръ. Поди, старикъ, я бѣднѣе тебя, ты на волѣ.

Одинъ изъ народа. Братъ да сестра! Бѣдныя дѣти, что пташки въ клѣткѣ.

Другой. Есть о комъ жалѣть! Проклятое племя!

Первый. Отецъ былъ злодѣй, а дѣти невинны.

Другой. Яблоко отъ яблони не далеко падаетъ.

Ксенія. Братецъ, братецъ, кажется, къ намъ бояре идутъ“.

Марія, супруга Бориса, и сынъ его Теодоръ удушены боярами. Мосальскій выходитъ на крыльцо и говоритъ народу:

„Народъ! Марія Годунова и сынъ ея Теодоръ отравили себя ядомъ. Мы видѣли ихъ мертвые трупы. (Народъ въ ужасѣ молчитъ). Что жъ вы молчите? Кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Іоанновичъ!

(Народъ безмолвствуетъ)“.

Этимъ оканчивается драма. Какъ много заключается въ этомъ „народъ безмолвствуетъ!“ Вы нехота задумываетесь при этомъ „народъ безмолвствуетъ“, и какъ будто присутствуете при пораженіи Аполлоновыми стрѣлами Ніобы и при превращеніи ея въ камень въ минуту гибели ея невинныхъ дѣтей.

Въ этомъ: „народъ безмолвствуетъ“ таится глубокая политическая и нравственная мысль: при всякомъ великомъ общественномъ переворотѣ народъ служитъ ступенью для властолюбцевъ-аристократовъ; онъ самъ по себѣ ни добръ

ни золь, или лучше сказать, онъ и добръ и золь, смотря по тому, какъ заправляютъ имъ высшіе; нравственность его можетъ быть и самою чистою и самою испорченною,—все зависитъ отъ примѣра: онъ слѣпо довѣряется тѣмъ, которые выше его и въ умственномъ и въ политическомъ отношеніи; но увидѣвши, что довѣренность его употребляютъ во зло, онъ *безмолствуетъ* отъ ужаса, отъ сознанія зла, которому прежде безсознательно содѣйствовалъ; *безмолствуетъ*, потому что голосъ его заглушается внутреннимъ голосомъ проснувшейся, громко заговорившей совѣсти. Въ высшемъ сословіи совѣсть другое дѣло: тамъ совѣсть подчинена, и раболопно покорствуется расчетамъ честолюбія или какой другой страсти: народъ живетъ по преимуществу *сердцемъ*, а знать *головой*. Народъ естественно ближе къ природѣ, знать совершенно поглощается обществомъ, которое всегда болѣе или менѣе находится во враждебномъ отношеніи къ природѣ; одно только высокое образованіе, основанное на правилахъ чистой нравственности и религіи, можетъ ихъ сблизить другъ съ другомъ. Въ обществѣ часто добродѣтель не болѣе какъ одинъ лакъ: онъ издаетъ свѣтъ только днемъ.

*) Лирическія стихотворенія Пушкина. Кромѣ „Бориса Годунова“ Пушкинъ оставилъ, въ драматическомъ родѣ, четыре произведенія: *Сцену изъ Фауста*, *Циръ во время чумы*, *Моцарта и Сальери* и *Скупого Рыцаря*. „Сцена изъ Фауста“ написана подъ вліяніемъ Гётева „Фауста“, „Скупой Рыцарь“ переведенъ или передѣланъ изъ Ченстоновой траги-комедіи „The caveteous Knight“, „Циръ во время чумы“ также, кажется, не самобытное твореніе, только „Моцартъ и Сальери“, если не ошибаемся, принадлежитъ по созданію Пушкину. Всѣ они имѣютъ достоинство, но достоинство болѣе относительное, нежели абсолютное, независимое, вотъ почему мы не подвергаемъ ихъ рецензій и переходимъ къ лирическимъ стихотвореніямъ Пушкина.

*) „Галатея“ 1839 г., часть 4-я, № 29.

Лирическая поэзія есть, такъ сказать, еиміамъ, возжигаемый или божеству, или богоподобнымъ людямъ, или обоготвореннымъ страстямъ; иногда она превращается въ уроки мудрости, облакаемые въ изящныя формы слова. Отсюда гимнъ, торжественная ода, пѣснь со всѣми оя отраслями, и, наконецъ, ода философская или дидактическая.

Многіе полагаютъ, что лирика древнѣе прочихъ родовъ поэзій; мы съ этимъ совершенно согласны: она есть изліяніе восторженной души, выразившей уже чувство благоговѣнія въ первомъ дѣтствѣ рода человѣческаго, когда еще не было общественнаго быта; между тѣмъ какъ эпопея и драма возникаютъ только въ обществахъ устоявшихся, у народовъ созрѣвшихъ, перешедшихъ въ степени политической жизни, короче, у народовъ историческихъ въ полномъ значеніи этого слова.

Который изъ трехъ родовъ поэзіи выше, это вопросъ нерѣшенный; греки предпочитали драму, итальянцы — эпопею, іудеи — лирику. Намъ кажется однако, что послѣдніе правѣ: лирика есть поэзія чистая, непримѣсная, разумѣется, если она не пресмыкается по землѣ, не погрязаетъ въ чувственности, но паритъ къ небу и, прислушиваясь къ звукамъ горныхъ лиръ, передаетъ ихъ землѣ. Такова поэзія избраннаго Богомъ народа. Прошли вѣка во слѣдъ вѣкамъ, и еще пройдутъ міриады вѣковъ, а пѣсни боговдохновенныхъ мужей все еще будутъ утѣшать слухъ, утѣшать сердца людей, вздыхающихъ въ юдоли скорбей о радостяхъ первобытнаго своего отечества — неба.

Пушкинъ не поэтъ всего человѣчества, какъ вздумалось сказать объ немъ одному изъ его записныхъ панегиристовъ, а поэтъ русскій, и по преимуществу поэтъ такъ называемаго большого свѣта или, что все равно, поэтъ будуарный, не возносился или очень рѣдко возпосился къ небу, и не оставилъ ничего такого, что подходило бы къ гимнамъ, если мы не отнесемъ къ этому роду его подражаній корану. Кстати объ нихъ. Когда они вышли въ свѣтъ, это было въ 1826 году, одинъ острякъ сказалъ: „по всему видно, что А. С. пустился въ набожность, и въ нынѣшнемъ году

особенно отличился ею“. Но шутки въ сторону. Подражанія корану Пушкина въ эстетическомъ отношеніи запечатлѣны истиннымъ поэтическимъ талантомъ. Вотъ одно изъ нихъ:

О жены чистыя пророка,
Отъ всѣхъ вы женъ отличены:
Страшна для васъ и тѣнь порока!
Подъ сладкой сѣнью тишины
Живите скромно: вамъ пристало
Возбращной дѣвы покрывало.
Храните вѣрныя сердца
Для пѣгъ законныхъ и стыдливыхъ,
Да взоръ лукавый нечестивыхъ
Не узритъ вашего лица.
А вы, о гости Магомета,
Стекаясь къ трапезѣ его,
Брегитесь суетами свѣта
Смутить пророка моего.
Въ пареннѣ душъ благочестивыхъ,
Не любить онъ вѣлѣрчивыхъ
И словъ нескромныхъ и пустыхъ:
Почтите пиръ его смиреньемъ
И цѣломудреннымъ склоненьемъ
Его невольницъ молодыхъ.

Пушкинъ приложилъ къ этой пьесѣ слѣдующее примѣчаніе. „Мой пророкъ, прибавляетъ Алла, вамъ этого не скажетъ, пбо онъ весьма учтивъ и скромнѣнъ; но я не имѣю нужды съ вами чиниться“ и проч. Ревность араба такъ и дышитъ въ сихъ словахъ“. А мы скажемъ: ревность араба такъ и дышитъ въ приведенныхъ стихахъ Пушкина.

Ко второму роду лирическихъ стихотвореній относится героическая ода. Въ этомъ родѣ Пушкинъ ничего не написалъ. Онъ славилъ красавицъ, славилъ друзей, даже и враговъ (въ эпиграммахъ), но до людей *богоподобныхъ*, до героевъ ему не было дѣла. Правда, у него есть пьесы: *Наполеонъ*, *Циръ Петра Перваго*, *Бородинская годовщина* и *Клеветникамъ Россіи*; но первая пьеса слаба, недостойна воспѣваемаго героя, во второй ярко выказывается только одна черта великаго изъ великихъ. „Бородинская годовщи-

на“ и особенно „Клеветникамъ Россіи“ не безъ достоинствъ, не безъ красоть, но это произведенія болѣе ораторскія, нежели поэтическія... И у насъ, на Руси, есть человѣкъ, который знаетъ Русь, и котораго Русь знаетъ, и этотъ человѣкъ торжественно провозгласилъ, что Пушкинъ, какъ лирикъ, одинъ только равняется съ Державинымъ!.. Вотъ наши судьи въ литературѣ! Заслуги Пушкина въ отечественной поэзіи велики, если хотите, такъ же велики, какъ заслуги Державина, но только въ другомъ родѣ—въ поэзіи повѣствовательной и частію драматической. Впрочемъ, мы были бы несправедливы къ Пушкину, если бы не упомянули и не отозвались съ *достодолжнымъ* уваженіемъ объ его стихотвореніяхъ, принадлежащихъ къ такъ называемой легкой поэзіи; многія изъ нихъ прелестны, восхитительны, очаровательны, таковы: *Фонтану Бахчисарайскаго дворца*, *Къ морю*, *Талисманъ*, *Кавказъ*, *Поэту*, *Телѣ жизни*, *Къ ****, *Отвѣтъ О. Т. ****, *Мадонна*, *Предчувствіе*, *Монастырь на Казбекѣ*, *Зимнее утро* и нѣкоторыя изъ безыменныхъ. Сюда же должно отнести большую часть антологическихъ его стихотвореній; это настоящія маленькія картинки, *quadretti* Сальватора Розы; въ нихъ все дышитъ нѣгою и упоеніемъ; какое удовольствіе разольется по сердцу вашему, когда вы прочтете, напримѣръ, *Нереиду*:

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду.
Сокрытый межъ деревъ, едва я смѣлъ дохнуть.
Надъясной влагою полубогиня грудь
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала
И пѣну изъ власовъ струею выжимала.

А вотъ въ другомъ родѣ антологическое стихотвореніе:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ сыновъ ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Но лишь божественный глаголь
 До слуха чуткаго коснется,
 Душа поэта вострепнется,
 Какъ пробудившійся орелъ.
 Тоскуеть онъ въ забавахъ міра,
 Людской чуждается молвы;
 Къ ногамъ народнаго кумира
 Не клонитъ гордой головы;
 Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
 И звуковъ и смятенья полнъ,
 На берега пустынныхъ волнъ,
 Въ широкошумныя дубровы...

Здѣсь каждый стихъ проникнутъ чувствомъ и истиной. Пушкинъ хорошо понималъ, что такое призваніе поэта, но, по необходимости или изъ доброй воли, покоряясь свѣтскимъ отношеніямъ, не всегда слѣдовалъ ему. Это послѣднее обстоятельство, можетъ быть, повредило нѣкоторымъ изъ его стихотвореній; поэтъ долженъ быть выше отношеній свѣта, условій современности и житейскихъ потребностей, если эти потребности не вопіющій гласъ нужды, а прихоть, которой нельзя насытить и всѣмъ золотомъ Сибири. Пушкинъ и это хорошо понималъ. „Я всякій разъ чувствую жестокое угрызеніе совѣсти“, сказалъ онъ мнѣ однажды въ откровенномъ со мною разговорѣ, „когда вспоминаю, что я, можетъ быть, первый изъ русскихъ началъ торговать поэзіею. Я, конечно, выгодно продалъ свой *Бахчисарайскій Фонтанъ* и *Евгенія Оныгина*; но къ чему это поведетъ нашу поэзію, а можетъ быть, и всю нашу литературу? Ужъ, конечно, не къ добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитріеву, Карамзину: они безкорыстно и безукоризненно для совѣсти подвизались на благородномъ своемъ поприщѣ, на поприщѣ словесности, а я?..“ Тутъ онъ тяжело вздохнулъ и замолчалъ. Пушкинъ предугадалъ слѣдствія литературнаго барышничества; поэтовъ и прозаиковъ стали цѣнить по сбыту ихъ *невещественнаго* капитала, нѣкоторые журналисты и особенно содержатели журналовъ начали превращать невещественный капиталъ въ *вещественный*; публика перестала довѣрять добросовѣст-

ности, по крайней мѣрѣ, безкорыстію писателей; посредничество между нею и ими по безмолвному согласію приняли нѣкоторые журнальные арендаторы; читатели нѣсколько времени имѣли довѣренность къ этимъ арендаторамъ, и естественно,—сначала въ арендаторскіе журналы завербовались писатели, пользовавшіеся доброю славою. Но съ тѣхъ поръ, какъ послѣдніе, обманувшись въ своихъ надеждахъ и видахъ, корыстныхъ или безкорыстныхъ, перестали печататься въ журналахъ, публика разочаровалась: на писателей виноватыхъ и невиноватыхъ, т. е. причастныхъ и непричастныхъ корысти, палъ позоръ, и литература наша, если прежде небогатая, нероскошная, по крайней мѣрѣ, невинная, непродажная, стала клониться къ упадку. Горько, но справедливо!.. Не даромъ Пушкинъ говорилъ, что онъ чувствовалъ угрызеніе совѣсти при мысли, что началъ продавать свое вдохновеніе; онъ прелестно выразилъ это тревожное состояніе своей души въ „Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ“. На вопросъ книгопродавца:

О чемъ вздохнули такъ глубоко,
Нельзя-ль узнать?

онъ отъ лица поэта отвѣчаетъ:

Я былъ далеко.
Я время то воспоминалъ,
Когда, надеждами богатый,
Поэтъ безпечный, и писалъ
Изъ вдохновенія, не изъ платы...

Книгопродавецъ, выслушавши мечты поэта о свободѣ, мечты о славѣ, облеченныя въ сладковзвучные стихи, хладнокровно отвѣчаетъ:

Прекрасно! Вотъ же вамъ совѣтъ,
Внемлите истинѣ полезной:
Нашъ вѣкъ торговъ; въ сей вѣкъ желѣзный
Безъ денегъ и свободы нѣтъ.
Что слава? Яркая заплата
На ветхомъ рубищѣ нѣвца.
Намъ нужно злата, злата, злата:
Копите злато безъ конца...

Позвольте просто вамъ сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

Поэтъ, соблазненный корыстію, перестаетъ быть поэтомъ, и отвѣчаетъ книгопродавцу прозою: „Вы совершенно правы. Вотъ вамъ моя рукопись. Условимся“. При чтеніи этихъ строкъ невольно вспомнишь стихи В. А. Жуковского изъ „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ“:

„Сталь думу думать Громобой;
Подумаль, согласился,
И обольстителю душой
За злато поклонился“.

Имѣла-ли меркантильность вредное вліяніе на произведенія самого Пушкина? На этотъ вопросъ мы не станемъ отвѣчать ни утвердительно ни отрицательно, а укажемъ читателямъ на „Пѣсни западныхъ славянъ“, напечатанныя первоначально въ „Библіотекѣ для Чтенія“. Отчего въ нихъ мало поэзіи? Оттого что... оттого что... Ну, да просто скажемъ, оттого что онѣ напечатаны.

Можетъ быть, инымъ изъ читателей „Галатеи“ отзывъ нашъ о лирическихъ произведеніяхъ Пушкина покажется нѣсколько рѣзкимъ, что жъ дѣлать? Рецензентъ „Галатеи“ никакимъ отношеніямъ не жертвуетъ истинною, а истина всегда немного шероховата. Мы еще не все высказали: намъ хотѣлось бы совершенно разоблачить Пушкина, какъ поэта, т. е. со всею откровенностію выставить напоказъ красоты и недостатки его произведеній какъ въ цѣломъ, такъ и въ частности, и думаемъ, что это было бы не безполезно для нашей словесности; но... кажется, еще рано произносить рѣшительный, окончательный судъ надъ нимъ. Впечатлѣніе, произведенное на публику нѣкоторыми изъ его твореній, дѣйствительно превосходныхъ, такъ было сильно, что она не видитъ, не хочетъ видѣть слабости въ его недозрѣлыхъ, неотчетливыхъ, короче, нехудожественныхъ произведеніяхъ, и ставитъ ихъ наравнѣ съ образцовыми его созданіями. На дняхъ я былъ въ маленькомъ обществѣ, состоявшемъ, кромѣ меня, изъ четырехъ особъ, можетъ быть,

самыхъ образованныхъ во всей Москвѣ: я понимаю здѣсь образованіе эстетически-нравственное, художественное. Въ разговорѣ какъ-то коснулись „Полтавы“ Пушкина; одинъ изъ собесѣдниковъ, котораго не назову по имени, молодой человѣкъ, поборникъ русской словесности, съ огромнымъ запасомъ свѣдѣній, со вкусомъ очищеннымъ, съ любовью ко всему прекрасному,—защищалъ, и защищалъ съ жаромъ „Полтаву“; я возражалъ; онъ, оставивъ въ сторонѣ доводы, началъ читать нѣкоторые отрывки изъ нея, и читалъ ихъ такъ хорошо, такъ увлекательно, что, признаюсь, я колебался было въ своемъ мнѣніи насчетъ „Полтавы“ Пушкина. Возвратившись домой, я снова перечиталъ ее съ возможною отчетливостью, и снова увѣрился въ ея несовершенствѣ. Отчего же молодой образованный человѣкъ, мой собесѣдникъ, былъ отъ нея въ восторгѣ? Оттого, думаю, что въ первый разъ читалъ ее подъ вліяніемъ, произведеннымъ на него чтеніемъ прежнихъ, дѣйствительно образцовыхъ, сочиненій Пушкина. Пушкинъ едва только вступилъ на литературное поприще, и уже составилъ себѣ такую огромную славу, которой не могли уменьшить и затмить послѣдующія его произведенія, даже самыя слабыя. Бесѣда съ четырьмя эстетически образованными особами, о которыхъ говорилъ я, была для меня очень назидательна; она вразумила меня, что подвергать строгой критикѣ современныя знаменитости дѣло опасное не для искусства, а для рецензента. Впередъ буду осторожнѣе. А сколько было у меня завѣтныхъ мыслей...

Не могу, однакоже, не замѣтить, что сіяніе славы Пушкина поглотило славу другихъ русскихъ поэтовъ, не равныхъ, конечно, съ нимъ, но не менѣе того достойныхъ глубокаго уваженія по своимъ талантамъ. Публика, жаркая поборница Пушкина, слишкомъ холодна къ другимъ современнымъ нашимъ поэтамъ; она какъ будто и не замѣчаетъ ихъ, этихъ поэтовъ, произведенія которыхъ могли бы сдѣлать честь любой европейской литературѣ. Можетъ быть, даровитые современные наши поэты сами виноваты: они слишкомъ скромны, отъ этого у нихъ часто и почти всегда

перебиваютъ дорогу люди бездарные, но смѣливые, смѣлые, отважные, дерзкіе, безстыдные; они составили маленькіе кружки и, по пословицѣ „рука руку моетъ, обѣ бѣлы бываютъ“, извилистыми дорогами идутъ къ предположенной цѣли и достигаютъ ее, тѣмъ болѣе, что есть журналисты, которые для собственныхъ видовъ поддерживаютъ ихъ,—и бѣдная литература наша годъ отъ году, день ото дня клонится къ паденію, которое ускоряется и другими причинами: вы принимаетесь за перо, вдругъ приходитъ къ вамъ черная мысль: кто будетъ читать меня?.. Между тѣмъ какъ васъ беретъ это раздумье, восторгъ вашъ хладѣетъ, и вы кладете перо надолго, можетъ быть, на вѣчный покой.

Изъ „Галатеи“ за 1839 годъ.

***) Сочиненія А. Пушкина. Спб. 1837 — 1841.**

Немного времени прошло еще съ тѣхъ поръ, какъ ранняя несчастная смерть русскаго поэта Александра Пушкина возбудила сожалѣніе, которое чувствовали къ нему, какъ къ человѣку, постигнутому судьбою, даже и тѣ, которые не въ состояніи были оцѣнить его поэтическаго достоинства. При семъ случаѣ убѣдились, что Пушкинъ былъ поэтъ истинный. Конечно, восторженныя похвалы его соотечественниковъ, единогласное признаніе ими таланта его и глубокое чувство, съ которымъ всѣ званія народа встрѣтили его произведенія, могутъ служить неоспоримымъ тому доказательствомъ. Кто бы долженъ былъ изъ насъ, иѣмцевъ (во всякомъ случаѣ надлежитъ намъ прежде всѣхъ упомянуть о себѣ), рассмотреть явленіе, прославившее чудомъ въ той области сѣвернаго неба, которая была для нашего взора покрыта непроницаемымъ мракомъ, къ которой даже едва осмѣливались мы обращать свой взоръ? Мы славимся ревностною любовію къ языкамъ всѣхъ народовъ, самымъ древнимъ, непонятнымъ и отдаленнымъ, и даже излпшнимъ знаніемъ ихъ; мы не привыкли пренебрегать никакимъ предметомъ, способнымъ быть обнятымъ и обрабо-

*) „Сынъ Отечества“ 1839 г., т. 7. Статья К. А. Фарнгагена ф. Элизе.

таннымъ — и до сихъ поръ ничего не сдѣлали въ отношеніи къ живущимъ столь близко, столь соприкосновеннымъ съ нами, и вообще чрезвычайно важнымъ Славянамъ. Усилія Шлецера, пытавшагося указать намъ источники русской исторіи, съ давняго времени остаются отрывкомъ. Хотя мы и не переставали снабжать Россію полезнѣйшими, дѣйствующими и образовательными силами, подвизающимися тамъ съ признанною пользою и славою, но у себя мы обращали слишкомъ мало вниманія на *русскій языкъ* и *русскую словесность*, почти вовсе не занимались ими. Мы даже почти всѣ питаемъ предразсудокъ, что русскій языкъ — грубый и необработанный, и русская словесность, едва возникающая, и большею частію подражающая иностраннымъ образцамъ, можетъ представить намъ мало достойнаго вниманія.

Но со времени той борьбы, которую мы вмѣстѣ выдержали, и которая возбудила въ Россіи всю народную силу, и вызвала ее сначала для участія въ опасности, а потомъ въ побѣдѣ и славѣ, послѣ столькихъ подвиговъ храбрости, произошло изъ великаго общаго чувства стремленіе къ духовному образованію. Русскіе стали уважать себя, какъ народъ, и вмѣсто того, чтобы скрывать свою народность и отрекаться отъ нея, какъ то было прежде, они смѣло ее выставляли, и потому приняли новый полетъ, который превзошелъ всѣ ожиданія, и блистательно доказалъ, что народъ, такъ же какъ и отдѣльный человѣкъ, можетъ одностороннюю силу легко обратить и на другіе предметы, и такимъ образомъ достигнуть успѣха. Но мы или не знали о семъ духовномъ стремленіи или не вѣрили ему. Нѣкоторыя имена достигали до насъ, но мы тѣмъ охотнѣе отказывались отъ ближайшаго съ ними знакомства, чѣмъ болѣе намъ хвастали, что вмѣстѣ съ тѣмъ красовалось въ русской литературѣ много нашего; послѣдняго довольно было у насъ самихъ, и потому мы не хотѣли отыскивать его въ чуждомъ языкѣ. Переводы Жуковского изъ Шиллера, Гёте, Уланда, заслужившіе похвалы счастливымъ выраженіемъ, должны мы были предоставить собственному достоинству ихъ, подобно его оригинальнымъ произведеніямъ. Насъ изумило извѣстіе, что

Гётева Елена, о которой мы сами удерживались говорить, тотчас же нашла въ Москвѣ основательнаго русскаго цѣнителя въ лицѣ Шевырева, и мы должны были въ такомъ достоинствѣ явленіи видѣть оказанную намъ честь, и сблизиться съ произведеніями русскихъ. Хотя и были опыты переводовъ русскихъ оригинальныхъ сочиненій, — рѣдко лучшихъ и достойнѣйшихъ, — но они не имѣли успѣха, и оставались большею частію неизвѣстными.

Русскій языкъ, безъ сомнѣнія, богатѣйшій и сильнѣйшій изъ всѣхъ славянскихъ, смѣло можетъ состязаться съ образованнѣйшими языками современной Европы. Богатствомъ словъ превосходитъ онъ романскіе, богатствомъ формъ германскіе языки, и въ обоихъ отношеніяхъ способенъ къ развитію, коего границъ еще невозможно опредѣлить. Въ благозвучіи, силѣ и пріятности русскій языкъ не уступитъ никакому сѣверному, а часто и южному; въ немъ соединяется накопленіе согласныхъ, которыя насъ почти душатъ, съ обиліемъ гласныхъ буквъ, въ которыхъ утопаетъ итальянскій, и потому онъ способенъ принимать всѣ возможныя выраженія съ сильнѣйшимъ полнотвучіемъ, и представляетъ искусно владѣющему имъ неизмѣримое поле.

Когда въ такомъ языкѣ пробудится поэзія, то можно ожидать великихъ явленій. Конечно, безъ поэзіи не существуетъ народа, и никакой языкъ ни въ какое время не обходился безъ нея, но притомъ есть различіе: „и до Агамемнона были герои“, однакоже, если бы мы даже знали ихъ имена и подвиги, то и тогда они остались бы позади его. Русскіе давно уже могли гордиться своими Ломоносовымъ, Державинымъ и многими другими, но поэзія ихъ оттого еще не прорвалась на свѣтъ. Сколь долго можетъ замедлиться такой прорывъ, какъ самовольно завертывается сія почка, хотя ростъ цвѣтка и былъ роскошенъ, можемъ мы видѣть на самихъ себѣ: наша поэзія недавняя: до Гёте и Шиллера, нѣмцы не имѣли поэта, представителя ихъ образованности. Мы говоримъ съ особеннымъ выраженіемъ „образованности“, потому что ее-то поэтъ находитъ, какъ фактъ, заключаетъ своимъ достоинствомъ, и представляетъ позднѣйшей много-

образно развитой эпохѣ. Природная поэзія народа соединяется тогда съ художественнымъ присвоеніемъ всеобщаго мірового успѣха, на который каждый народъ имѣетъ право, вмѣстѣ съ которымъ онъ живетъ: между симъ успѣхомъ и народностію поэтъ служитъ посредникомъ.

Такая поэзія явилась въ новѣйшее время въ Россіи: чистѣйшее и сильнѣйшее выраженіе ея находимъ мы въ Пушкинѣ. Сколь ни были бы многочисленны и разнообразны его предшественники и послѣдователи, толпящіеся вокругъ него, — прекрасные таланты. Грибоѣдова, Баратынскаго, Дельвига, Языкова, Бенедиктова, князей Вяземскаго и Одоевскаго, Шевырева и столь многихъ другихъ, — но онъ вышаша, какъ глава надъ всѣми, и всѣ, такъ сказать, соединяются въ немъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ есть выраженіе полноты современной русской жизни, и потому въ высокомъ смыслѣ націоналенъ. Народность, кою скоро подъ симъ названіемъ разумѣютъ сколь возможно отдѣльное преданіе, перешедшее изъ туманной древности, не можетъ уже быть національною при болѣ развитомъ образованіи, потому что именно благороднѣйшая часть народа, духовно-пробужденная, духовно озирающаяся, осталась бы неудовлетворительною. Но общее образованіе требуетъ, напротивъ того, твердой народной почвы, въ которой она пускаетъ корни, изъ которой получаетъ пищу. Это замѣчаніе должны мы имѣть въ виду, чтобы уразумѣть истинное значеніе Пушкина, и не обсудить его созданій несправедливо. Сами русскіе, по скромности или осторожности, говоря о немъ, нерѣдко упоминаютъ о подражаніи. Такое опредѣленіе кажется намъ весьма ограничивающимъ. Мы встрѣчаемъ у Пушкина подобное тому, что находимъ у лорда Байрона. Его поэзія кажется часто подражаніемъ, не будучи таковою: она происходитъ изъ собственнаго духа, даже въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ не всегда бываетъ отличительна. Подобно океану, въ который каждая страна катитъ свои воды, запасъ образовъ, накопившійся въ продолженіе вѣковъ, есть общее достояніе, которымъ каждый можетъ пользоваться, изъ котораго можно присвоивать себѣ то, что

пригодно или нравится. Творенія Шекспира и Гёте, голосъ Байрона, стремленія Виктора Гюго,—однимъ словомъ, все богатство литературныхъ созданій перешло уже въ общую поэтическую атмосферу и въ ней разрѣшилось; мы вдыхаемъ его, какъ свободный элементъ жизни, и, будучи такимъ, оно дѣлается матеріею и составной частью новыхъ твореній, которыхъ ни въ какомъ случаѣ нельзя называть подражательными, потому что въ нихъ замѣтенъ тотъ же переходъ. Одинъ духъ рѣшаетъ въ такихъ случаяхъ, кого должно признать свободнымъ повелителемъ и кого рабскимъ подражателемъ. Вопросъ: „откуда взялъ это поэтъ?“ уже Гёте основательно разобралъ по многимъ поводамъ; мы теперь при случаѣ на него и ссылаемся.

Что Пушкинъ самостоятельный поэтъ, то непосредственно слѣдуетъ изъ производимаго имъ впечатлѣнія. Пусть онъ принимаетъ формы и избираетъ пути, существовавшіе до него, но жизнь, которую онъ создаетъ, совершенно новая. Если онъ намъ часто напоминаетъ собою Байрона, Шиллера, даже Виланда и ихъ предшественниковъ, Шекспира и Аріоста, то изъ сего болѣе слѣдуетъ, съ кѣмъ мы можемъ его сравнивать, нежели отъ кого должны его производить. Байрону онъ современенъ, даже, можно сказать, Шиллеру, потому что внѣшнія обстоятельства жизни въ существѣ своемъ съ тѣхъ поръ не измѣнились. Самый внутренній міръ, заключающійся въ душѣ Пушкина, возвышается, по большей части, на тѣхъ же основаніяхъ, которыя мы замѣчаемъ у сихъ поэтовъ: у него видна та же противоположность и борьба поэзіи съ дѣйствительностью, та же скука и исполненная сомнѣнія досада, та же тоска объ утраченномъ или недостижимомъ счастьи, та же разорванность и величественная преданность, которыя преимущественно являются у Байрона. Но отъ него отличается Пушкинъ существенно уже тѣмъ, что онъ тотчасъ же противопоставляетъ упомянутымъ качествамъ совершенно противную онимъ свѣжую веселость, которая освѣщаетъ его поэзію, подобно яркому солнечному лучу, и при непріятныхъ происшествіяхъ и отчаяніи чувствъ сохраняетъ утѣ-

шеніе и надежду. Въ сомъ направленіи къ веселости, добру и силѣ, которое укрѣпляетъ сердце и возбуждаетъ духъ, можно его сравнить съ Гёте. Истинное поэтическое призваніе основано собственно на томъ, что поэзія есть радость и утѣшеніе, и только для того спускается ко всѣмъ скорбямъ и страданіямъ. Воодушевляющую, живительную силу Пушкина можетъ испытать всякій, кто имъ занимается. Онъ столько же приверженъ къ комическому и шуткѣ, какъ и къ трагическому и страстному, но преобладаетъ у него пронія, и до такой степени, что онъ часто достигаетъ въ высочайшемъ смыслѣ гумора. Его веселость всегда составляетъ основное настроеніе, которому прочія настроенія служатъ тѣнями. Выраженіе его также выказываетъ такой характеръ: вездѣ быстрая краткость, свѣжія сжатая картины, яркія блестящія ума, рѣзкіе обороты. У рѣдкаго поэта встрѣчается менѣе слѣдовъ изысканности, отступленій къ любви, безполезныхъ распространеній; его естественность довольствуется самымъ простымъ словомъ, быстро схватываетъ и оставляетъ каждый предметъ; его пылкое воображеніе, исполненное искренности и величія, его то нѣжная, то ѣдкая острота, все соединяется къ тому, чтобы произвесть пріятное, благотворное впечатлѣніе на читателя, всегда заинтересованнаго и всегда свободнаго, никогда не терзаемаго.

На русскаго все это дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, что охватываетъ въ то же время его національное существо, и возбуждаетъ въ немъ всю жизнь отечества и народности. Творенія Пушкина исполнены Россіи во всѣхъ отношеніяхъ и видахъ, и мы должны ближе разсмотрѣть, что означаетъ и какаѣ выгоды происходятъ оттого для русскаго поэта? Каждый поэтъ, не теряющійся въ идеальныхъ общностяхъ, болѣе или менѣе высказываетъ свою родину и народъ, и потому свойства сихъ послѣднихъ всегда очень важны. Но опредѣленный такимъ образомъ кругъ почти всегда довольно стѣсняется и представляетъ, болѣею частью, только что-нибудь односторонне равное, сѣверное, южное, образованное, даже принятое и условленное.

Если Байронъ могъ избѣгнуть сего стѣсненія, присоеди-

няя къ англійскому испанское, германское, итальянское и греческое, то онъ богатѣйшую поэзію свою долженъ былъ почерпнуть въ путешествіяхъ, и если Гёте, кромя германскаго, умѣлъ достигнуть еще богемскаго, а въ позднѣйшее время даже и восточнаго, то сіе удалось ему только при посредствѣ условій жизни и силы духа. Но Пушкину разнообразіе отдаленнаго по пространству и различнаго по духу естѣственно представляется въ его національномъ кругѣ. Ему все одинаково извѣстно—югъ и сѣверъ, Европа и Азія, дикость и утонченность, древность и современность; изображая разнороднѣйшее, изображаетъ онъ тѣмъ отечественное. Такихъ образомъ величію и могуществомъ, объемомъ и содержаніемъ государства дѣйствуютъ на него благодѣтельно, и мы видимъ, въ сколь тѣсномъ отношеніи находится его поэзія съ государствомъ: тѣ же самыя внутреннія, основныя причины, которыя придаютъ могущество государству, придаютъ и его поэзіи. Пушкинъ по мѣрѣ силъ своихъ выставилъ сію выгоду, и далъ ей цѣну. По его изображенію противоположи́йшихъ положеній, чувствительно, что они принадлежатъ ему въ равной степени, что онъ на всѣ ихъ имѣетъ равное право; они его собственныя, русскія. Мы можемъ примѣнить его слова и сказать, что

Отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды,
Отъ потрясеннаго Кремля
До стѣнъ недвижнаго Китая....

въ мірѣ древняго сельскаго обычая и въ ежедневной модной жизни, въ чертогахъ и подъ палаткою цыганъ, вездѣ онъ на своей почвѣ, вездѣ принимается его поэзія. Въ самомъ дѣлѣ, онъ доводитъ богатый міръ сей во всемъ его объемѣ до поэтическаго воззрѣнія.

Обстоятельства жизни поэта и его ранняя смерть достаточно извѣстны по внѣшнимъ очеркамъ. Нельзя не узнать по его наружности, равно какъ по жару крови его, происхожденія отъ дочери негра Гаппибала, который при Петрѣ Великомъ достигъ генеральскаго чина, и онъ самъ это признавалъ. Странничество, которому подвергала его неоднократно судьба, было, конечно, полезно для его поэзіи; онъ

такимъ образомъ узналъ народы и страны отечества, которыхъ иначе, вѣроятно, не увидалъ бы, и которыхъ все обиліе онъ успѣшно облекъ въ поэтическія формы. Блестательный оборотъ получила его жизнь, когда императоръ Николай I внезапно повелѣлъ вызвать его изъ отдаленной деревни въ Москву, поощрялъ къ новымъ произведеніямъ, и обѣщалъ впередъ быть единственнымъ его цензоромъ. Съ равнымъ великодушіемъ принялъ императоръ и послѣ несчастной смерти Пушкина на себя издержки по изданію его сочиненій, за которыя богатый сборъ предоставленъ щедрою попечительностью въ пользу сиротъ, оставшихся послѣ поэта.

Три полновѣсные тома этого новаго изданія, предпринятаго друзьями поэта, и именно Жуковскимъ, лежатъ теперь передъ нами. Расположеніе представляло нѣкоторыя затрудненія, потому что нельзя было слѣдовать хронологическому порядку, а по родамъ было невозможно опредѣлительно разобрать сочиненій. Нашли удобное средство: два важнѣйшія произведенія, „Евгенія Онѣгина“ и „Бориса Годунова“, помѣстили въ самомъ началѣ, и за ними расположили прочія стихотворенія, соблюдая по возможности однородность. Жаль, однакоже, что неизмѣнено время сочиненія каждой отдѣльной пьесы, потому что важно умѣть различить предшествовавшее отъ послѣдовавшаго. Такимъ же точно образомъ недостаетъ для насъ, а безъ сомнѣнія, и для многихъ русскихъ, тамъ и сямъ замѣчаній, которыя иногда однимъ словомъ сообщаютъ необходимую ясность. Самъ Пушкинъ присовокупилъ ко многимъ своимъ поэмамъ такія объясненія, которыя и при семъ изданіи припечатаны, но не прибавлено новыхъ замѣчаній издателей, несмотря на часто встрѣчающійся къ тому поводъ.

Затѣмъ обращаемся мы къ ближайшему разсмотрѣнію содержанія. Въ первомъ томѣ заключаются, какъ мы уже замѣтили, два величайшія и знаменитѣйшія произведенія Пушкина, за которыми слѣдуетъ нѣсколько мелкихъ драматическихъ сценъ. Мы постараемся опредѣлить важнѣйшія творенія достойными очерками.

„Евгеній Онѣгинъ“, романъ въ стихахъ. Сія поэма, которой содержаніе заимствовано изъ современной дѣйствительности, а форма изъ взгляда на романтическіе образцы, и которой высокій поэтический духъ придалъ содержанію и украшенію, удостоилась живѣйшаго приѣма, всеобщаго распространенія, какъ зеркало русской жизни, и едва ли найдется какой-либо уголокъ обширной имперіи, куда не проникъ бы „Онѣгинъ“, гдѣ не представлялся бы онъ ежедневной жизни, какъ книга изреченій и намековъ. Такой успѣхъ въ народѣ, не купленный униженіемъ, но скорѣй достигнутый возвышенностью, уже доказываетъ поэта, силу, которая является критическому взгляду въ высочайшей самостоятельности. Мы, по истинѣ, не умѣемъ привести сравненія другой поэмы изъ извѣстнаго уже литературнаго круга. Тотъ, кто упомянулъ бы о Байроновомъ „Чайльдъ Гарольдъ“, обнаружилъ бы такую же поверхностность, какъ тотъ, кто по поводу „Германа и Доротеи“ Гёте, упомянулъ бы о Фоссовой Луизѣ. При изображеніи сего обыкновеннаго происшествія раздѣлились значеніе и направленіе, и поэтъ нарисовалъ высоко надъ своимъ предметомъ, который онъ то почти выпускаетъ, какъ праздную игру, то, какъ высокую важность, болѣзненно прижимаетъ къ своему сердцу. Мы признаемся даже, что при желаніи сопутствовать въ отдѣльныя настроенія, которыя здѣсь преобладаютъ, и при великой удовлетворительности, доставленной намъ цѣлымъ, не можемъ, однакоже, проникнуть до истиннаго основнаго настроенія, которымъ поэтъ былъ доведенъ до своего предмета. Въ немъ есть для насъ, извнѣ приступающихъ, что-то не вполне растворяющееся, но что, можетъ быть, менѣе поражаетъ соотечественниковъ поэта, по причинѣ пребыванія въ мірѣ его. Цеструю смѣсь веселости и грусти, прони и растроганности, народности и идеальнаго въ картинѣ, нельзя объяснить себѣ иначе, какъ только тѣмъ, что передъ нами русское произведеніе, и именно, произведеніе Пушкина“... (Слѣдуетъ краткое содержаніе „Евгенія Онѣгина“).

„Исторія проста и связь не слишкомъ строга. Но какое богатство фантазій и гумора придалъ поэтъ отдѣльнымъ

изображеніямъ, не можемъ мы представить взору читателя, не растерявшись сами въ отдѣлностяхъ и не отваживаясь просто на переводы. Быстрота, сжатость его изображеній, иронія и эпиграмма, къ которымъ она всегда клонятся, отмѣнно приличествуютъ такого рода предметамъ, которые уже сами по себѣ ведутъ къ отступленіямъ. Изображенія природы, въ особенности, отличаются простотою и ясностію: весенній вѣтерокъ, зимняя ночь, сельская тишина представляются намъ непосредственно немногими краткими чертами; поэтъ называетъ только предметы, и представляетъ такимъ образомъ прелестнѣйшую картину. Обрисовка лицъ, ихъ внѣшняго явленія и внутренняго существа, также рѣзка и сильна; всѣ образы въ высочайшей степени наглядны, по въ особенности характеръ Татьяны, собственное изображеніе поэта, отмѣнно милъ и выдержанъ самымъ счастливымъ образомъ. Друзей, Онегина и Ленскаго, можно бы подобно братьямъ Фульгъ и Вальгъ у Жанъ Поль Рихтера, принять за разложеніе самого поэта, который изобразилъ двойственность своего внутренняго міра двойнымъ живымъ образомъ. Разказа о поединкѣ, котораго обстоятельства почти буквально сбылись надъ самимъ Пушкинымъ, нельзя въ семъ отношеніи читать безъ ужаса. Предчувствіе, трогательность, внушаемая поэту взоромъ на его собственную жизнь и судьбу, является также во многихъ другихъ мѣстахъ. Кромѣ того, никакой читатель сей удивительной поэмы не можетъ не признать въ творцѣ ея благороднаго и честнаго человѣка, хотя и обуреваемого пылкими страстями и часто заблуждающагося, но чувствительнаго и стремящагося ко всему добру.

Мы должны еще замѣтить, что цѣлое, раздѣленное на восемь книгъ, содержитъ въ себѣ почти четыреста строфъ, изъ которыхъ каждая состоитъ изъ четырнадцати ямбическихъ, восьми и девяти-сложныхъ рифмованныхъ стиховъ. Кажется, что Пушкинъ особенно любилъ четырехстопный ямбъ; онъ владѣлъ имъ съ пріятною легкостью. Большая часть слѣдующихъ за тѣмъ обширнѣйшихъ поэмъ писаны также симъ размѣромъ, который особенно свойственъ

быстрому и въ то же время чувствительному разсказу, и не далеку отъ драматическаго стиха.

„Борисъ Годуновъ“. Пушкинъ не придавъ сей драматической поэмѣ нарицательнаго имени, не раздѣливъ ея на дѣйствія, и собралъ сцены безъ прерыванія; мѣсто дѣйствія безпрестанно измѣняется, а время его обнимаетъ нѣсколько лѣтъ. Хотя всѣ ея вѣщности, изъ которыхъ только первую можно почесть необыкновенною, и оставили самого поэта въ сомнѣніи, можетъ ли его произведеніе почесться трагедією, однако же онѣ не могутъ удержать насъ отъ названія его симъ именемъ. Единство дѣйствія оказывается вездѣ, и соединяетъ всѣ части въ одно цѣлое; расположеніе, ходъ и развитіе чисто драматическіе, и самое дѣйствіе имѣетъ тотъ же характеръ. Даже вѣщный объемъ приближается къ обыкновеннымъ пяти актамъ, и въ случаѣ нужды, не трудно бы раздѣлить ихъ для сцены. Произведеніе русскаго поэта имѣетъ право на тѣ же самыя свободныя формы, которыя присвоены историческимъ драмамъ Шекспира, Гецу фонъ Берлихингену и Эгмонту Гете, къ которымъ оно и безъ того такъ близко по духу и содержанію. Мы выразительно упоминаемъ о семъ драматическомъ свойствѣ, потому что приговоръ, произносимый не прямо, оттого обыкновенно почитается почти неосновательнымъ; не признавать поэмы Пушкина драмою, потому что самъ онъ не называлъ ее такъ, было бы то же, что отрицать превосходство Гёте во владѣніи нѣмецкимъ языкомъ, потому что онъ думалъ, будто не достигъ его. Такого рода скромность всегда опасна; люди слишкомъ охотно вѣрятъ болѣе словамъ, нежели дѣлу.

Предметъ драмы заимствованъ изъ русской исторіи.— Это одинъ изъ самыхъ смутныхъ, самыхъ злосчастныхъ періодовъ—появленіе Лжедмитрія. Впрочемъ, не онъ герой трагедіи, какъ въ твореніи Шиллера: самое заглавіе уже называетъ Бориса Годунова, который возсѣлъ въ то время на русскомъ престолѣ...“ (Далѣе слѣдуетъ пересказъ содержанія).

„Драма оканчивается величественнымъ впечатлѣніемъ, ко-

торое соединяетъ въ себѣ значеніе происшествія и даетъ предчувствовать кару за новое преступленіе. Поэтъ раскрылъ передъ нашими глазами великую судьбу. Борисъ, способный и достойный царствовать, достигаетъ злодѣйствомъ престола, отъ котораго безсильное право должно было отказаться. Тщетно надѣется онъ обратить свои заслуги въ право и оставить любимому сыну благопріобрѣтеннымъ наслѣдствомъ то, что похитилъ злодѣйски; изъ самаго преступленія развивается месть, и его свергаетъ не право, но новый обманъ, который онъ ясно понимаетъ; ложнаго вида законности достаточно для того, чтобы разрушить власть похитителя. Въ исторіи встрѣчаются также примѣры преступленій, иначе наказываемыхъ, или наши глаза не въ состояніи слѣдовать за путями ея возмездія, часто слишкомъ продолжительнаго, но когда намъ представляется подобный случай, то стоитъ только схватить въ немъ трагическое. Катастрофа Бориса Годунова, которую поэтъ съ полнымъ правомъ продолжаетъ еще послѣ смерти его, до гибели дѣтей, сплетается сама собою съ судьбою Лжедмитрія. Но изъ сихъ столь тѣсно связанныхъ трагическихъ матерій первая, божь сомнѣнія, беретъ перовѣсь, какъ опредѣленностью, такъ и богатствомъ, и выборъ Пушкина свидѣтельству о глубокомъ и счастливомъ чувствѣ, которое кромѣ того еще столь сильно и богато, что могло и второе лицо надѣлать достоинствомъ и прелестью.

Расположеніе предмета по сценамъ и разговоръ должно по справедливости назвать мастерскими. Поэтъ вѣрно держался исторіи, что ему однако же не пренятствовало не выпускать изъ вида своей драматической задачи. Произведеніе его имѣетъ большіе историческіе пропуски, но драматическихъ не имѣетъ; все слѣдуетъ въ строгомъ порядкѣ; противоположности, происходящія изъ самаго предмета, безъ всякой искусственности, представляютъ выгоднѣйшее разнообразіе, а участіе и напряженіе сопровождаютъ одно и то же дѣйствіе до конца. Обрисовка характеровъ вѣрна и разнообразна; съ первымъ появленіемъ, съ первыми словами лицъ черты ихъ прочно установлены; властитель,

бояре, духовенство, народъ — всё являются въ своемъ истинномъ различіи; поэтъ точно такъ же твердо понимаетъ многообразный народъ, какъ царя и патріарха, католическаго монаха, какъ греческаго, честолюбивую польку, какъ кроткую царскую дочь; какъ геройскій духъ и государственная мудрость, такъ и пламенная любовь и святая красота высказываютъ у него свое существо. Такая многосторонность, находящая свойственное каждому отдѣльному образу, есть истинный признакъ драматическаго поэта, что равнымъ образомъ доказываютъ и немногія мелкія средства, помощью которыхъ онъ достигаетъ своихъ цѣлей. Въ этомъ Пушкинъ неподражаемъ. Все у него сжато и остро, сильно и быстро; нѣтъ ничего излишняго или растянутого; никогда не предается онъ заманчивымъ отступленіямъ, которыя столь часто вкрадываются въ драматическія поэмы, и въ которыхъ думаютъ оправдаться, называя ихъ лирическими. Десяти и одиннадцатисложный ямбическій стихъ, управляемый съ большою твердостью, не прерывается лирическими строфами; только тамъ и самъ, гдѣ говорить народъ, употребилъ поэтъ простую прозу.

Для русскихъ трагедія Пушкина имѣетъ особенное достоинство: она въ высочайшемъ смыслѣ національна. Хотя въ ней встрѣчаются въ истинномъ своемъ видѣ и другіе народы, по мѣрѣ ихъ отношеній, въ особенности упоминается вездѣ съ честью о нѣмцахъ, но дѣло Россіи обращаетъ безусловно къ себѣ все участіе, и самый иностранецъ чувствуетъ сердце русскаго въ каждой сценѣ, въ каждой строкѣ. Удивительно и жалъ, что при столь счастливомъ соединеніи превосходныхъ дарованій, Пушкинъ оставилъ только одну сію драму, а не написалъ цѣлаго ряда ихъ, потому что истинный драматическій талантъ по природѣ своей плодovitъ, и обыкновенно производитъ много и легко. Если бы онъ болѣе прожилъ, то, можетъ быть, написалъ бы болѣе въ семь родѣ. Впрочемъ, и условія извѣстныхъ отношеній времени и образованія могли быть причиною, что поэтъ, избѣгая излишняго, охотнѣе перелилъ свою драматическую силу въ свободнѣйшіе роды поэзіи.

Сцена из Фауста доказываетъ, что Пушкинъ питалъ и сей великій предметъ въ своей поэтической душѣ, а по представленному отрывку можемъ мы заключить, что онъ могъ бы продолжать работу не безуспѣшно. *Пиръ во время чумы* есть чудесное произведеніе, подражанію англійскому поэту Вильсону; достоинство его состоитъ въ легкости и чистотѣ выраженія. Двѣ сцены *Моцарта и Сальери* касаются извѣстнаго преданія о заказѣ „Рокіема“ и мнимомъ отравленіи Моцарта, приписываемомъ зависти Сальери. Драматизировка свѣжа, жива и коротка. *Скупой рыцарь*—три сцены изъ англійской драмы Ченстона, которую Пушкинъ намѣревался вполне перевести на русскій языкъ.

Второй томъ содержитъ повѣствовательныя поэмы, весьма различнаго значенія и характера. То волшебство составляетъ основу, то преданіе и исторія, то свойственное повѣсти происшествіе, созданное изъ воззрѣній и впечатлѣній, которыя поэтъ собралъ въ странствованіяхъ своихъ по Европѣ и Азіи, гдѣ онъ проникалъ до турецкихъ владѣній. Мы представляемъ о сихъ произведеніяхъ подробнѣйшій отчетъ.

Русланъ и Людмила, богатырская сказка въ шести пѣсняхъ и первая большая поэма, надъ которою Пушкинъ испыталъ свои силы. Кенигъ говоритъ, что произведеніе это создано въ духѣ Аріоста и вслѣдствіе занятій поэта итальянскимъ языкомъ, хотя совершенно народно, и въ духѣ времени богатырей; но мы, хотя и не можемъ, собственно, отвергать того, однакожъ желали бы знать, до какой степени мнѣніе, будто сія поэма есть плодъ занятій итальянскимъ языкомъ, основано на опредѣленныхъ историческихъ извѣстіяхъ? И если оно было заимствовано только изъ сравнительнаго обзора, то мы не приняли бы его въ соображеніе, но обратили бы, напротивъ, большее вниманіе на присовокупленное замѣчаніе, что поэтъ избралъ для сказки почвою область русскаго преданія и русской старины. Кромѣ того, поэма въ высочайшей степени отличается прелестью разсказа и возрастающею занимательностью; свѣжесть и краткость выраженія здѣсь весьма у

мѣста. Въ томъ Пушкинъ никогда себѣ не измѣняетъ: можно даже сказать, что его преднамѣренныя замедленія спѣшать, а обходы быстро ведутъ къ цѣли. Несмотря на то, однакоже, сказкѣ недостаетъ высшаго содержанія; она ограничивается однимъ фантастическимъ, и при всѣхъ достоинствахъ, которое имѣетъ въ семъ отношеніи, должны мы сознаться, что поэтъ является въ ней не въ полной своей силѣ.

Кавказскій Пльинникъ. Поэтъ переноситъ насъ къ одному изъ непокоренныхъ народовъ Кавказа... (Слѣдуетъ пересказъ содержанія). „Этой простой повѣсти придаетъ высокое достоинство оболочка. Мѣстность и нравы представлены въ живыхъ чертахъ, не съ холодною наблюдательностью, но съ возбужденною страстью въ совершающемся дѣйствіи. Цѣлое представляется въ дикой мрачности. Разговоры черкешенки съ юношею исполнены трогательной искренности. Заключение, къ которому стремишься съ боязливою поспѣшностью, является нашимъ чувствомъ какъ истинное избавленіе, въ которомъ и павшая жертва имѣетъ участіе.

Бахчисарайскій фонтанъ. Пребываніе поэта въ Крыму доставило ему случай заняться тамошними мѣстностью и преданіемъ. Бахчисарай былъ столицею прежнихъ крымскихъ хановъ, которые распространяли свои измѣчивые набѣги часто далеко въ глубь Россіи и Польши. Въ одномъ набѣгѣ на Польшу, ханъ Гирей похитилъ прекрасную княжескую дочь, и привезъ въ свой гаремъ; впрочемъ, тщетно старался онъ склонить ее къ взаимности. Пренія его любовница, черкешенка Зарема, видя себя покинутою, вознегодовала на мнимую соперницу и, движимая мщеніемъ, умертвила ее. Горестный ханъ, въ воспоминаніе о невинно умерщвленной, выстроилъ въ уединенномъ мѣстѣ своего сада фонтанъ, названный фонтаномъ слезъ, при тихомъ журчаніи котораго онъ задумывался о своей любезной. Разсказу даютъ много прелести пѣсни и нравы татаръ, описаніе гарема и, въ особенности, превосходное изображеніе женской красоты и истинная любовь, дышашія въ цѣломъ.

Братья-разбойники. (Пересказъ содержанія)... „Поэтъ за-

ключаетъ тѣмъ, что въ ихъ сердцахъ дремлетъ совѣсть, которая пробудится въ свое время. Сія простая слова показываютъ закоренѣлость толпы, по виду торжествующей, но въ самомъ дѣлѣ побѣжденной; одинъ приведенный ужасный примѣръ относится ко всѣмъ. Такимъ образомъ картина, при всемъ обиліи таланта казавшаяся безъ идеи, возносится симъ единственнымъ проблескомъ нравственнаго духа на высочайшую степень поэтической красоты.

Цыганы. Бессарабскія степи составляютъ сцену сей поэмы, которая, подобно молніеносной тучѣ, дико и страшно переносится въ ужасную мѣстность. Цыганка Земфира, возвращаясь съ ночной прогулки, приводитъ къ шатру своего стараго отца юношу, отринутаго образованнымъ свѣтомъ и ищущаго пріюта у бездомныхъ, полудикихъ племенъ. Дѣвушка избираетъ его въ мужа; онъ становится цыганомъ и называется Алеко. Отвратительность и прелесть грубой свободы не освѣщается ни однимъ лучомъ остальнаго міра; только о всегдашнемъ варварствѣ жителей той страны свидѣтельствуется дивный отголосокъ давняго времени римлянъ. Необузданность нравовъ является въ волненіи страстей. Земфира скучаетъ мужемъ; молодой цыганъ во всей силѣ юности снискиваетъ ея любовь. Въ пѣснѣ, исполненной лютаго пламени, является и усиливается страсть; это возжигаетъ бѣшенство Алеко, и ревность не даетъ ему покоя. Онъ крадется ночью за ушедшею отъ него женою, находитъ ее въ объятіяхъ молодого цыгана, и закалываетъ обоихъ. Умирая, Земфира радуется своей любви. Прибѣгаетъ старикъ отецъ и всѣ цыганы. Алеко не подвергается наказанію, но не можетъ долѣе съ ними оставаться; его отсылаютъ обратно въ тотъ свѣтъ, который онъ оставилъ, и котораго притязаній и предразсудковъ онъ не можетъ забыть. Цыганы поднимаются и откочевываютъ. — Поэма эта есть одна изъ сильнѣйшихъ и самобытнѣйшихъ созданій Пушкина; она, безъ сомнѣнія, основана на какомъ-нибудь дѣйствительномъ происшествіи, даже кажется вѣроятнымъ предположеніе, что подъ именемъ цыгана Алеко поэтъ хотѣлъ намекнуть на самого себя. Обработка цѣла-

го превосходна; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она становится совершенно драматическою. Съ каждою строкою усиливается дѣйствіе; происшествіе проносится подобно грозной бурѣ, и оставляетъ за собою ночь и безмолвіе.

Графъ Нулинъ. По устарѣвшей довольно манерѣ, названіе сей поэмы должно было означать пустоту героя. Приключеніе, гдѣ онъ является пристыженъ, рассказывается въ прелестныхъ стихахъ, съ сатирическою веселостію. Соблазнительную, а съ тѣмъ вмѣстѣ и хитрую матерію поэтъ представилъ съ комическою граціею. Особенную прелесть имѣетъ поэма, безъ сомнѣнія, для тѣхъ, которые могутъ слѣдовать за намеками ея на опредѣленную дѣйствительность.

Полтава. Поэма въ трехъ пѣсняхъ; основа историческая, расположеніе прекрасное, исполненіе зрѣлое, слогъ совершенный...“ (Слѣдуетъ пересказъ содержанія). „Исторія и преданіе здѣсь счастливо смѣшаны; герои и главные событія представлены въ ихъ исторической истинѣ; воинскія дѣла въ живой наглядности. Но удивительнѣе всего веденъ характеръ Маріи, упорство и сила ея склонности, ея твердая настойчивость и потомъ вновь могущественно пробудившаяся дочерняя любовь, дѣтское отчаяніе. И въ сей поэмѣ изображеніе главныхъ положеній подходитъ къ драматическому. Пушкинъ неоднократно доказываетъ, сколь способенъ онъ къ сему роду. Описаніе казни Кочубея мучительно по сухой подробности, но имѣетъ высокое поэтическое дѣйствіе. Принуждены будучи медленно подвигаться при ней, мы ожидаемъ, что сіе медленіе и для поспѣшности спасенія не будетъ слишкомъ коротко. Многія отдѣльныя черты величайшей красоты; поэма чрезвычайно богата новыми оборотами, изумительными эпизодами, исполненными жизни картинами.

Наконецъ, поэтъ обращаетъ взоръ, по прошествіи ста лѣтъ, на сцену тогдашнихъ событій. Въ высокой славѣ сіяетъ память Петра Великаго. Король Карлъ также не забытъ. Тщетно спрашиваютъ о могилѣ Мазепы, но съ честью возвышаются гробницы Кочубея и его товарища Ис-

кры, которыхъ вѣрность узнана слишкомъ поздно. О дочери молчить преданіе: слѣпой украинскій бандуристъ, брягающій о гетманѣ, едва упоминаетъ о преступной его дочери. Такъ умѣлъ поэтъ вывести насъ изъ глубины ночи въ область дня и простымъ эхомъ дѣяній указать высшее правосудіе, которое такимъ образомъ становится предметомъ истинной поэзіи.

Домикъ въ Коломнѣ. Наскучивъ писать безпрестанно четырехстопными ямбами, что всѣ умѣютъ, поэтъ избираетъ на сей разъ высшій размѣръ, трудныя октавы въ которыхъ весьма искусно подражаетъ итальянцамъ. Въ сорока великолѣпныхъ стансахъ рассказываетъ онъ забавное приключеніе, случившееся въ низшемъ кругѣ.

Анджело. Итальянскій рассказъ въ трехъ отдѣленіяхъ, писанный александрійскими стихами. Этотъ предметъ уже часто былъ обрабатываемъ драматически, и Пушкинъ мѣстами переходитъ совершенно въ драму. Александрійскій стихъ можетъ по справедливости назваться жесткимъ, но у Пушкина и въ немъ виденъ даръ поэта.

Полный блескъ и богатство поэта является во множествѣ *мелкихъ, особенно лирическихъ стихотвореній*, которыя составляютъ содержаніе *третьяго тома*. Здѣсь Пушкинъ въ свойственной ему сферѣ имѣетъ неоспоримое могущество; здѣсь сверкаютъ ярчайшія искры пламени, наполняющаго глубину его души. Эти ощущенія суть выраженіе измѣнчивой судьбы, грусть и томленіе вѣрнаго сердца, бодрость и надежда сильной души; въ нихъ дышитъ самъ поэтъ, а съ нимъ вмѣстѣ и соотчичи и современники, которыхъ внутренность онъ открываетъ и сокровеннѣйшія струны груди напрягаетъ и заставляетъ звучать. Волшебствомъ его выраженія успокоиваются волненія, мрачно и болѣзненно боющіяся во внутренности, и радостно являются на свѣтъ. Какъ глубоко и могущественно коснулся Пушкинъ сердца своего народа, можно видѣть уже изъ того, что пѣсни его проникли всюду въ Россіи, съ восторгомъ поются и восхваляются, и, дѣйствительно, не только удовлетворяютъ всему распространенному въ народѣ лирическому требованію,

но и возвышаютъ его, умножаютъ поэтическимъ сокровищемъ, котораго расточеніе порождаетъ лишь новое богатство.

Прежде всего должны мы замѣтить разнообразіе, въ какомъ является здѣсь поэтъ. Отъ упоеннаго дионрамба, высокой оды и меланхолической элегии до простѣйшаго звука пѣсни, отъ дружественнаго посланія до колкой эпиграммы, отъ пророческаго образа, заимствованнаго съ Востока, до новѣйшей пѣсни, посвященной случаю и минутѣ, соединяются здѣсь всѣ формы. Свободнѣйшія движенія стиха и рифмы смѣняются строжайшимъ образованіемъ строфъ; ямбы и дактили — трохеями; рядомъ съ прелестными, легкими формами пѣсенъ тѣсняются прекрасные стансы, счастливо отдѣланные сонеты и тяжело ступающіе александрійскіе стихи. Не менѣе разнообразно и содержаніе. Возвышенность творенія, обиліе природы, чувство любви и томленія, величіе отечества, обольщенія жизни, горестъ лишенія и отчаянія и вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшеніе дружбы и музъ, свобода мысли и радость насмѣшки, — всѣ сіи предметы и направленія проясняются въ душѣ поэта и переходятъ въ отрадные, примирающіе образы.

Его великое воззрѣніе на природу служитъ основаніемъ всему; оно проявляется во всѣхъ ощущеніяхъ, и придаетъ имъ постоянство и выраженіе. Чудесныя строфы „Къ морю“ представляютъ взорамъ нашимъ все великолѣпіе сей свободной стихіи, съ которою соединяется одушевленіе и томленіе; намекаютъ на гробницу Наполеона и пѣсни Байрона, котораго образъ сильно изображается въ мысли о морѣ, и наполняютъ насъ тоскою поэта, долженствующаго оставить любимый берегъ. Его жалоба о разлукѣ, объ одиночествѣ, его воспоминанія объ обольщеніяхъ и потеряхъ, его наблюденія во время поѣздокъ, при случайныхъ приключеніяхъ — все смѣшивается съ картинами природы; и запоздалый листъ и заунывный скрипъ мороза является здѣсь съ опоясаннымъ облаками Кавказомъ и зеленымъ моремъ степей.

Человѣческой судьбѣ, которой неудовлетворительность и

грусть безпрестанно напоминаетъ поэту участь его собственной жизни, сочувствуетъ онъ съ самозабвеніемъ, и чувства сего невозможно выразить болѣзненнѣе и вѣрнѣе, какъ оно выражено въ элегіи на прекрасную смерть поэта Андрея Шенье. Пѣсни, посвященныя друзьямъ, исполнены дружеской искренности, теплыхъ воспоминаній и смѣлой увѣренности; вообще въ нихъ сильно проявляется дружба, самая даже любовь уступаетъ ей, по крайней мѣрѣ, въ непосредственномъ выраженіи. Страсть, повидимому, извлечена изъ лирическихъ пьесъ и перенесена въ сущность большихъ поэмъ. Въ несравненной пѣснѣ „Талисманъ“ ревность утратила всю грубость свою въ очаровательномъ благозвучіи, исполняющемъ сіи строфы, музыкальныя уже по однимъ словамъ и могущія вступить въ состязаніе со стихами южныхъ языковъ. Въмѣсто борьбы и несчастія любви, видимы мы даже удовлетвореніе и счастье ея, высказанныя въ превосходномъ сонетѣ „Мадонна“, въ которомъ поэтъ признается, что обладаетъ тѣмъ, чего желалъ. Несчастныя препятствія, враждовавшія въ послѣдствіи извнѣ съ симъ чистымъ счастьемъ, содѣлываютъ тѣмъ трогательнѣе отзывъ его о сунругѣ.

Но меланхолія и неудовольствія, которыхъ поэтъ не можетъ за всѣмъ тѣмъ избѣжать въ большей части отношеній къ свѣту и людямъ, превращаются иногда въ острую ѣдкость, злобу и гордость. Сонетъ, въ которомъ онъ обращается къ самому себѣ, есть выраженіе свободнѣйшей самостоятельности, высочайшаго достоинства, смѣлаго презрѣнія:

Поэты! не дорожи любовію народноі!
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ;
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной,
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.
Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.
Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ;
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.

Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранить,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской радости колеблетъ твой треножникъ!

Множество мѣстъ въ сочиненіяхъ свидѣлствуютъ, что сіе чувство было истиннымъ, постояннымъ чувствомъ Пушкина; то же самое доказываетъ и цѣлая жизнь его, бывшая всегда выраженіемъ смѣлой, свободной и непокорной его души.

Такимъ же образомъ и взглядъ его на современныя общественныя отношенія, всегда достойный и благородный, былъ многообъемлющъ, исполненъ зрѣлой наблюдательности, пріятной теплоты, всеобщаго благоволенія и высокой страсти къ преуспѣянію и славѣ отечества. Его стихотвореніе на смерть Наполеона есть одно изъ самыхъ высокихъ и полныхъ содержанія, которыя только были посвящены сему предмету, воспѣтому поэтами всѣхъ народовъ. Онъ представляетъ величіе павшаго героя величественными чертами, называя его разорителемъ, не понимавшимъ свободы и народовъ, и не узнавшимъ русскихъ; въ то же время не позволяетъ ни малѣйшаго порицанія противъ него, величественно искупившаго свои заблужденія, и, наконецъ, возглашаетъ ему славу и честь, какъ вызвавшему русскій народъ къ высшему развитію, и изъ мрака заточенія завѣщавшему міру вѣчную свободу. Еще значительнѣе и достойнѣе замѣчанія два стихотворенія Пушкина, относящіяся ко времени послѣдней польской войны. Поэтъ не обращаетъ здѣсь вниманія на вопросъ о существованіи отдѣльнаго племени, и выставляетъ, напротивъ того, вопросъ объ общемъ существованіи славянскихъ народовъ. Здѣсь онъ вопли русскій, пылающій за отечество, воспѣвающій побѣду, требующій покорности, въ исполненіе велѣнія высочайшаго Промысла, для общаго процвѣтанія чести. Вся его ненависть падаетъ на иностранныхъ подстрекателей, которымъ сія распря Славянъ чужда и непонятна, и которыхъ забывчивую надменность онъ снова вызываетъ явиться на снѣжныхъ и ледяныхъ поляхъ, гдѣ уже прежде потерпѣли они

ужаснѣйшую гибель. Поэтъ истинный всегда принадлежитъ отечеству, и если его сограждане сражаются и проливаютъ свою кровь, то онъ долженъ имъ во всякомъ случаѣ желать побѣды и славы. Впрочемъ, образъ желаній можетъ его достаточно обезопасить противъ подозрѣнія, будто онъ отказался отъ общихъ человѣческихъ мыслей и чувствованій. Онъ въ правѣ жертвовать мгновенію, какъ бы оно ни представлялось, всѣмъ, что оно можетъ только принять; все, что мгновение принимаетъ, равно какъ и то, что оно-му неприлично, служитъ для представленія точной истины. Должно сказать объ упомянутыхъ стихотвореніяхъ вообще, что въ поэтическомъ отношеніи они принадлежатъ къ прекраснѣйшимъ, какія только написалъ Пушкинъ. Они несутся въ высокой страсти, пламенномъ выраженіи и величественныхъ, отчасти дикихъ и странныхъ образахъ, и непреодолимо увлекаютъ участіе и склонность.

Если національные гимны могутъ покорить себѣ много сердецъ въ Германіи, то пѣсни Пушкина способны сдѣлать такое завоеваніе въ пользу русскихъ. Третья пѣснь, заключающая сей рядъ, „Пиръ Петра Великаго“, должна всѣ сердца привязать поэту, который говоритъ здѣсь съ высокою какъ отечественною, такъ и человѣколюбивою цѣлью, въ смыслѣ прощенія и примиренія, и для сей цѣли умѣетъ представить трогательную и могущественную картину, въ видѣ быстрой и веселой пѣсни. Нигдѣ благороднѣйшая мысль не соединялась счастливѣе съ высокимъ даромъ музъ: этой одной пѣсни достаточно для доказательства того, что русская поэзія смѣло можетъ явиться рядомъ со всякою другою, на высочайшей ступени.

(Изъ Берлинскихъ *Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik* *).

**) Сочиненія Александра Пушкина. Части 3-я и 4-я. Спб. 1838 г.

Нѣтъ жизни безъ страстей и движенія; нѣтъ народа безъ поэзіи, этого живого языка человѣческой страсти.

*) Несмотря на то, что эта статья переводная, я, по нѣкоторымъ историко-литературнымъ соображеніямъ, не рѣшился пропустить ее. *Примѣч. В. З.*

**) „Библіотека для Чтенія“ 1840 г. Томъ 39.

Каждое внутреннее волненіе ищетъ слова, ищетъ голоса; каждая радость, каждая горе требуютъ участія. Певзія, какъ воздухъ, необходима для жизни. Тайное горе свободнѣе жалуется унылыми пѣснями, которыя такъ легко возбуждаютъ участіе; любовь вольнѣе купается въ звучныхъ волнахъ вдохновеннаго стиха; радость безмолвствуетъ или поетъ, но говорить она не умѣетъ.

Каждый народъ имѣетъ свою певзію. И въ бѣдномъ таборѣ кочующихъ цыганъ и въ пышныхъ столицахъ Европы раздаются заветные звуки любимыхъ пѣсонъ; тамъ безъ хитрыхъ затѣй, въ сердечной простотѣ ихъ складывается смуглый питомецъ степеней, безродное дитя пустыни; здѣсь высказывается въ этихъ пѣснахъ или мятежная страсть или горькое разочарованіе поэта, который на крайней вершинѣ образованности съ ужасомъ видитъ, какъ далеко еще ему до цѣли.

Народъ въ младенчествѣ лепечетъ нестройные звуки. Пѣспи его, какъ самыя понятія, неразвиты, незрѣлы. Это младенецъ, который только еще учится говорить, котораго простая радость, безотчетныя слезы безъ яснаго сознанія сами собою выражаются несвязными, неполными звуками. Въ это время певзія не имѣетъ цѣли, не подчиняется искусству. И всякая первобытная певзія вездѣ одинакова, потому что всѣ народы на первыхъ ступеняхъ жизни, какъ дѣти, похожи другъ на друга, живутъ тѣми же чувствами, руководствуются тѣми же понятіями. Вся первобытная певзія—простая младенческая пѣсня, и эта пѣсня дика, какъ самый народъ, который ее слагаетъ.

Но народъ растетъ; онъ сближается съ другими народами, старшими и болѣе развитыми, знакомится съ ихъ обычаями, подслушиваетъ пѣсни ихъ. И эти новыя пѣсни, эти стройные звуки поражаютъ его; онъ заучиваетъ ихъ на память и подражаетъ имъ. Это второй періодъ певзіи, столько же неизбѣжный, сколько и первый,—періодъ подражанія.

Время идетъ; народъ выросъ, созрѣлъ, окрѣпъ; онъ знаетъ свои силы, понимаетъ свой характеръ, и гордится имъ. Благородное чувство народности проснулось. Все чу-

жое, заимствованное, тѣснить и давить это чувство. Оно ищетъ простора, оно хочетъ говорить своимъ языкомъ. И здѣсь начинается періодъ народной поэзіи, которая съ полнымъ яснымъ сознаніемъ выражаетъ характеръ своей національности самобытными пѣснями.

Наконецъ, въ этомъ возмужаломъ народѣ являются тѣ немногіе гении, которые въ чудныхъ созданіяхъ передаютъ міру свои безсмертныя мысли и выражаютъ въ нихъ судьбы цѣлаго человѣчества. Эти космополиты поэзіи столько же принадлежатъ цѣлому міру, сколько принадлежатъ они тому тѣсному уголку земли, гдѣ родились. Ихъ настоящая родина—земля, ихъ народъ—человѣчество.

Въ наше время русская поэзія дошла до третьяго періода своего развитія, до періода народности. Первую русскую пѣсню задумалъ Державинъ, первую русскую пѣсню пропѣлъ Пушкинъ.

Гений Державина былъ проникнутъ русскимъ духомъ, русское чувство волновало грудь его и говорило его устами. Державинъ былъ первый національный поэтъ Россіи. Одаренный необъятнымъ воображеніемъ, онъ облакалъ мысли свои въ дивныя образы; но онъ говорилъ желѣзнымъ языкомъ и писалъ грубыми жесткими стихами, которые лишены сладкой мелодіи, столь свойственной русскому языку. Пѣть стиховъ его нельзя; но въ этихъ суровыхъ, жесткихъ звукахъ дышитъ гордая сила его самобытнаго русскаго гения.

Пушкинъ, котораго въ глубокой старости привѣтствовалъ Державинъ

. и въ гробъ сходя, благословилъ,

Пушкинъ получилъ отъ умирающаго поэта богатое наслѣдіе, русскую душу и русское сердце Державина. Въ каждомъ стихотвореніи Пушкина, даже тамъ, гдѣ онъ подражалъ еще какому-нибудь постороннему образцу, вы слышите то русскую удалъ, то заунывную русскую пѣсню; и все это облочено въ живые волшебные звуки, какими до него еще никто не пѣлъ на Руси. Пушкинъ не принадле-

жить къ числу тѣхъ міровыхъ гениевъ, которые обнимали въ своихъ твореніяхъ цѣлыя эпохи человѣчества и обозначили собою новый, ими созданный, періодъ литературы; Пушкинъ—не Шекспиръ, не Гёте; но зато онъ полный представитель русскаго духа нашего времени, и никто не оспоритъ у него почетнаго званія одного изъ первыхъ лирическихъ поэтовъ нынѣшней Европы.

Пушкинъ по преимуществу—поэтъ лирическій. Чтобы ни задумалъ онъ, куда бы ни увлекало его вдохновеніе, вездѣ преобладаетъ въ его созданіяхъ это лирическое направленіе. Иначе и быть не могло. Тамъ, гдѣ поэзія какого-нибудь народа впервые выражаетъ собою съ яснымъ сознаниемъ свою національность, тамъ говоритъ она вдохновеннымъ языкомъ Пушкина или торжественными одами Державина. Въ это время для поэзіи нѣтъ другого языка.

Еще только на двухъ поэтахъ вполне отразилась русская національность. Это были Державинъ и Пушкинъ. Гений поэзіи благословилъ обоихъ на вдохновенное служеніе музамъ, и на обоихъ горѣла священная печать его. Национальность поэта опредѣляется не простонароднымъ языкомъ, которымъ иногда подкрашивается мнимая національность, ни даже выборомъ преданій, составляющихъ неотъемлемое достояніе черни. Пушкинъ менѣе націоналенъ въ своихъ народныхъ сказкахъ, нежели въ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ.

Только тотъ можетъ быть національнымъ поэтомъ, кто проникнуть духомъ своего народа, кто чувствуетъ его сердцемъ. Вотъ почему, читая вдохновенныя стихотворенія Пушкина, громче говоритъ русское чувство, сильнѣе бьется русское сердце; вотъ почему вы встрѣчаете въ самыхъ дальнихъ закоулкахъ необъятной Россіи цѣлыя произведенія поэта, переписанныя неопытною рукою, въ старыхъ замаранныхъ тетрадкахъ, и не увидите ни одного человѣка русскаго, который бы не разсказалъ вамъ панзустъ или нѣсколько куплетовъ изъ „Евгенія Онѣгина“, или „Черную шаль“, или „Талисманъ“. У всякаго даже есть какое-нибудь любимое стихотвореніе Пушкина, которое сдѣлалось его до-

стояніемъ и, кажется, принадлежить ему одному, написано для него одного. Стихи Пушкина вошли въ пословицу, его словами рѣшаются иногда цѣлые споры. И въ этомъ общемъ, повсемѣстномъ распространеніи его произведеній, въ этой общей нераздѣльной любви цѣлаго народа заключается лучшее доказательство національности Пушкина.

Но національность высказывается въ поэзіи только самобытными пѣснями; она не терпитъ подражанія, не заимствуетъ чужихъ красокъ, не поетъ на чужой ладъ; ея необходимое условіе—самостоятельность. Она думаетъ своимъ умомъ, чувствуетъ своимъ сердцемъ и говоритъ своимъ языкомъ. Только самобытные поэты могутъ быть представителями національной поэзіи; только Державинъ и Пушкинъ были ими на Руси. Духъ вѣка, въ мрачномъ образѣ Байрона, увлечалъ Пушкина въ первые годы его творческой дѣятельности, и Пушкинъ заплатилъ этому духу высокую дань въ первыхъ созданіяхъ своей молодости. Поэтическая душа его жадно прислушивалась къ суровымъ звукамъ британской музыки, и отзывалась на нихъ вдохновенными пѣснями. Но Пушкинъ не менѣе того поэтъ самостоятельный. Во всей полнотѣ онъ высказался въ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, и въ нихъ заключаются, по нашему мнѣнію, главныя права его на званіе національнаго поэта. Но всѣ эти лирическія стихотворенія принадлежать его самобытному генію; въ нихъ онъ не подражалъ никому, и даже тамъ, гдѣ, повидимому, заимствовалъ содержаніе, вдохновеніе его никогда не подчинялось чужому вліянію; оно всегда говорило своимъ языкомъ, изъ глубины души извлекало тѣ завѣтные звуки, отъ которыхъ такъ весело и такъ легко становится русскому сердцу. Между большими созданіями Пушкина „Кавказскій Пльнникъ“ и „Бахчисарайскій фонтанъ“ болѣе другихъ несутъ на себѣ отпечатокъ того новольнаго вліянія, которое имѣлъ надъ нимъ суровый пѣвецъ Альбіона. Но и тогда уже Пушкинъ освобождался по временамъ отъ этихъ тяжелыхъ оковъ и гордо и свободно запѣвалъ русскимъ голосомъ, какъ въ „Братьяхъ разбойникахъ“, чувствовалъ русскимъ сердцемъ

какъ въ „Цыганахъ“. Но съ „Бориса Годунова“ и „Полтавы“ начинается истинный блистательный періодъ его самобытной творческой дѣятельности. Съ этихъ поръ его уже никогда не увлекало постороннее вліяніе, какъ бы заманчиво оно ни было. Съ этихъ поръ онъ слушался только собственнаго вдохновенія, и писалъ только подъ вліяніемъ самобытнаго генія, который подсказалъ ему столько чудныхъ пѣсень.

Родѣе nascuntur, говорятъ Гораций, — и Пушкинъ родился поэтомъ. Вся его жизнь, со всѣми ея ошибками, его раздражительность, его пылкія страсти и рыцарская честь, все носитъ на себѣ яркій отпечатокъ поэтическаго характера. Куда не увлекали его пылкія страсти и несбыточныя мечты? Съ безпечнымъ легкомысліемъ поэта, онъ вдругъ кидается въ объятія наслажденій, торопится жить, и губитъ время въ омутѣ свѣта, который съ тупымъ удивленіемъ глядитъ на страннаго гостя и забавляется непривычнымъ явленіемъ восторженнаго мечтателя; но вотъ просыпается неподкупный голосъ души, и строгое вдохновеніе, какъ совѣсть, навѣщаетъ поэта; онъ оглядывается, и отъ самаго разгара этой бурной жизни бѣжитъ въ какой-нибудь пустынный уголокъ, раскрываетъ правдивую скрижаль прошлаго времени, плачетъ надъ утраченными часами и съ горькимъ упрекомъ говоритъ самому себѣ:

Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу, я проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

Въ самые юные годы жизни, на школьных скамейкахъ царскосельскаго Лицея, поэзія благословила уже своего избранника, и Пушкинъ тогда уже написалъ свое „Посланіе къ Лидинію“ и „Гробъ Анакреона“; тогда уже задумалъ планъ „Руслана и Людмилы“. Въ этихъ первыхъ незрѣлыхъ опытахъ шестнадцатилѣтняго поэта уже виденъ размахъ его воображенія, и слышатся очаровательные звуки его волшебнаго стиха.

Съ порога царскосельскаго лицея Пушкинъ перешагнулъ въ гостинныя большаго свѣта, который принялъ его съ восхищеніемъ. Здѣсь все подстрекало его самолюбіе, и Пушкинъ уступилъ минутному вліянію суетнаго тщеславія. Изъ пышнаго салона вельможи, гдѣ его привѣтствовала тонкая свѣтская лесть, онъ переходилъ къ шумной разгульной жизни молодыхъ людей, и тамъ, въ непринужденной искренней бесѣдѣ упивался восторженными рукоплесканіями пламенныхъ друзей, которые любили въ немъ его благородную откровенность, его прямую честь. Но и тогда, среди заманчивыхъ обольщеній свѣта, Пушкинъ вырывался на зовъ своего поэтическаго генія и въ тихомъ уединеніи привѣтствовалъ свое возрожденіе:

Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ
На лонѣ счастья и забвенья! и проч.

Но скоро своенравная судьба перебросила Пушкина изъ шумной столицы въ Бессарабію, на другой конецъ Россіи. И поэтъ не жалѣлъ объ этой разлукѣ съ пышнымъ, шумнымъ городомъ, въ которомъ удерживало его на время ослабленное самолюбіе. Онъ не нашелъ удовлетворенія среди этой блистательной толпы, которая давила его вялою прозою жизни и, прощаясь съ нею, онъ съ радостью говорилъ:

Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ дальнимъ,
По грозной прихоти обманчивыхъ морей,
Но только не къ брегамъ печальнымъ
Туманной родины моей,
Страны, гдѣ пламенемъ страстей
Впервые чувства разгорались,
Гдѣ музы нѣжныя мнѣ тайно улыбались,
Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла
Моя потерянная младость,
Гдѣ легкрылая мнѣ измѣнила радость,
И сердце хладное страданью предала.

Съ этихъ поръ начинается новый періодъ его поэтической жизни, ознаменованный чудными пѣснями. Пушкинъ

отдохнулъ и ожилъ на югѣ Россіи. Кочуя по степямъ Бессарабін, онъ присматривался къ пестрому быту безпріютнаго племени, которое изъ вѣка въ вѣкъ бродитъ по землѣ и ищетъ потеряннаго отечества. Тамъ, въ бѣдномъ таборѣ цыганъ, муза приносила ему живые дары свои. На краснорѣчивыхъ развалинахъ Тавриды, на грозныхъ вершинахъ дикаго Кавказа, подъ открытымъ шатромъ спягаго неба, вдохновеніе сильнѣе волновало душу поэта, свободнѣе высказывалось въ смѣлыхъ созданіяхъ разгоряченнаго воображенія. Здѣсь, среди этого поэтического уединенія, душа Пушкина отзывалась на всѣ вопросы современнаго міра, откликнулась на все высокое и благородное. Здѣсь, надъ могилой Овидія, онъ бесѣдовалъ съ забытымъ прахомъ изгнанника-поэта и говорилъ ему:

Какъ ты, враждующей покорствуя судьбѣ,
Не славой, участію я равенъ былъ тебѣ.
Здѣсь, лирой сѣверной пустыни оглашая,
Скитался я въ тѣ дни, какъ на брега Дуная
Великодушный Грокъ свободу вызыналъ;
И ни единый другъ мнѣ въ мірѣ не внималъ;
Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны,
И музы мирныя мнѣ были благосклонны.

Отсюда воображеніе его перелетало къ пустынной гробницѣ Наполеона, надъ которой

Народовъ ненависть почилъ,
И лучъ безсмертія горитъ.

Но и здѣсь, среди мирнаго уединенія, поэтъ, окруженный прелестями новыхъ впечатлѣній, съ ужасомъ встрѣчаетъ неподвижный взглядъ мрачнаго демона, который отравляетъ лучшія мечты его ядомъ сомнѣнія, который съ горькою насмѣшкой попираетъ все, что свято для человѣка, что привязываетъ его къ жизни. Какъ страшна исповѣдь поэта, въ которой онъ описываетъ роковую встрѣчу съ этимъ демономъ:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія —

И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
 И ночью пѣнье соловья —
 Когда возвышенныя чувства,
 Свобода, слава и любовь,
 И вдохновенныя искусства
 Такъ сильно воливали кровь,
 Часы надеждъ и наслажденій
 Тоской внезапно остѣня,—
 Тогда какой-то злобный геній
 Сталъ тайно навѣщать меня.
 Печальны были наши встрѣчи:
 Его улыбка, чудный взглядъ,
 Его язвительныя рѣчи
 Вливали въ душу хладный ядъ.
 Неистощимой клеветою
 Онъ провидѣнье искушалъ;
 Онъ звалъ прекрасное мечтою;
 Онъ вдохновенье презиралъ;
 Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ;
 На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
 И ничего во всей природѣ
 Благословить онъ не хотѣлъ.

Воспоминаніе этой встрѣчи всегда наводило на Пушкина мрачную тѣнь сомнѣнія, всегда смущало его, всегда повторяло страшный однообразный вопросъ: что сдѣлалъ ты, поэтъ? Какую жатву принесъ талантъ, данный тебѣ судьбою? Дай отчетъ въ утраченныхъ силахъ твоего генія, въ праздныхъ часахъ прожитого времени! И демонъ-обвинитель смущалъ поэта, и бѣдный труженикъ уступалъ роковому сомнѣнію, и спрашивалъ съ отчаяніемъ:

Даръ напрасный, даръ случайный,
 Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
 Иль зачѣмъ судьбою тайной
 Ты на казнь обречена?
 Кто меня враждебной властью
 Изъ ничтожества воззвалъ,
 Душу мнѣ наполнилъ страстью,
 Умъ сомнѣніемъ взволновалъ?..
 Цѣли нѣтъ передо мною:
 Сердце пусто, празденъ умъ,
 И томить меня тоскою
 Однозвучный жизни шумъ.

Но и въ эти минуты страшнаго сомнѣнія, другой свѣтлый голосъ, какъ голосъ неба на землѣ, успокаивалъ поэта почти его же словами, указывалъ ему на высокую цѣль земнаго назначенія, и благословлялъ его благословеніемъ вѣры:

Не напрасно, не случайно
Жизнь судьбою мнѣ дана,
Не безъ воли Бога тайной
На тоску обречена.
Самъ я своиравной властью
Зло изъ темныхъ безднъ воззвалъ,
Самъ наполнилъ душу страстью,
Умъ сомнѣньемъ взволновалъ.
Вспомнись мнѣ, забытый мною,
Просіяй сквозь мрачныхъ думъ—
И созиждется Тобою
Сердце чисто, правый умъ.

И съ какою жадностью прислушивался Пушкинъ къ успокоительному голосу дивнаго утѣшителя! Съ какими высокими простодушіемъ, съ какими свѣтлыми смиреніемъ благодарилъ его за эти сладкіе звуки, за отрадныя вѣсти служителя вѣры:

Въ часы забавъ или празднои скуки,
Бывало, лирѣ я моеи
Ввѣрялъ изнѣженные звуки
Безумства, лѣни и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звонъ я прерывалъ,
Когда твой голосъ величавый
Меня внезапно поражалъ.
Я лилъ потоки слезъ нежданныхъ,
И ранамъ совѣсти моеи
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елеи.
И нынѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйныя мечты.
Твоимъ огнемъ душа палима
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,

И внемлетъ арфѣ Серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Въ исходѣ 1824 года Пушкинъ оставилъ свое поэтическое уединеніе на югѣ Россіи, которое принесло столько богатыхъ плодовъ; тамъ написалъ онъ „Кавказскаго плѣнника“ и „Бахчисарайскій фонтанъ“, тамъ, кочуя по степямъ Воссараби, онъ создалъ „Цыганъ“. Въ эти годы Пушкинъ подружился со страной, въ которой для него сосредоточивалось столько поэтическихъ воспоминаній. Онъ полюбилъ и классическую Тавриду, и грозный Кавказъ, и это безграничное море, къ которому относится его унылый прощальный привѣтъ:

Прощай, свободная стихія!
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты катишь волны голубыя
И блещешь гордою красой.

Но два огромныхъ воспоминанія отражаются для поэта въ обширномъ зеркалѣ яснаго моря; въ одномъ воскресаетъ образъ развѣнчаннаго исполина, котораго такъ гордо, такъ благородно воспѣла вдохновенная лира Пушкина въ то время, когда еще проклятiе народовъ тяготѣло надъ именемъ Наполеона, когда еще не зажили раны, нанесенныя его мечомъ, и ослабленное самолюбіе препятствовало безпристрастному приговору надъ свѣжей могилой великаго изгнанника. Въ другомъ воспоминаніи рисуются мрачныя черты того властителя думъ, которому Пушкинъ жертвовалъ столько лѣтъ могущественнымъ развитіемъ самобытнаго генія:

О чемъ жалѣть? Куда бы нишъ
Я путь безпечный устроилъ,
Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ
Мою бы душу поразилъ.
Одна скала, гробница славы...
Тамъ погружались въ хладный сонъ
Воспоминанья величавы:
Тамъ угасалъ Наполеонъ.
Тамъ онъ почилъ среди мученій.
И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
Другой отъ насъ умчался геній,

Другой властитель нашихъ думъ.
 Исчезъ оплаканный свободой,
 Остави міру свой вѣнецъ.
 Шумъ, взволнуйся непогодой:
 Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ.
 Твой образъ былъ на немъ означенъ,
 Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
 Какъ ты, могучъ, глубокъ и мраченъ,
 Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ.
 Міръ опустѣлъ.

Увѣнчанный славой, Пушкинъ возвратился на родину. Его встрѣтили громкія рукоплесканія современниковъ. Но шумный блескъ столицы не увлекъ его, какъ прежде, не обольстилъ приманками своей разсѣянной жизни. Пушкинъ проводилъ большую часть времени въ уединенной деревнѣ. Усердный, благородный трудъ сдѣлался необходимымъ условіемъ его жизни. Благородное сознаніе собственныхъ силъ замѣнило суетное тщеславіе молодости.

Служенье музъ не тернить суеты;
 Прекрасное должно быть величаво:
 Но юность намъ совѣтуетъ лукаво,
 И шумныя насъ радуютъ мечты...
 Опомнися, но поздно! и уныло
 Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ
 Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья!
 Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!

Поэтъ тоскуетъ въ забавахъ міра, чуждается людской
 молвы и, богатый своимъ вдохновеніемъ,

Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
 И звуковъ и смятенья полнъ,
 На берега пустынныхъ волнъ,
 Въ широкошумныя дубровы.

Въ это время Пушкинъ воспѣлъ въ чудной поэмѣ съ полнымъ негодованіемъ благородной души несчастную жертву революціи—*Андрея Шенье*. Въ этомъ высокомъ созданіи высказывается въ полномъ величіи потрясающее вдохновеніе и благородный гнѣвъ поэта. Праведная кара гремитъ въ же-

лѣзныхъ стихахъ, грустное уныніе слышится въ мягкихъ и нѣжныхъ звукахъ.

Отрывокъ изъ Фауста показываетъ, какъ понималъ Пушкинъ безсмертное созданіе германскаго поэта и какъ глубоко онъ былъ проникнутъ его значеніемъ.

Женихъ и Утопленникъ — одѣ изъ первыхъ удачныхъ попытокъ, въ которыхъ Пушкинъ обрабатывалъ русскія народныя преданія. *Утопленникъ* имѣетъ высокое поэтическое значеніе. Какое-то простое величіе заключается въ изображеніи мертвеца, который, качаясь, какъ живой, плыветъ по водѣ. Грубая нога безчувственнаго мужика оттолкнула его отъ берега, и трупъ, лишенный честнаго гроба, снова плыветъ по рѣкѣ. Онъ плыветъ за могилой и крестомъ.

Въ 1829 году Пушкинъ написалъ „Полтаву“, и въ этомъ чудномъ созданіи высказался, наконецъ, съ полнымъ блескомъ его самобытный талантъ. Уже нѣсколько лѣтъ прежде былъ написанъ и „Борисъ Годуновъ“, но поэтъ медлилъ еще его изданіемъ. Въ этомъ же году Пушкинъ еще разъ посѣтилъ южную Россію, еще разъ на снѣжныхъ вершинахъ дикаго Кавказа воспѣлъ его грозное величіе. *Обвалъ, Монастырь на Казбекѣ, Дембашъ* — принадлежать тому же вдохновенію, возбужденному впечатлѣніями мѣстности.

Наконецъ, Пушкинъ возвратился въ Москву, откуда онъ отправился въ свою нижегородскую деревню Болдино. Пребываніе въ этой деревнѣ обогатило литературу многими превосходными произведеніями. Здѣсь написалъ Пушкинъ *Повѣсти Бѣлкина, Моцарта и Сальери, Скупого рыцаря, Пиръ во время чумы, Донъ Жуанъ*. „Моцартъ и Сальери“ глубокое созданіе зрѣлаго генія. Въ немъ яркими красками выставлена прозаическая посредственность, которая завидуетъ творческой силѣ свободнаго генія и съ отчаяніемъ подноситъ ему ядовитую чашу, оправдывая себя страшной логикой ослѣпленнаго, обиженаго самолюбія:

Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ

И новой высоты еще достигнетъ?

Подыметъ ли онъ тѣмъ искусство? Нѣтъ;

Оно падеть опять, какъ онъ исчезнетъ:
Наслѣдника намъ не оставитъ онъ.
Что пользы въ немъ? Какъ нѣкій херуимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желаніе
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть?
Такъ улетай же, чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Бывали минуты и въ жизни Пушкина, когда зависть жалкой бездарности смущала его своимъ оскорбительнымъ крикомъ. Тогда гордое сознаніе собственной силы успокоивало взволнованнаго поэта, и онъ, пренебрегая крикомъ толпы, съ благороднымъ величіемъ говорилъ самому себѣ:

Поэтъ! не дорожи любовію народной.
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ;
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной:
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ, и проч.

Въ 1831 году Пушкинъ женился. Всѣ его желанія исполнились, онъ былъ счастливъ, веселъ, сложивъ лавровый вѣнокъ къ ногамъ любимой женщины. Съ какимъ трогательнымъ умиленіемъ благодарилъ онъ тогда неизвѣстнаго поэта, который поздравилъ его простымъ, но искреннимъ привѣтомъ въ эти счастливые дни:

О кто бы ни былъ ты, чье ласковое пѣнье
Привѣтствуетъ мое къ блаженству возрожденіе,
Чья скрытая рука мнѣ крѣпко руку жметъ,
Указываетъ путь и посохъ подаетъ;
О, кто бы ни былъ ты: старикъ ли вдохновенный,
Иль юности моей товарищъ отдаленный,
Иль отрокъ, музами таинственно хранимъ,
Иль пола кроткаго стыдливый херувимъ,
Благодарю тебя душою умиленной..
Вниманья слабаго предметъ уединенный,
Къ доброжелательству досель я не привыкъ—
И страненъ мнѣ его привѣтливый языкъ...

.....

Лѣтомъ Пушкинъ переехалъ въ Царское Село. Въ это время его занимали простонародныя русскія сказки; онъ написалъ ихъ нѣсколько; между ними отличается *Царь Салтанъ* своимъ простодушнымъ разсказомъ; но эти по-

пытки, кажется, не совсѣмъ соотвѣтствовали истинному назначенію Пушкина. Есть различіе между національнымъ поэтомъ и поэтомъ престопадомъ. Это различіе самъ Пушкинъ обозначилъ въ то же время своимъ благороднымъ, истинно національнымъ стихотвореніемъ: „Клеветникамъ Россіи“... (Слѣдуетъ стихотвореніе).

„Здѣсь каждое слово поситъ на себѣ отпечатокъ національности. Все стихотвореніе вырвано изъ русской души и проникнуто духомъ народнаго характера.“

Въ послѣдніе годы своей поэтической жизни Пушкинъ издалъ четвертый томъ мелкихъ стихотвореній, въ которомъ заключаются его баллады, сказки и пѣсни западныхъ Славянъ. Въ то же время онъ собиралъ матеріалы для исторіи Петра Великаго и написалъ исторію Пугачевского бунта. Въ эти годы творческая дѣятельность поэта дошла до крайней степени своего развитія, и онъ готовилъ литературѣ лучшія созданія зрѣлаго генія. Россія съ гордыми ожиданіями смотрѣла на своего любимаго поэта и съ нетерпѣніемъ ждала новыхъ пѣсенъ его.

Но воля судьбы неисповѣдима, и расчеты человѣческіе безмолвствуютъ передъ неизмѣнными законами Провидѣнія. Во цвѣтъ лѣтъ, на крайней поршнѣ своего блистательнаго поприща, среди полнаго развитія своихъ высокихъ силъ, поэтъ встрѣтилъ неоствратимый приговоръ судьбы. Урочный часъ наступилъ; смерть приняла поэта въ свои холодныя объятія.

Но Пушкинъ встрѣтилъ свою блѣдную невѣсту не безъ приготовленія. Онъ давно уже подружился съ мыслию о смерти, давно уже говорилъ:

Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ,
Вхожу ль во многолюдный храмъ,
Сижу ль межъ юношей безумныхъ,
Я предаюсь моимъ мечтамъ.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здѣсь ни видно насъ,
Мы всѣ сойдемъ подъ вѣчны своды—
И чей-нибудь ужъ близокъ часъ.
Гляжу ль на дубъ уединенный,

Я мыслю: патріархъ лѣсовъ
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебѣ я мѣсто уступаю:
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти.
День каждый, каждую годину
Привыкъ я душой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.
И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбина?
Въ бою ли, въ страстнѣи, въ волнахъ?
Или сосѣдняя долина
Мой приметъ охладѣлый прахъ?
И хотъ безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предѣлу
Мнѣ все бѣ хотѣлось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Съ невольнымъ уныніемъ читаешь эти строки; въ нихъ высказывается тайное предчувствіе поэта, уже готоваго уступить свое мѣсто новому поколѣнію.

Пушкинъ мало дорожилъ жизнію:

Ея ничтожность разумѣю,
И мало къ ней привязанъ я.

Но онъ хотѣлъ оставить по себѣ добрый слѣдъ и добрую память...

Безъ непримѣтнаго слѣда
Мнѣ было бѣ грустно міръ оставить.
Живу, пишу—не для похвалъ,
Но я бы, кажется, желалъ
Печальный жребій мой прославить;
Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,
Напомнилъ хотъ единый звукъ.

Но въ то же время его смущало равнодушіе суетной

черни. Онъ зналъ, какъ скоро легкомысленная толпа забываетъ увѣнчанное имя; какъ легко поклоняется новому кумиру—

Что въ имени тебѣ моемъ?
 Оно умретъ, какъ шумъ печальный
 Волны, плеснувшей въ берегъ дальній,
 Какъ звукъ ночной въ лѣсу глухомъ.
 Оно на памятномъ листкѣ
 Оставить мертвый слѣдъ, подобный
 Узору надписи надгробной
 На непонятномъ языкѣ.
 Что въ немъ? Забытое давно
 Въ волненьяхъ новыхъ и мятежныхъ,
 Твоей душѣ не дастъ оно
 Воспоминаній чистыхъ, нѣжныхъ.
 Но въ день печали, въ тишинѣ,
 Произнеси его, тоскуя,
 Скажи: есть память обо мнѣ,
 Есть въ мірѣ сердце, гдѣ живу я.

Это горькое уныніе, это желаніе жизни и равнодушіе къ смерти высказалось страшными словами въ одномъ изъ предсмертныхъ стихотвореній Пушкина: „Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье“. Вотъ послѣдняя исповѣдь поэта, его трогательное признаніе на самомъ порогѣ жизни. Трудъ и горе ждетъ его впереди; безумное веселіе молодости прошло; но поэтъ еще хочетъ жить, хочетъ мыслить и страдать. Тихая надежда смягчаетъ его уныніе; быть можетъ, онъ еще разъ обольется слезами надъ сладостнымъ вымысломъ, и любовь прощальною улыбкой озаритъ его печальный закатъ.

Но не сбылись надежды поэта. Не трудъ и горе сулило ему грядущее; тѣсная могила ждала новаго гостя, и успокоили бѣднаго труженика въ своей тихой обители. Не стало Пушкина на Руси; мѣсто его упразднилось; но имя его памятно русскимъ людямъ, и онъ въ своихъ созданіяхъ по-прежнему живетъ между нами.

Враги и ложные обожатели называли Пушкина подражателемъ. Завидуя славному имени, они хотѣли унижить этимъ названіемъ высокое значеніе поэта. Они пожимали плечами,

хваля его чудныя произведенія, и въ скобкахъ прибавлялъ, что въ этихъ произведеніяхъ нѣтъ той самостоятельной творческой силы, которая одна составляетъ необходимое условіе великаго поэта! Но удалось ли этимъ крикунамъ ослабить мелочнымъ подозрѣніемъ благородную любовь Россіи къ ея благородному поэту? Кто на слово повѣрилъ этому незаконному ареонагу? Кто вслѣдъ за нимъ видѣлъ въ Пушкинѣ одного только подражателя? Кажется, на этотъ разъ общее, независимое мнѣніе не подчинилось строгому приговору литературныхъ крикуновъ.

Мы старались опредѣлить значеніе Пушкина, какъ лирическаго поэта, и не нашли даже слѣда подражанія въ его самобытныхъ вдохновеніяхъ. Главная характеристическая черта этихъ лирическихъ произведеній — тихое, грустное уныніе; но въ этомъ уныніи не услышишь страшнаго голоса отчаянія, не встрѣтишь мрачнаго проклятія, которымъ Байронъ клеймилъ свои вдохновенія. Нѣтъ, тихое уныніе Пушкина не разорветъ души, не измучитъ сердца; и въ самыхъ горькихъ жалобахъ его дышитъ надежда, живетъ упованіе. И грусть мила, и плакать легко подъ эти чудныя пѣсни.

Но Пушкинъ—дитя своего столѣтія, а еще ближе, сынъ, прямой и благородный сынъ своего отечества. И, можетъ быть, на этомъ упираются его строгіе обвинители: можетъ быть, онъ потому подражатель, что выражаетъ собою духъ вѣка, духъ своего народа? На зарѣ девятнадцатаго столѣтія Байронъ грознымъ метеоромъ пролетѣлъ надъ Европой и оглушилъ ее горькимъ воплемъ отчаянія. На этотъ крикъ отозвались сердца, потому что онъ былъ въ духъ времени. Въ первые годы Пушкина увлекло неодолимое вліяніе генія, который былъ такъ сроденъ и близокъ ему. Но и въ этотъ первый періодъ, когда Пушкинъ заимствовалъ внѣшнія формы у Байрона и подражалъ ему, если хотите, на каждой страницѣ выказывается самобытное вдохновеніе нашего поэта. Пушкинъ подражалъ Байрону; но онъ не остался его подражателемъ; онъ пошелъ своимъ путемъ, и этотъ путь былъ широкъ и прекрасенъ; но немъ, на полномъ

просторѣ, летало могущественное воображеніе поэта. Гёте написалъ „Германа и Доротею“ въ то время, когда „Луиза“ Фосса уже была написана; но Фоссу и въ голову не приходило называть Гёте своимъ подражателемъ.

Чтобы опредѣлить самобытность Пушкина въ большихъ его произведеніяхъ, вспомнимъ сначала, что было до него въ нашей поэтической литературѣ. Кого читали, на комъ останавливалось вниманіе публики? Отъ кого съ нетерпѣніемъ ждали и требовали новыхъ пѣсенъ? И вотъ передъ нами длинной вереницей тянутся наши классическія эпопеи, наши Россіады, эти ледяныя созданія холодныхъ умовъ, писанныя тяжелыми, холодными стихами. Они не могли возбудить живого народнаго участія, потому что въ нихъ ничего не было народнаго. Да ихъ и не читали, или читали потому только, чтобы похвастать терпѣніемъ. Разумѣется, я здѣсь говорю только о *большихъ* произведеніяхъ нашей поэзіи, не о стихахъ и переводахъ Жуковского, не о басняхъ Крылова. Ихъ всегда читали безъ принужденія, да и будутъ читать, пока искра поэзіи не погаснетъ между нами.

Но кто приучилъ и приохотилъ Россію къ поэзіи? Кто заставилъ ее читать и перечитывать свои стихотворныя произведенія безъ предварительныхъ справокъ о толщинѣ книги и о числѣ страницъ? Кого полюбила она, какъ *своего* поэта? За кѣмъ слѣдила она какъ любящая мать, съ напряженнымъ вниманіемъ, отъ перваго начала его поэтическаго поприща до самого конца его бурной жизни? И на всѣ вопросы намъ отвѣчаетъ одно громкое имя, и это имя принадлежитъ—Пушкину.

Пушкинъ вполнѣ самобытенъ въ зрѣлыхъ своихъ созданіяхъ; онъ увлекался въ первые годы постороннимъ влияніемъ; но и тогда уже мы видѣли въ его произведеніяхъ задатокъ будущихъ плодовъ; и тогда уже онъ занималъ только рамы для своихъ собственныхъ картинъ. Пушкинъ всегда думалъ и чувствовалъ, какъ думаетъ и чувствуетъ его народъ. И въ этомъ согласіи заключается сила поэта и главная причина его національности. Это сочувствіе—таинственная связь между народомъ и его поэтомъ.

Пушкинъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ гениевъ, которые порождаются тысячекратными для того, чтобы открыть какую-нибудь новую сторону въ жизни человѣчества; Пушкинъ не проложилъ новаго пути въ поэзіи міра; но онъ былъ полнымъ самостоятельнымъ поэтомъ, имя котораго переживетъ столѣтія; онъ не заимствовалъ своихъ вдохновеній; онъ бралъ ихъ изъ глубины своей души; создалъ для нихъ языкъ, творилъ собственною силою и облакалъ свои созданія въ общія, принятые формы поэзіи. Онъ дѣлалъ то же, что дѣлалъ и Шиллеръ; а Шиллера, кажется, еще не называли подражателемъ.

Пушкинъ дебютировалъ *Русланомъ и Людмилой*; ему еще не было двадцати лѣтъ, когда онъ написалъ свою первую поэму. Думалъ ли онъ объ Аріостѣ или о Виландѣ, создавая эту повѣсть, основанную на народномъ преданіи,—до этого намъ дѣла нѣтъ. И кто же будетъ требовать совершенной самостоятельности отъ двадцатилѣтняго поэта? Онъ долженъ былъ имѣть передъ собою какой-нибудь образецъ. Пушкинъ напечаталъ „Руслана и Людмилу“. Его поэму раскупили и прочли съ жадностью. Этотъ языкъ, эти чудные стихи возбудили общее удивленіе въ публикѣ, которую до этого времени терзали тяжелые александрійскіе стихи тяжелой русской эпопеи. И этимъ новымъ, свѣжимъ, блистательнымъ стихомъ подарилъ Россію двадцатилѣтній юноша, выступая на скользкое поприще литературы. Поэму Пушкина прочли съ удовольствіемъ, безъ той неотвратимой скуки, которая до этого времени была неразлучною спутницею всякой эпопеи, всякаго стихотворнаго произведенія въ нѣсколькихъ пѣсняхъ. Въ „Русланѣ и Людмилѣ“, кромѣ преданія, нѣтъ еще ничего народнаго. И не мудрено. Въ это время Пушкинъ еще не зналъ людей; а еще менѣе зналъ Россію. Ему было двадцать лѣтъ; онъ писалъ еще на скамейкахъ царскосельскаго лицея. Еще онъ не былъ проникнутъ духомъ своего народа, еще не ознакомился съ нимъ въ бурныхъ опытахъ жизни. Онъ въ то время писалъ о людяхъ, не зная людей, создавалъ характеры по какимъ-нибудь идеаламъ своего воображенія, и списывалъ картины

съ воображаемой жизни, не имѣя понятія о дѣйствительной. Вспомнимъ только Шиллера, который въ такіе же годы и при подобныхъ обстоятельствахъ написалъ своихъ *Разбойниковъ*. Въ этой драмѣ всѣ увидѣли признаки гениальнаго поэта, но никто не узналъ въ ней дѣйствительныхъ людей. Пушкинъ впоследствии присоединилъ къ „Руслану и Людмилѣ“ небольшое вступленіе, въ которомъ заключается прекрасное изображеніе русскаго сказочнаго быта:

У лукоморья дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ, и т. д.

На Кавказѣ, среди попой дикой природы, которая поражала поэта своимъ грознымъ величіемъ, Пушкинъ, уже болѣе испытанный жизнью, написалъ своего *Кавказскаго плѣнника*. И въ этой поэмѣ онъ заплатилъ первую дань мрачному гению Байрона. Темный колоритъ, которымъ покрыта эта прекрасная картина, напоминаетъ британскаго поэта. Но только этотъ мрачный колоритъ и занять у Байрона; все остальное принадлежитъ Пушкину. Прекрасное описаніе природы, живое изображеніе нравовъ, пламенная страсть и глубокое чувство, которыми проникнуто цѣлое созданіе, все это—неотъемлемая собственность нашего поэта, все это принадлежитъ его самобытному вдохновенію. Сколько души въ словахъ Черкешенки! Сколько прямого, неподдѣльнаго чувства въ разговорахъ ея съ русскимъ плѣнникомъ!..“

(Далѣе приводенъ отрывокъ изъ поэмы: „Ты ихъ узнала, дѣва горъ“, кончая словами: „Не смѣйся горестямъ моимъ“).

„Глубокія впечатлѣнія жизни оставили свои слѣды на душѣ поэта; темная судьба его отразилась на страницахъ *Кавказскаго плѣнника*. Вотъ откуда, независимо отъ вліянія Байрона, происходитъ то горькое разочарованіе, которое высказывается въ этой поэмѣ. Какъ лирическій поэтъ и какъ молодой человѣкъ, Пушкинъ любилъ выражать себя въ своихъ созданіяхъ, и поэтому почти всѣ его сочиненія имѣютъ большее или меньшее отношеніе къ его собственной жизни. „Кавказскій плѣнникъ“ былъ принятъ съ неслыханнымъ восторгомъ; изданіе быстро слѣдовало за изда-

ніемъ; его читали, заучивали на память, и списывали во всѣхъ закоулкахъ Россіи. Пушкинъ самъ написалъ лучшую критику на свое произведеніе. Въ зрѣлые годы своей жизни, при вторичномъ посѣщеніи Кавказа, онъ нашелъ въ Ларсѣ измаранный списокъ „Кавказскаго плѣнника“, и вотъ какъ онъ отзывался о немъ: „Въ Ларсѣ нашелъ я измаранный списокъ „Кавказскаго плѣнника“, и, признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено вѣрно“.

Крымъ и его восхитительная природа подарили Пушкина новымъ вдохновеніемъ, и плодомъ этого вдохновенія былъ *Бахчисарайскій фонтанъ*. Вліяніе Байрона отразилось и на этомъ произведеніи; но здѣсь Пушкинъ заимствовалъ однѣ только внѣшнія формы; въ этомъ отношеніи начало поэмы живо напоминаетъ „Абидосскую неvěсту“. Съ другой стороны, *Бахчисарайскій фонтанъ* еще болѣе самостоятеленъ, нежели *Кавказскій плѣнникъ*. Въ первомъ видна уже цѣлая поэтическая картина, соображенная вдохновеннымъ умомъ и написанная смѣлою рукою мастера. Плавный и звучный стихъ исполненъ обворожительной музыки. Описанія природы дышатъ прелестью юга. Вспомнимъ только изображеніе южной ночи:

Настала ночь; покрылись тѣнью
Тавриды сладостной поля;
Вдали, подъ тихой лавровъ сѣнью,
Я слышу шѣнье соловья;
За хоромъ звѣздъ луна восходитъ;
Она съ безоблачныхъ небесъ
На доли, на холмы, на лѣсъ
Сіянье томное наводитъ.
Покрываютъ бѣлой пеленой,
Какъ тѣни легкія мелькая,
По улицамъ Бахчисарая,
Изъ дома въ домъ, одна къ другой,
Простыхъ татаръ спѣшать супруги
Дѣлать вечерніе досуги.
Дворецъ утихъ; уснулъ гаремъ,
Объятый нѣгой безмятежной;
Не прерывается ничѣмъ
Спокойство ночи... и проч.

Въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ есть уже характеры, полныя правды и жизни, вѣрныя и обдуманныя фizioноміи; есть страсти, вырванныя изъ души человѣческой. Какъ нѣжна, кроткая, чистая Марія! Съ какимъ искусствомъ Пушкинъ, какъ истинный художникъ, поставилъ возлѣ нея дикій характеръ Заремы! И какъ хороша эта Зарема и ея рассказъ о прежнемъ своемъ младенствѣ:

Родилась я не здѣсь, далеко,
Далеко... но минувшихъ дней
Предметы въ памяти моей
Донынѣ врѣзаны глубоко.

(Выписка кончается словами: „Я близъ Кавказа рождена“).

Братья-Разбойники носятъ на себѣ отпечатокъ того національнаго направленія, которое составляетъ характеръ Пушкина. Въ этой чудной картинѣ дикая русская удалъ схвачена мѣткими чертами. Это беззаботное молодечество вырвано изъ жизни. Тутъ нѣтъ ничего заимствованнаго или все заимствовано у самой жизни. Какъ ужасно грубое раскаяніе разбойника:

Окаменѣлъ мой духъ жестокой
И въ сердцѣ жалость умерла.
Но иногда щажу морщины;
Мнѣ страшно рѣзать старика;
На беззащитныя сѣдины
Не подымается рука.
Я помню, какъ въ тюрьмѣ жестокой
Больной, въ цѣпахъ, лишенный силъ,
Безъ памяти, въ тоскѣ глубокой,
За старца братъ меня молилъ.

Какъ хорошо живописное вступленіе къ этой дикой картинѣ! Какъ мастерски и сжато выставилъ поэтъ въ немногихъ словахъ цѣлый рядъ людей, соединенныхъ между собою страшными узами грѣха! Въ двухъ-трехъ словахъ опредѣленъ характеръ этихъ людей, обозначена ихъ дикая фizioномія.

Въ *Цыганахъ* видна глубокая поэтическая идея великаго художника. Эта поэма занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между произведеніями Пушкина. На ней отразилось пла-

менное вдохновеніе поэта-художника. Глубокія страсти, живое дѣйствіе и драматическій характеръ отличаютъ это превосходное созданіе. Языкъ очарователенъ своею простотою. Ни у кого на Руси не было такого стиха; никто не умѣлъ говорить такъ просто и такъ хорошо. Въ „Цыганахъ“ нѣтъ ни одного лишняго слова. И каждое слово на своемъ мѣстѣ, каждому дано его точное значеніе. Точность выраженія вообще отличаетъ языкъ Пушкина, и составляетъ одно изъ первыхъ достоинствъ этого языка“... (Слѣдуетъ пересказъ содержанія „Цыганъ“ и выписки: „Царемъ когда-то сосланъ былъ“ и „Старый мужъ, грозный мужъ“).

Звучные стихи Пушкина достигли въ „Цыганахъ“ высшей степени развитія. Они исполнены невыразимой мелодіи; отъ нихъ дышитъ и вѣетъ какой-то обворожительной музыкой. Вспомните только эти стихи:

Птичка Божія не знаетъ
Ни заботы ни труда, и проч.

или слова старика:

Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ
Гуляетъ вольная луна;
На всю природу мимоходомъ
Равно сіянье льетъ она.
Заглянуть въ облако любое,
Его такъ пышно озарить,
И вотъ, ужъ перешла въ другое
И то недолго посѣтить.
Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ,
Примолви: тамъ остановись!
Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:
Люби одно, не измѣнись?

Съ *Полтавы* начинается лучшій періодъ въ поэтической дѣятельности Пушкина. Здѣсь онъ является полнымъ національнымъ поэтомъ, зрѣлымъ художникомъ, самостоятельнымъ творцомъ и великимъ представителемъ русской поэзіи. Содержаніе поэмы взято изъ безсмертной эпохи нашей исторіи, изъ эпохи Петра. На русской землѣ дѣйствуютъ русскія лица, являются русскіе характеры—и какія лица, какіе характеры! Петръ Великій, Мазепа, Кочубей; а возлѣ

нихъ этотъ рыцарь въ порфирѣ, этотъ витязь-король, Карлъ XII! Задача огромная для поэта, и только Пушкину можно было рѣшить эту задачу удовлетворительно. Съ какимъ искусствомъ выставилъ онъ хитраго Мазену; какъ лукавъ этотъ старый гетманъ; съ какою коварною цѣлью скрываетъ онъ, подъ видомъ смиренника, тайный, давнишній замыселъ; съ какимъ удовольствіемъ возбуждаетъ этимъ мнимымъ смиреніемъ грозный ропотъ негодованія между казаками, какъ умно прикидывается онъ больнымъ и дряхлымъ старикомъ“... (Слѣдуетъ выписка: „Но старость ходить осторожно“ до словъ: „Елей таинственный течетъ“). „И что же двигаетъ желѣзною душою хитраго Мазены? Гдѣ тайная пружина его притворнаго смиренія? Его кумиръ — властолюбіе; его дерзскій замыселъ — мщеніе Великому Петру.

Русскому царю

Со мной мириться невозможно.
 Давно рѣшилась непреложно
 Моя судьба. Давно горю
 Стѣсненной злобой. Подъ Азовымъ
 Однажды я съ царемъ суровымъ
 Во ставкѣ ночью пировалъ:
 Полны виномъ кипѣли чаши,
 Кипѣли съ ними рѣчи наши.
 Я слово смѣлое сказалъ.
 Смутились гости молодые —
 Царь, вспыхнувъ, чашу уронилъ,
 И за усы мои сѣдые
 Меня съ угрозой ухватилъ.
 Тогда, смирясь въ безсильномъ гнѣвѣ,
 Отмстить себя я клятву далъ;
 Носилъ ее — какъ мать во чревѣ
 Младенца носить. Срокъ насталъ.
 Такъ, обо мнѣ воспоминанье
 Хранить онъ будетъ до конца.
 Петру я посланъ въ наказанье;
 Я тернъ въ листахъ его вѣнца.
 Онъ далъ бы грады родовые
 И жизни лучшіе часы,
 Чтобъ снова, какъ во дни былые,
 Держать Мазену за усы.

Характеръ Маріи очерченъ искусною рукой. Ея пламенная, мечтательная страсть, ея безпредѣльная любовь къ Мазепѣ, страшное отчаяніе при смерти отца и дикое сумасшествіе,—все это носитъ на себѣ яркую печать высокой поэтической истины. Благородный Кочубей, обиженный измѣнникомъ, со своими тайными замыслами грознаго мщенія, и его жена, которая торопитъ супруга къ исполненію этихъ замысловъ, обрисованы вѣрными красками. Какъ хороша эта старая женщина, которая, какъ злобный демонъ, будитъ мужа во время сна и напоминаетъ ему о безчестіи дочери:

И гнѣва женскаго полна,
 Петерпѣливая жена
 Супруга злобнаго торопить.
 Въ тиши ночной, на ложѣ сна,
 Какъ нѣкій духъ, ему она
 О мщеньи шепчетъ, укоряетъ,
 И слезы льетъ и ободряетъ,
 И клятвы требуетъ—и ей
 Клянется мрачный Кочубей.

Кочубей накопилъ страшный доносъ на стараго гетмана; онъ отыскалъ вѣрнаго, надежнаго гонца, который любилъ когда-то несчастную Марію и теперь, пылая мщеніемъ къ страшному сопернику, ѣдетъ съ доносомъ къ царю:

Кто при звѣздахъ и при лунѣ
 Такъ поздно ѣдетъ на конѣ? и проч.

И вотъ Кочубей въ темницѣ, въ цѣпяхъ, преступникъ, приговоренный къ смерти. Передъ нимъ неумолимый Орликъ, свирѣпый другъ Мазепы, страшное орудіе его желѣзной воли. Орликъ стоитъ передъ несчастнымъ старикомъ, онъ возмущаетъ своимъ присутствіемъ его послѣдніе часы, требуетъ отъ него признанія, куда онъ скрылъ свои сокровища. Отвѣтъ Кочубея исполненъ благородной гордости.

Такъ; не ошиблись вы: три клада
 Въ сей жизни были мнѣ отрада.
 И первый кладъ мой честь была,
 Кладъ этотъ пытка отняла;

Другой былъ кладъ невозвратимый,
 Честь дочери моей любимой,
 Я день и ночь надъ нимъ дрожалъ;
 Мазепа этотъ кладъ укралъ.
 Но сохранялъ я кладъ послѣдній,
 Мой третій кладъ: святая мѣсть
 Ею готовлюсь Богу снѣсть.

„Полтава“ такъ богата поэтическими красотою, такъ проникнута русскимъ духомъ, что она по справедливости занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между лучшими памятниками нашей литературы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ это произведеніе отличается совершенно драматическимъ характеромъ въ высшемъ значеніи слова.

Драматическое направленіе поэта высказалось, наконецъ, въ *Борисъ Годуновъ*. По нашему мнѣнію, это лучшее произведеніе Пушкина. Онъ создалъ намъ русскую историческую драму. Не ограничивался тѣсными условіями классическихъ единствъ, Пушкинъ слѣдовалъ примѣру Шекспира или Гёте. По внѣшнему созданію, *Борисъ Годуновъ* сходенъ съ *Гёцомъ фонъ-Берлихингенъ* и съ историческими драмами Шекспира. Распредѣленіе сценъ и расположеніе всего содержанія доказываетъ глубокое драматическое соображеніе Пушкина. Ходъ дѣйствія развитъ искусною рукою. Характеры, вполнѣ драматическіе, обозначаются при самомъ первомъ появленіи, и нигдѣ себѣ не измѣняютъ. Языкъ, какъ и вездѣ, удивителенъ. Всѣ положенія исполнены драматической занимательности. Мы говорили уже, что Пушкинъ въ первыхъ своихъ сочиненіяхъ болѣе или менѣе выражаетъ самого себя. Это свойство, почти общее всѣмъ лирическимъ поэтамъ, вредитъ драматическому писателю, который долженъ забывать самого себя, на все смотрѣть глазами дѣйствующихъ лицъ и входить во всѣ ихъ положенія. Чѣмъ болѣе онъ отстранитъ себя, свой взглядъ на предметы, свое мнѣніе, чѣмъ болѣе онъ войдетъ въ положенія дѣйствующихъ лицъ, чѣмъ болѣе согласится съ ихъ временемъ и обстоятельствами, тѣмъ вѣрнѣе, тѣмъ истиннѣе будутъ его характеры.

Вотъ въ чемъ заключается великая тайна Шекспира и

Гёте, которые при своей необыкновенной наблюдательности до такой степени вникали въ эпоху и характеры, до того сживались со своими дѣйствующими лицами, что всё ихъ произведеніе исполнено той неподдѣльной, высокой правды дѣйствительной жизни, дѣйствительныхъ характеровъ, которая отличаетъ ихъ безсмертными созданіями. Шиллеръ никогда не достигалъ до этой степени; онъ никогда не умѣлъ совершенно отдѣлить самого себя отъ характера своихъ дѣйствующихъ лицъ. Вездѣ проглядываетъ хоть мелькомъ его собственное чувство, его собственное мнѣніе; во всѣхъ его драмахъ является какой-нибудь маркизь Поза, который говорить именемъ и устами сочинителя. Оттого всё его характеры не столько принадлежать дѣйствительной жизни, сколько тому идеальному міру, въ которомъ жилъ самъ поэтъ. Пушкинъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ умѣлъ отдѣлить самого себя отъ характеровъ своей драмы; онъ проникъ въ эпоху, вошелъ въ положенія и характеры своихъ дѣйствующихъ лицъ, и они ожили подъ перомъ его своей дѣйствительной жизнью.

„Борисъ Годуновъ“ занимаетъ высокое мѣсто, какъ художественное произведеніе; но онъ для насъ еще драгоценнѣе, какъ національная драма, въ которой живетъ и дѣйствуетъ русскій народъ, въ которой развертываются русскіе характеры. Одно изъ любопытнѣйшихъ событій нашей исторіи служить ей содержаніемъ. Эта смутная, тревожная эпоха ожидала поэта и, наконецъ, нашла его въ Пушкинѣ. Онъ оживилъ ее своимъ поэтическимъ дыханіемъ, воскресилъ далекое время—и подъ перомъ его ожилъ Борисъ Годуновъ со своимъ ужаснымъ преступленіемъ, со своей жолѣзной гордой волей, ожилъ и ловкій Самозванецъ со своими хитрыми интригами, со своимъ гибкимъ умомъ. Русскіе и поляки, дворъ и народъ, царь и патріархъ,—все облеклось въ живые дѣйствительные образы, все заговорило, все закипѣло страстями. Это цѣлый рядъ блистательныхъ сценъ, цѣлый рядъ поэтическихъ картинъ.

Вотъ сцена въ Чудовомъ монастырѣ. Въ полночь старый монахъ ведетъ безстрастную лѣтницу своего времени; а

возлѣ этого стараго, безстрастнаго отшельника, возлѣ отца Пимена, тревожнымъ сномъ спитъ молодой послушникъ Григорій!.. Какая яркая противоположность между этими двумя характерами: одинъ на старости лѣтъ, чуждый волненія свѣта, ведетъ правдивую лѣтотпись, безъ страстей и безъ пристрастія. Ничто не нарушить равнодушія старика, ни: одна черта лица не измѣнитъ ему:

Ни на челѣ его высокомъ ни во взорахъ
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;
Все тотъ же видъ смиренный, величавый.
Такъ точно дьякъ, въ приказѣ постѣдѣлый,
Спокойно зрить на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости ни гнѣва.

Другой—молодѣ, на разсвѣтѣ жизни, полный страстей и честолюбія. Для него тѣсный уголъ отшельника несносенъ, какъ темница. Ему нуженъ просторъ, нужна воля. И этотъ самый старикъ своимъ безстрастнымъ рассказомъ возбуждаетъ въ душѣ его коварныя мечты честолюбія, которые зрѣютъ быстро и невидимо.

Какими искусными чертами обрисованы характеръ и положеніе Бориса съ той точки, съ которой на него смотрѣлъ поэтъ! Какими сильными красками изобразилъ онъ смутное состояніе его души!“... (Слѣдуетъ монологъ Бориса: „Достигъ я высшей власти“).

Сцена въ корчмѣ на литовской границѣ писана рукою мастера. Въ ней характеры живы до неимовѣрности. Это одна изъ тѣхъ оригинальныхъ картинъ, которымъ мы столько удивляемся въ Шекспирѣ.

Сцена въ саду, въ которой Самозванецъ открываетъ Маринѣ свою любовь, исполнена высокой поэтической красоты; она дышитъ огнемъ глубокой страсти; она взята изъ глубины человѣческой души; это такая картина, какихъ вы немного наберете въ любой драмѣ любого поэта. Какъ хорошъ этотъ Самозванецъ, гордый и сильный своимъ честолюбіемъ!

Вотъ литовская граница; Самозванецъ войной идетъ на

Русь; съ нимъ сынъ изгнанника Курбскаго, котораго ослѣ-
пило ния убитаго Дмитрія, который повѣрилъ этому имени,
и съ радостію пошелъ за нимъ на святую землю милаго
отечества:

Вотъ, вотъ она, вотъ русская граница!
Святая Русь! Отечество! я твой!
Чужбинны прахъ съ презрѣньемъ отряхну
Съ моихъ одеждъ, пью жадно воздухъ новый:
Онъ мнѣ родной! теперь твоя душа,
О мой отецъ, утѣшилась, и въ гробъ
Опальнымъ возрадуются кости!
Блеснулъ опять наслѣдственный нашъ мечъ,
Сей славный мечъ—гроза Казани темной,
Сей добрый мечъ—слуга царей московскихъ!
Въ своемъ пиру теперь онъ загуляетъ
За своего надежу-государя!...

Сцена въ царской думѣ, на площади передъ соборомъ
въ Москвѣ и, наконецъ, эпилогъ передъ домомъ Бориса—
все это доказываетъ высокое драматическое дарованіе Пуш-
кина, и заставляетъ жалѣть о томъ, что онъ написалъ одну
только эту драму.

Ни одно сочиненіе Пушкина не возбудило такого об-
щаго вниманія, не нашло такой огромной публики, какъ
Евгеній Онегинъ. Его читаютъ во всѣхъ закоулкахъ рус-
ской имперіи, во всѣхъ слояхъ русскаго общества. Всякій
помнитъ наизусть нѣсколько куплетовъ. Многія мысли по-
эта вошли въ пословицу. „Онегина“ покупали; „Онегина“
списывали; „Онегина“ учили на память. И не трудно объ-
яснить причину, по которой онъ сдѣлался любимымъ про-
изведеніемъ русскаго народа; она заключается въ его пря-
мой, неподдѣльной національности. Русскій бытъ, русскіе
нравы и русскіе характеры дали ему канву; русскимъ чув-
ствомъ проникнуто и согрѣто цѣлое созданіе. *Онегинъ* въ
высшей степени самостоятельное произведеніе. Не говорите
мнѣ о *Чайльдъ-Гарольдахъ*, о *Донъ-Жуанахъ*, не говорите
о наружной оболочкѣ созданія и о тѣхъ случайностяхъ,
которыя иногда сближаютъ два великія, вполне самостоя-
тельныя произведенія. Посмотрите на внутреннее содержаніе

этого романа, на самую мысль, на характеры—и вы убѣдитесь, что *Онтинъ*—оригиналь, а не копія, что онъ плодъ самобытнаго, творческаго вдохновенія. Съ другой стороны, мы видимъ въ *Онтинѣ* тайную, но искреннюю, просто-сердечную исповѣдь поэта; онъ обнаружился весь передъ нами, со всѣми своими страстями и слабостями, и раздѣлилъ свой характеръ на два лица; одна, темная половина этого характера перешла въ Онѣгина; другая, свѣтлая оживила Ленскаго. И въ самомъ дѣлѣ, горькое разочарованіе Онѣгина, который вполне насытился жизнью, которому ничто уже не льститъ, столько же напоминаетъ бѣднаго Пушкина въ горькія минуты его тревожной жизни, сколько свѣтлая, безпечная душа Ленскаго напоминаетъ его веселый, добродушный взглядъ на природу и людей, его дѣтскою простоту, его поэтическую мечтательность. Имѣя подъ рукою одного *Онтина*, можно написать полную душевную біографію Пушкина. Онъ жилъ съ этимъ произведеніемъ лучшіе годы своей жизни, онъ писалъ его нѣсколько дѣтъ, и незамѣтно, невольно исповѣдывался передъ самимъ собою въ этихъ поэтическихъ отступленіяхъ, которыя непрерывно попадаются на страницахъ *Онтина*. Тутъ онъ весь, безъ лжины, прямой непритворный поэтъ, со своими ѣдкими насмѣшками надъ притворными глупостями свѣта, съ своими вѣрными замѣтками о жизни и о людяхъ, съ своею поэтическою грустью, съ своимъ беззаботнымъ весельемъ. Вспомните эти куплеты:

Позналъ я гласъ иныхъ желаній,
 Позналъ я новую печаль;
 Для первыхъ нѣтъ мнѣ упованій,
 А старой мнѣ печали жаль.
 Мечты, мечты! гдѣ ваша сладость?
 Гдѣ вѣчная къ ней рима *младость*?
 Ужель и въ правду, наконецъ,
 Увяль, увяль ся вѣнецъ? (и проч. до словъ „Купаюсь,
 милые друзья“!)

И не душа ли Пушкина откликнулась; томимая смутными предчувствіями, въ этой встрѣчѣ грустной весны:

Какъ грустно мнѣ твое явленіе,
Весна, весна, пора любви!
Какое томное волненіе
Въ моей душѣ, въ моей крови!

Какая горькая прозія, и вмѣстѣ съ тѣмъ какая непритворная грусть отзывается въ этомъ взглядѣ поэта на суетность свѣтской жизни:

Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во-время созрѣлъ,
Кто постепенно жизни холодъ
Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ....

Всѣ характеры въ „Евгении Онѣгинѣ“ носятъ на себѣ отпечатокъ истины; они какъ будто списаны съ натуры; это живые люди, которыхъ мы видѣли, которые намъ знакомы. Характеръ Татьяны въ высшей степени оригиналенъ. Поэтъ глубоко изучилъ женскую природу, и выставилъ въ своей граціозной Татьянѣ плоды этого изученія. Не многіе поэты могутъ похвалиться удачными женскими характерами. Но Пушкинъ принадлежитъ къ числу этихъ поэтовъ по одному уже созданію Татьяны. Мы не знаемъ ни одного подобнаго женскаго характера. Эта Татьяна—это русская дѣвушка. Съ какимъ искусствомъ ведена сцена между нею и старой няней“... (Слѣдуетъ выписка: разговоръ Татьяны съ няней).

„Простодушный рассказъ няни, тайное волненіе бѣдной влюбленной дѣвушки и эта чудная картина, когда старушка въ длинной тѣлогрѣйкѣ, при сіяніи луны, кропать святой водой свою бѣдную питомицу—все это выше похвалъ.

Самое письмо, въ которомъ высказывается робкая, простодушная любовь ослѣпленной дѣвушки—мастерское произведеніе, исполненное нѣжной, чистой граціи. Поэтъ, кажется, подслупалъ этотъ лепетъ дѣвственной страсти, и вырвалъ его изъ женской души“... (Слѣдуетъ выписка—письмо Татьяны).

„Проза Пушкина, какъ и стихи его, отличается необыкновенною точностью и простотою. Онъ никогда не гонялся за фразами, никогда не испещрялъ своихъ сочиненій

затѣйливыми вычурами. Простота была для него первымъ условіемъ красоты. Онъ никогда не подымался на ходули, никогда не приискивалъ кудрявыхъ выраженій; простота и естественность были первыми законами его слога. Пушкинъ вездѣ доступенъ въ своихъ разсказахъ, нигдѣ не ставитъ читателя въ затрудненіе ни длинными фразами ни тяжелыми оборотами.

Исторія Пугачевского бунта заключаетъ въ себѣ богатое собраніе матеріаловъ объ этомъ любопытномъ происшествіи въ нашей исторіи. Текстъ, приложенный къ этимъ матеріаламъ, коротокъ; Пушкинъ собиралъ одни только факты, и сочиненіе его свидѣлствуетъ объ усердномъ, добросовѣстномъ трудѣ.

Повѣсти Блѣкина занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ между русскими повѣстями; вездѣ видна тонкая наблюдательность сочинителя, его проницательный умъ, его пламенное воображеніе. Лучшія между этими повѣстями — *Пиковая дама* и *Выстрѣлъ*. Но самое замѣчательное произанческое сочиненіе Пушкина — *Капитанская дочка*. Изученіе Пугачевского бунта навело поэта на одинъ изъ частныхъ случаевъ этого происшествія, и онъ воспользовался имъ, какъ истинный художникъ. Этотъ маленькій романъ исполненъ занимательности отъ первой до послѣдней страницы. Любопытные характеры являются во всей полнотѣ дѣйствительной жизни; самая эпоха происшествія выставлена со всѣми отбѣнками времени и мѣстности. А языкъ до того простъ и отчетливъ, что мы въ этомъ отношеніи не знаемъ ничего подобнаго въ цѣлой русской литературѣ.

Изъ „Библіотеки для Чтенія“ за 1840 г.

Сочиненія Александра Пушкина. Томъ 9 — 11. Спб. 1841.

*) Случались минуты, и очень часто, когда Пушкинъ вовсе не бывалъ великимъ поэтомъ; но онъ никогда не переставалъ быть великимъ стихотворцемъ, необыкновеннымъ художникомъ родного слова. Будетъ ли стихъ Пушкина въ

*) „Библіотека для Чтенія“ 1841 г. Томъ 49. („Литературная лѣтопись“).

слабыхъ, не поэтическихъ пьесахъ возбуждать въ нашихъ потомкахъ такой же энтузіазмъ, съ какимъ мы нѣкогда встрѣчали этотъ стихъ въ каждомъ его произведеніи?... Этотъ вопросъ невольно представляется каждому, кто видѣть, кто вспомнитъ, какъ быстро старѣется нашъ литературный языкъ. Въ двадцать пять лѣтъ, по крайней мѣрѣ, треть прежнихъ красныхъ словъ, фразъ, устарѣла, то-есть, вышла изъ моды вмѣстѣ съ чепчиками и лентами, которые были модными въ одно время съ ними. Все это поблекло, измѣлось, истерлось, и брошено. Кто виноватъ? Ужъ, конечно, не русскій языкъ! Языкъ не измѣнился ни на волосъ: мы такъ же говоримъ теперь, какъ говорили тому двадцать пять, тридцать, пятьдесятъ, сто пятьдесятъ лѣтъ. Виноваты сами писатели, которые кроили себѣ изъ русскаго языка модныя тряпки, чтобы пощеголять въ нихъ нѣсколько дней, зная, что сдѣлаются смѣшными при наступленіи новой моды; которые его природнымъ прелестямъ предпочитали издѣлія своей тщеславной руки; которые мали свѣжія розы живого, вѣчно цвѣтущаго языка и замѣняли ихъ сухими искусственными цвѣтками, обрывали сочные листья и прикалывали къ вѣткамъ лоскутки старой фольги, стряхивали съ лепестковъ росу и усыпали ихъ отысканными въ пыльной кладовой блестками, ломали простыя, естественныя формы языка и придавали имъ видъ безвкуснаго рококо. Природа никогда не позволяетъ дѣлать себѣ насмѣхъ безнаказанно: языкъ, который она создала въ устахъ народа, останется навсегда тѣмъ же свѣжимъ цвѣтущимъ языкомъ, а тѣ, которые уродовали его натуральные звуки приисканными украшеніями, будутъ неспособными въ чтеніи уже для втораго поколѣнія. Этой непреложной истины никогда не должны выпускать изъ вида писатели, которые хотятъ быть читанными съ удовольствіемъ и послѣ своей смерти. Пушкинъ заставилъ русскій языкъ сдѣлать огромный шагъ къ естественности: онъ ближе всѣхъ подошелъ къ неподдѣльному русскому слову, и очень жаль, что остатки школьной привычки и предразсудковъ, посѣянныхъ наставниками, удержали его отъ послѣдняго шага. Онъ, по не-

счастію, сохранилъ съ своимъ слогъ нѣкоторыя ложныя украшенія живыхъ звуковъ, почитавшіяся въ ту эпоху изящными, необходимыми, нераздѣльными съ русскимъ языкомъ, и эти-то несчастныя украшения скоро будутъ очень непріятно поражать его читателей. Они уже и теперь непріятны.

Пушкинъ не осмѣлился ихъ избѣгнуть: можно сожалѣть объ этой робости, неумѣстной въ великомъ художникѣ, но нельзя обвинять его. Болѣе очищенный, болѣе строгій вкусъ слѣдующихъ поколѣній одно только поставитъ ему въ упрекъ, именно, употребленіе въ русскомъ языкѣ формъ другого языка, такъ называемаго славянскаго, вмѣсто настоящихъ русскихъ: *злато*, вмѣсто *золото*, *младость*, *млада*, вмѣсто *молодость*, *молодая*, и т. д., просто по небрежности; потому что Пушкинъ зналъ и чувствовалъ, что это противно чистому вкусу, и непозволительно въ настоящемъ искусствѣ, и между тѣмъ позволялъ себѣ такія поправки правъ родного языка уже не по предразсудку, а для риемы или для мѣры въ стихѣ. Когда основанія искусства и достоинство русскаго языка лучше будутъ поняты, когда всѣ постигнутъ, что ни въ какомъ образованномъ и просвѣщенномъ языкѣ не позволено насиловать коренныхъ формъ его и замѣнять ихъ формами другого языка или нарѣчія, эти макаронизмы много повредятъ прелести пушкинскаго стиха въ произведеніяхъ, не скрѣпленныхъ печатью поэтическаго гения.

Но это еще не бѣда. Гений, заключенный въ другихъ его твореніяхъ, покроетъ всѣ эти пятна, недостатки, небрежности. Пушкинъ всегда будетъ великимъ русскимъ поэтомъ. Настоящая бѣда—та, что онъ былъ великій поэтъ. Эти великіе поэты—самые несчастные люди на свѣтѣ: починивъ перо, они не могутъ написать ни одной строчки ни одной буквы на лоскутѣ бумаги, для „пробы пера“, чтобы, послѣ ихъ смерти этой строчки, этой буквы не напечатали въ собраніи ихъ сочиненій. Столяръ, сапожникъ имѣютъ право худо обрѣзать кусокъ кожи или дерева и бросить его, какъ скоро увидятъ, что работа не удалась, что это

дурно и ни къ чему не служить. Великій поэтъ не имѣетъ этого права надъ своими издѣліями: всякую неудавшуюся мысль его, всякій испорченный кусокъ идеи, который онъ броситъ какъ негодный, неловкіе обожатели подберутъ съ его могилы и поставятъ между произведеніями его гения... Это ужасно! Это значить давать публикѣ ложное понятіе объ его вкусѣ, сужденіи и талантѣ, обижать его самого въ могилѣ, оказывать неуваженіе къ его волѣ. Изъ-за одного этого вскорѣ никто не захочетъ быть великимъ поэтомъ. Сохраните эти исписанные имъ лоскутки какъ автографы; если нужно, продавайте ихъ какъ автографы; каждый ихъ купить, и они сохранятся. Предоставьте отдаленному потомству это напрасное оскорбленіе памяти великаго человека: отдаленныя потомства считаютъ себя въ правѣ изъ любопытства разрывать могилы, раскидывать кости умершихъ, грабить дома вѣчнаго ихъ упокоенія; для нихъ нѣтъ ничего святого, и эти святотатства еще величаются у нихъ почетными именами „антикварства“ и „науки“. Но мы — не алчные антикваріи въ отношеніи къ великимъ поэтамъ, съ которыми жили: мы ходимъ молиться на ихъ могилу, печаль наша еще не угасла, и мы обязаны къ нимъ, по крайней мѣрѣ, тѣмъ уваженіемъ, безъ котораго нѣтъ печали. Мы вовсе не любопытны читать то, что сами они признали недостойнымъ своей славы, и къ чему никогда не захотѣли бы приложить своего имени. Этими ничтожными листкамъ бумаги древность еще не придаѣла важности, и они для насъ не имѣютъ никакой цѣны, а для великихъ поэтовъ, которыхъ духъ живетъ еще между нами, составляютъ жестокою обиду.

По примѣру собирателей всякихъ разныхъ произведеній едва умершаго Гёте, издатель новаго собранія „Сочиненій Пушкина“ счелъ долгомъ, въ этихъ трехъ томахъ, напечатать безъ разбора все, что могъ собрать изъ его неизданныхъ трудовъ. Всѣ благоразумные почитатели Пушкина будутъ сожалѣть объ этой неумѣстной поспѣшности. Надлежало сдѣлать, напротивъ, осторожный выборъ и устранить многія изъ мелочей, внесенныхъ въ это собраніе. Два очень

слабыя произведенія, „О цензурѣ“ и „Русская изба“, могли также быть пропущены. Между тѣмъ, не считая множества извѣстныхъ пьесъ и статей Пушкина, разбѣянныхъ въ журналахъ и которыя, положимъ, войдутъ еще въ составъ не изданнаго тринадцатаго тома, здѣсь допущены настоящіе пропуски. Напримѣръ, въ поэмѣ, названной „Каменнымъ гостемъ“, пропущены двѣ прекрасныя пѣсни Лауры, одна, всѣмъ извѣстная: „Почной зефиръ струитъ эфиръ“, другая, не напечатанная, но тоже извѣстная публикѣ, потому что она была положена на музыку М. И. Глинкою: „Я здѣсь, Инезилья, стою подъ окномъ“.

Какъ бы то ни было, въ числѣ стихотвореній, впервые напечатанныхъ, девятый томъ заключаетъ въ себѣ много пьесъ превосходныхъ: такова, напримѣръ, „Памятникъ“. Малопькая поэма „Осень“ также прелестна. „Подражанія Данту“, два маленькіе отрывка, прекрасны. Подъ особеннымъ заглавіемъ помѣщены три *послѣднія* стихотворенія Пушкина. Для любопытства читателей мы приведемъ самое послѣднее, оставленное авторомъ, какъ кажется, безъ заглавія:

Опять на родинѣ! я посѣтилъ
Тотъ уголокъ земли, гдѣ я провелъ
Отшельникомъ два года незамѣтныхъ (и проч.).

Въ „Прибавленіи“ находятся „Лицейскія стихотворенія“ Пушкина. Въ десятомъ томѣ, въ которомъ содержатся повѣсти, встрѣтили мы одно изъ прелестнѣйшихъ его произведеній въ этомъ родѣ, повѣсть „Дубровский“. Эта повѣсть, занимающая около ста пятидесяти страницъ и нигдѣ не напечатанная, заслуживаетъ полнаго вниманія и по изобрѣтенію и по разсказу. Одиннадцатый томъ заключаетъ въ себѣ тринадцать прозаическихъ статей, въ томъ числѣ шесть новыхъ.

Изъ „Библіотеки для Чтенія“ за 1841 г.

* * *

*) Наконецъ, мы имѣемъ полное собраніе произведеній Пушкина, за исключеніемъ только нѣсколькихъ мелкихъ лирическихъ пьесъ, немногихъ критическихъ журнальных статей; но все это, вѣроятно, будетъ издано, кромѣ матеріаловъ, собранныхъ поэтомъ для „Исторіи Петра Великаго“, состоящихъ въ однихъ выпискахъ изъ *Голикова*. Теперь, кажется, наступила пора отдать Пушкину то мѣсто въ нашей литературѣ, до котораго не всѣ охотно его допускали; пора прекратить споръ, еще при жизни поэта заведенный мелочнымъ самолюбіемъ, упорнымъ старовѣрскимъ уваженіемъ къ прежнимъ нашимъ писателямъ и близорукимъ неосознаніемъ великаго таланта въ творцѣ „Евгенія Онѣгина“. Слава Богу, голоса, когда-то буйно, громко и враждебно раздававшіеся противъ Пушкина, нынѣ мало-малу умолкаютъ въ общемъ хвалебномъ ему кликѣ. Людямъ, не отказывавшимъ въ высокомъ поэтическомъ достоинствѣ Ломоносову, Хераскову, Дмитріеву, было какъ-то тяжело утвердить это достоинство за Пушкинымъ. Его называли безнравственнымъ, потому что въ его созданіяхъ дѣйствуютъ не классическіе герои и не резонеры, а просто люди, исполненные страстями; другіе говорили, что вся заслуга нашего поэта состоитъ въ легкой версификаціи, стало быть, равняли его съ Подолинскимъ и многими другими, которые также обладали этимъ достоинствомъ. Даже усердные обожатели Пушкина считали его не болѣе, какъ поэтомъ выраженія. Неужели это справедливо?

Но кто изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ въ такой широкой рамѣ, съ большею полнотою и истиною, выразилъ жизнь и судьбу человѣчества вообще и народа русскаго въ особенности? Наша русская жизнь, а слѣдственно и литература, образовалась изъ вліянія двухъ элементовъ: европейскаго и своего отечественнаго, и никто, кромѣ Пушкина, не умѣлъ такъ тѣсно и благотворно сплавить въ душѣ своей обѣ эти стихіи. Духъ его глубоко изучилъ эту длинную гамму жизни—отъ спальной мадритской пѣвицы или салона, гдѣ Татьяна

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1841 г., № 259 и 260.

. въ малиновомъ беретѣ
 Съ посломъ испанскимъ говорить,

до дымной, освѣщенной лучиною хаты мужика и убогой черкесской сакли. Кто у насъ, не теряя своей самобытности, съ такою воспріимлемостію успѣвалъ въ своихъ твореніяхъ усвоить себѣ идеи исполиновъ европейской поэзіи—Гёте и Байрона, Данте и Шекспира и древнихъ Грековъ? Также Пушкинъ,—вспомните его сцену изъ „Фауста“ или „Цыганъ“, „Подражанія Данте“ или „Анжело“, „Каменнаго гостя“ и антологическія стихотворенія. Эту гибкую воспримчивость видимъ мы и въ Жуковскомъ; но онъ чужія, готовые идеи только переплавлялъ въ прекрасныя формы языка русскаго, а Пушкинъ, глубоко проникнутый духомъ великихъ писателей, какъ бы дополнялъ ихъ своими твореніями, которыя ему самому принадлежали. Такъ, оригинально переносъ въ русскую литературу поэтическія созданія древней и новой Европы, онъ счастливѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ и современниковъ опозитизировалъ и міръ славянскій; воскресилъ нашу историческую старину въ „Бориса Годунова“, и мирный бытъ Славянъ сѣверныхъ въ своихъ сказкахъ, и потрясаемую безпрестанными воинскими тревогами жизнь Славянъ западныхъ. И какая плѣнительная свѣжесть, какое чудное разнообразіе красокъ, всегда сообразныхъ съ тѣми предметами, которые онъ облакалъ ими! Какіе неуловимые переливы тоновъ, то безпечно-веселыхъ, какъ жизнь молодого повѣсы, то звучно-торжественныхъ, какъ громъ русскаго оружія, то задумчиво-унылыхъ, какъ мечты страстной дѣвы, то дикихъ и грубыхъ, какъ пѣснь земледѣльца. Облекая въ поэтическія формы жизнь во всемъ оя разнообразіи, Пушкинъ былъ не менѣе разнообразенъ и въ самыхъ этихъ формахъ: колкая эпиграмма, исполненная глубоко-страстнаго чувства элегія, благородный романсъ испанскій, граціозное антологическое стихотвореніе, безыскусственная русская сказка, удалая пѣснь вакхическая, остроумное посланіе, байроновская поэма, историческая драма, фантастическая повѣсть, романъ историческій, наконецъ, самая исторія—и во всемъ этомъ онъ является великимъ ма-

стеромъ своего дѣда. Сумароковъ былъ такъ же разнообразенъ въ своихъ произведеніяхъ, но это было слѣдствіемъ его холоднаго, враждебнаго истинному искусству намѣренія, насильственно и безвременно навязать русской литературѣ формы, которыхъ ей еще не доставало. Пушкинъ со всею силою своего духа увлекался всѣми прекрасными явленіями жизни, природы и искусства, и переселялся въ тотъ міръ, изъ котораго почерпалъ свои глубокія и пламенные вдохновенія. Вотъ отчего всѣ его произведенія замечательны тою искренностію и естественностію, которыя служатъ дальнѣйшимъ условіемъ красоты и истины въ поэзіи. Вотъ почему въ немъ не видно того усилія, которое иногда изумляетъ насъ яркостію красокъ и неожиданною странностію формъ, но почти всегда противоборствуетъ здравому смыслу и мучительно тяготитъ сердце, еще не развращенное немощно-чудовищными созданіями заблудшей фантазіи. Читая произведенія Пушкина, мы не можемъ не изумляться легкости, съ какою они написаны: кажется, искусство было его природою; кажется, ему такъ же легко, такъ же необходимо было писать, какъ дышать. Говоритъ ли еще, какъ художнически округлены и окончены почти всѣ творенія; какъ звучитъ и блеститъ у него русскій стихъ, которому онъ придалъ новую силу и гармонію; какъ въ мощныхъ рукахъ его, подобно воску, гнется русскій языкъ, котораго дотошъ неразгаданныя тайны онъ постигъ съ проницательностію ученаго филолога, и воспользовался ими съ силою великаго поэта.

Мудрено-ли, что, обладая такими средствами, Пушкинъ успѣлъ въ русской публикѣ возбудить такой энтузіазмъ, какого не производилъ ни одинъ изъ нашихъ писателей. Вспомните съ какимъ восторгомъ юное поколѣніе привѣтствовало первоначальныя напѣвы его юношеской лиры, съ какимъ искреннимъ сочувствіемъ оно, само вмѣстѣ съ нимъ мужая, рукоплескало его дальнѣйшимъ трудамъ, съ какою глубокою скорбію сопровождало его въ раннюю могилу. Державинъ, Крыловъ, Жуковский, не взирая на великія свои заслуги, не произвели и не могли произвести

на насъ впечатлѣнія столь общаго и глубокаго. Пѣвецъ „Фелицы“, достойно возвеличенный въ свое время, развилъ свое прекрасное дарованіе въ одной лирикѣ, и не пошелъ далѣе—для собственной его славы мы умолчимъ о его драматическихъ опытахъ. Крыловъ, по преобладающему въ немъ въ высшей степени чувству народности, болѣе доступный русскому сердцу, не могъ въ тѣсной области басни охватить всю полноту русской жизни. Жуковский, плѣнившій насъ очаровательнымъ уныніемъ своей неземной поэзіи и сладостною гармоніею стиховъ, по своему германскому, мистическому направленію, не могъ возбудить слишкомъ теплаго сочувствія въ русскомъ народѣ, воображеніе котораго не любитъ блуждать въ туманной области фантастическихъ видѣній, и болѣе пригвождено къ существенному, къ земному. Пушкинъ въ одномъ себѣ соединялъ всѣхъ этихъ трехъ поэтовъ: въ немъ есть и возвышенное чувство Державина, хотя проявляющееся не въ столь величественныхъ образахъ, но облеченное въ болѣе стройныя и красивыя формы; въ немъ было и это истинно русское сердце Крылова, но жившее болѣе полною и разнообразною жизнью; вмѣстѣ съ Жуковскимъ онъ, на своей русской лирѣ, перенгрывалъ пѣсни пѣвцовъ иноземныхъ, но сохраняя свою оригинальность. Въ произведеніяхъ Пушкина есть и тоска, неразлучная спутница современной музы; но это не мягкое, дѣвическое уныніе пѣвца „Ундины“; это болѣе скорбь мужа, тяжело оскорбленнаго разрушеніемъ лучшихъ, свѣтлыхъ надеждъ своихъ, скорбь, иногда изливающаяся въ звукахъ грустныхъ, меланхолическихъ, но болѣе мстящая за себя мѣткой эпиграммой или рѣзкою, благородною сатирой, подавляемая (что особенно любо русскому человѣку) веселыми напѣвами разгульной пѣсни или торжественными, сурово-угрюмыми дирирамбическими звуками, выражающими сознаніе силъ души, готовой на битву съ судьбою и съ собственнымъ своимъ отчаяніемъ.

И какихъ еще вдохновеній ожидала эта мощная, исполненная прекрасной жизни душа!.. Но „Богъ судилъ иное“!.. Съ чувствомъ глубокой грусти перелистываемъ мы три нынѣ

изданные тома сочиненій Пушкина. Вотъ неоконченная повесть, вотъ недописанное стихотвореніе, едва начатая поэма, вотъ послѣднія предсмертныя его піесы и, кажется, на нихъ замерла охолодѣвшая рука поэта...

Тому назадъ одно мгновеніе,
Въ семьъ сердцѣ билось вдохновеніе,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипѣла кровь.

Вы читаете, и въ вашихъ ушахъ раздается скорбно-пророческій голосъ Пушкина, который на послѣдней, можетъ быть, для себя лицейской годовщинѣ, поминая почившихъ друзей своихъ, восклицалъ:

И мнится, очередь за мной...
Зовешь меня мой Дельвигъ милый!

Почти всѣ прозаическія статьи и весьма многія стихотворенія, помѣщенные въ этихъ томахъ, уже были напечатаны въ „Современникѣ“, частію въ „Литературной Газетѣ“ и въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Въ IX томѣ, по странному случаю, и отроческія, лицейскія произведенія Пушкина и послѣднія превосходныя его созданія. Созерцательный умъ критика легко можетъ провести параллель между талантомъ, едва расцвѣтающимъ, и достигшимъ полнаго своего развитія. Въ началѣ этого тома помѣщены четыре большія піесы Пушкина: „Мѣдный всадникъ“, „Каменный гость“, „Русланъ“ и „Галубъ“; послѣднія двѣ не кончены. Главное дѣйствующее лицо въ „Мѣдномъ всадникѣ“, бѣдный чиновникъ Евгеній, составляетъ рѣзкую противоположность со своимъ соименникомъ Онѣгинымъ, а между тѣмъ можетъ идти вровень къ мастерски обрисованному портрету послѣдняго. Одинъ—бѣднякъ, забытый счастьемъ, но съ сердцемъ теплымъ, бьющимся только для своей Парашин, и теряющій ее, единственное свое благо, въ день всеобщаго бѣдствія; другой, взысканный всѣми дарами счастья, но не умѣвшій ими воспользоваться, потому что слишкомъ рано отжилъ жизнью сердца, и въ самомъ себѣ встрѣтившій казнь за свое безсердечіе. Герой „Мѣднаго всадника“ почти засло-

ненъ поставленною вокругъ него огромною декораціею, представляющею картину наводненія и среди него колоссальное изваяніе Петра Великаго. Эта картина начертана истинно художническою кистью. Небольшую драму „Каменный гость“ самъ Шекспиръ не поколебался бы назвать своею. Какъ превосходно въ столь тѣсной рамкѣ представленъ здѣсь Донъ-Жуанъ, который, кажется, весь съ головы до ногъ былъ обрисованъ многими поэтами, избиравшими тотъ же самый предметъ для своихъ созданій; но Пушкинъ умѣлъ найти въ этомъ типическомъ лицѣ новыя черты, еще выпуклѣе выставляющія его характеръ. И какъ очаровательна эта Лаура, настоящая испанская прелестница, пылкая и легкомысленная, игривая и бѣшеная, съ сердцемъ, полнымъ любви, и челомъ, заклеяннымъ печатью разврата. Какъ искусно ведена послѣдняя сцена Донъ-Жуана съ Донной Анною, напоминающая подобную же сцену въ Шекспировомъ „Ричардѣ III“, и какъ поразительно она окончена.

До самаго Пушкина наши поэты не оживляли созданій русской народной фантазіи или представляли ихъ въ искаженныхъ образахъ. Наши древнія преданія, наши сказки таились только между простонародьемъ и, слѣдственно, не были достояніемъ литературы, которая стыдилась и робѣла промѣнять сатира на лѣшаго или Эмениду на вѣдьму. Эти фантастическія существа издали мелькали передъ нашимъ воображеніемъ въ неясныхъ очеркахъ; мы, безпрестанно обращая взоры на Европу, рѣдко на нихъ оглядывались, но подчасъ, желая блеснуть новизною и народностію, вызывали ихъ изъ міра, для насъ мало знакомаго. Не взглянувъ пристально въ русалку, мы къ ея недорисованному для насъ образу придавали черты, болѣе свойственныя нѣмецкой ундиѣ или древней наядѣ; иногда на широкія плечи русскаго витязя мы накидывали плащъ испанскаго рыцаря. Пушкинъ глубже всѣхъ другихъ нашихъ писателей проникъ во мракъ, застилавшій русскую старину, и тѣснѣе всѣхъ съ нею сблизился. Здѣсь предстоялъ ему подвигъ трудный и смѣлый тѣмъ болѣе, что онъ почти первый на него рѣшился. Онъ долженъ былъ обдѣлывать, такъ ска-

затѣ, матеріалы сырые и слишкомъ скудные, чтобы построить изъ нихъ какое-либо зданіе, создавать лица и характеры изъ неопредѣленныхъ очерковъ, воплощать тѣни, давно забытыя и разсѣянныя. Только съ его перенчивымъ воображеніемъ, только съ его сердцемъ, полнымъ сочувствія ко всему русскому, можно было предпринять это дѣло, и онъ бы его, вѣроятно, совершенно докончилъ, если бы прожилъ нѣсколько лѣтъ долѣе. Онъ безъ хвастовства могъ сказать.

Тамъ русскій духъ.... Тамъ Русью пахнетъ;
И тамъ я былъ

И точно, онъ былъ тамъ, въ этомъ русскомъ мірѣ, вынесъ оттуда истинно-русскую сказку, изъ похищенныхъ у этого міра элементовъ началъ создавать русскую фантастическую драму — и не докончилъ. Сколько бы, судя по началу, прекрасныхъ сценъ вышло изъ-подъ пера поэта въ этой „Русалкѣ“, содержаніе которой Пушкинъ, вѣроятно, почерпнулъ изъ переведенной имъ же сербской пѣсни „Янишъ - Королевичъ“. Какъ хорошъ, какъ оригиналенъ этотъ мельникъ, корыстолюбивый простакъ и отецъ смеходительный, какой пылъ страсти дышитъ въ каждомъ словѣ его дочери! Вся драма проникнута духомъ русской старины; вы видите истинно русскихъ людей, но безъ той грязной тривіальности, безъ которой, кажется, не можетъ намъ ихъ представить большая часть нашихъ романистовъ.

Поэма „Галубъ“ едва только начата, но въ ней уже рѣзко обозначается суровая, энергическая фзіономія Чеченца, именемъ котораго названо это произведеніе.

Въ этомъ же томѣ помѣщены двѣ новыя сцены изъ „Бориса Годунова“, строфы изъ „Опѣгина“, начатки поэмъ, сказка о купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и разныя мелкія стихотворенія, не вошедшія въ прежніе восемь томовъ. Многія изъ этихъ пьесъ отличаются или глубиной заключающейся въ нихъ мысли или полнотою и искренностію разлитого въ нихъ чувства; всѣ красуются прелестью выраженія. Выписываемъ одну изъ нихъ, замѣчательную по своей оригинальности:

Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума;
 Нѣтъ, легче посохъ и сума,
 Нѣтъ, легче трудъ и гладъ.
 Не то, чтобъ разумомъ моимъ
 Я дорожилъ; не то, чтобъ съ нимъ
 Разстаться былъ не радъ.
 Когда бъ оставили меня
 На волѣ, какъ бы рѣзво я
 Пустился въ темный лѣсъ!
 Я пѣлъ бы въ пламенномъ бреду,
 Я забывался бы въ чаду
 Нестройныхъ, чудныхъ грезъ.
 Силенъ и воленъ былъ бы я,
 Какъ вихорь, роющий поля,
 Ломающій лѣса.
 И я бъ заслушивался волиъ,
 И я глядѣлъ бы, счастья полнъ,
 Въ пустыя небеса.
 Да вотъ бѣда: сойди съ ума,
 И страшенъ будешь, какъ чума;
 Какъ разъ тебѣ запрутъ,
 Посадить на цѣпь дурака,
 И сквозь рѣшетку, какъ звѣрка,
 Дразнить тебѣ придутъ.
 А ночью слушать буду я
 Не голосъ яркій соловья,
 Не шумъ глухой лѣсовъ,
 А крикъ товарищей моихъ,
 Да брань смотрителей ночныхъ,
 Да визгъ да звонъ оковъ.

Сказка о купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ доказываетъ, какъ сильно было въ Пушкинѣ желаніе оживить нашу народную поэзію, и какъ мастерски онъ умѣлъ подладиться подъ ея полудикіе тоны. Она написана рифмованными стихами, безъ всякаго размѣра, точно какъ, напримѣръ, сказки въ „Старичкѣ Весельчакѣ“, но относится къ нимъ, какъ созданіе искусства къ грубымъ произведеніямъ природы.

Во многихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ уже предзнаменуется будущій великій художникъ. Рѣзецъ юноши иногда скользитъ по упорному мрамору, но иногда проводитъ по немъ черты смѣлыя и сильныя. Еще на ученической скамьѣ,

сознавая свое высокое предназначеніе, юный поэтъ говоритъ въ „Посланіи къ Жуковскому“:

Благослови, поэтъ! Въ тиши Парнаасской сѣни
Я съ трепетомъ склонилъ предъ Музами колѣни,
Опасною тропой съ надеждой полетѣлъ,
Мнѣ жребій вынулъ Фебъ—и лира мой удѣлъ.
Страшусь, неопытный, безславнаго пареня,
Но пылкаго смирить не въ силахъ я влеченя.

Въ самой ранней юности, когда обыкновенно тревожная фантазія торопливо мечется отъ одного видѣнія къ другому, Пушкинъ съ наблюдательностію спокойной возмужалости анализируетъ предметы своихъ вдохновеній—

Случалось ли менастной вамъ порой
Дня зимняго при позднемъ, тихомъ свѣтѣ,
Сидѣть однимъ безъ свѣчки въ кабинетѣ:
Все тихо вокругъ: березы больше нѣтъ (?);
Часъ отъ часу темнѣетъ оконъ свѣтъ;
На потолокъ какой-то призракъ бродить;
Блѣднѣетъ ужъ—и синеватый дымъ,
Какъ легкій паръ, въ трубу вѣясь, уходитъ;
И вотъ, жезломъ невидимымъ своимъ,
Морфей на все невѣрный сонъ наводитъ.
Темнѣетъ взоръ; Кандидъ изъ вашихъ рукъ,
Закрывшись, упалъ въ колѣни вдругъ;
Вздохнули вы; рука на столъ валится,
И голова съ плеча на грудь катится....

Большая часть этихъ стихотвореній посвящена прославленію Вакха и Киприды.

Въ X томѣ содержатся пять большихъ прозаическихъ піесъ. Вѣрность въ описаніи нравовъ и историческихъ подробностей, рѣзкое очертаніе характеровъ, постепенно возрастающая занимательность разсказа—вотъ черты, отличающія повѣсть „Аранъ Петра Великаго“, которая, къ сожалѣнію, не окончена. Другая (вполнѣ оконченная) повѣсть „Дубровскій“ въ истинномъ свѣтѣ изображаетъ бытъ нашихъ богатыхъ помѣщиковъ—сѣдыхъ вельможъ Екатерининскаго вѣка. Троекуровъ.—это настоящій русскій баринъ XVIII столѣтія, гордый, упрямый, своенравный, блистаю-

щій роскошью изъ тщеславія, презирающій всѣхъ, кто ниже его по чину и богатству. Но молодой Дубровскій кажется намъ лицомъ не русской природы. Это какая-то смѣсь Фрадіаволо и Карла Моора—русскій офицеръ, который изъ мщенія и ненависти дѣлается атаманомъ разбойниковъ, потомъ подъ личиною гувернера-француза скрывается въ домѣ Троекурова, смертельнаго врага своего; ловкій и хитрый удалецъ, который, будучи преслѣдуемъ полиціею, въ этомъ самомъ домѣ, безъ важной побудительной причины, грабитъ ночью одного гостя и открываетъ ему свое имя; въ одно время проказничаетъ на большихъ дорогахъ и заводитъ интригу съ дочерью Троекурова,—все это не весьма естественно, въ Радклифскомъ, а не въ Пушкинскомъ духѣ. Впрочемъ, при прелести разсказа, не весьма правдоподобное содержаніе этой повѣсти занимательно въ высшей степени.

„Лѣтопись села Горохина“ представляетъ чрезвычайно вѣрную картину нашего сельскаго быта; въ нашей литературѣ не много прозаическихъ разсказовъ, отличающихся столь оригинальнымъ, простодушно-остроумнымъ изложеніемъ. Судя по началу повѣсти „Египетскія ночи“, можно предполагать, что это было бы превосходное произведеніе. Съ какою выразительностію, уже на немногихъ страницахъ, обрисованы физіономіи русскаго поэта и итальянскаго импровизатора. „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“ самая слабая пьеса въ этомъ томѣ: это какіе-то не довольно ясные, слегка набросанные очерки. Пушкину, кажется, хотѣлось написать нѣчто въ родѣ „Гёца фонъ Берлихингена“, но на этотъ разъ онъ далеко отсталъ отъ своего образца.

XI томъ весь почти составленъ изъ мелкихъ статей: журнальныхъ и критическихъ замѣтокъ, краткихъ біографическихъ очерковъ, едва начатыхъ повѣстей, историческихъ анекдотовъ и отрывковъ изъ собственныхъ записокъ автора, драгоценныхъ какъ матеріалъ для будущей его біографіи. Въ высшей степени любопытны разсѣянные въ этомъ томѣ сужденія Пушкина о разныхъ современныхъ литературныхъ явленіяхъ и о нѣкоторыхъ нашихъ писателяхъ.

Эти три тома изданы гораздо опрятнѣе восьми прежнихъ, но, къ сожалѣнію, въ нихъ очень нерѣдко попадаются пропуски и опечатки.

Изъ „СПБ. Видомостей“ за 1841 г.

* * *

*) Наконецъ, изданіе полнаго собранія сочиненій Пушкина кончено или, по крайней мѣрѣ, почти кончено: остаются только матеріалы для исторіи Петра Великаго, нѣсколько литературныхъ статей и нѣсколько малозвѣстныхъ стихотвореній, разбѣянныхъ по альманахамъ и журналамъ. Матеріалы для исторіи Петра Великаго, долженствующіе составить собою цѣлый томъ (XII-й) и интересно сколько въ историческомъ смыслѣ, столько и по замѣткамъ руки Пушкина, хоть, можетъ быть, еще и не скоро, но когда-нибудь будутъ же, Богъ дастъ, изданы попечительною опекою; что же до литературныхъ статей и до малозвѣстныхъ стихотвореній, не вошедшихъ въ *одиннадцатитомное* изданіе полнаго собранія сочиненій Пушкина, — ихъ берутся вторично представить вниманію публики „Отечественныя Записки“, — чтобы будущіе издатели или (что было бы лучше для сочиненій Пушкина, во избѣжаніе пословицы: *у семи нянекъ дитя безъ глаза*) будущій издатель зналъ, гдѣ взять все остальное, принадлежащее Пушкину и вмѣстѣ собранное. Для начала возобновляемъ вниманію публики два слѣдующія, уже бывшія напечатанными, стихотворенія Пушкина, и не находящіяся въ полномъ собраніи его сочиненій“... (Приведены два стихотворенія:

Нѣтъ, нѣтъ! не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться!

и *Признаніе. Къ А. И. О—й.*

Я васъ люблю, — хоть я бѣшуся,
Хоть это трудъ и стыдъ напрасный:
И въ этой глупости ужасной
У вашихъ ногъ я признаюсь!

*) „Отечественныя Записки“ 1841 г., т. 17., № 8.

„Что же касается до прозаических статей, почему бы то ни было не вошедших въ полное собраніе сочиненій Пушкина, мы не можемъ исчислить ихъ всѣ до одной безошибочно, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ были напечатаны безъ имени автора, и составляютъ тайну издателей журналовъ, въ которыхъ были помѣщены. Но вотъ перечень главнѣйшихъ изъ нихъ: „Объ исторіи Пугачевского бунта“ (разборъ статьи, напечатанной въ „Сынѣ Отечества“, въ январѣ 1835 года); „Мнѣніе Лобанова о духѣ словесности, какъ иностранной, такъ и отечественной“; „Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтописей“; „Торжество дружбы, или „Оправданный Александръ Андреевичъ Орловъ“; „Одна глава изъ неоконченнаго романа“. Всѣ эти статьи въ высшей степени интересны, особенно о такъ называемомъ „Мнѣніи г. Лобанова о словесности, какъ иностранной, такъ и отечественной“, „Торжество дружбы“ и проч.

Вмѣстѣ со стихами, не вошедшими въ *одиннадцать* уже изданныхъ томовъ сочиненій Пушкина, эти шесть статей могли бы составить цѣлый небольшой томъ. А сколько еще въ журналахъ статей, которыя публика читала, не зная, что авторъ ихъ—Пушкинъ! Есть статья въ „Московскомъ Телеграфѣ“ 1835 года и множество мелкихъ статей въ „Литературной Газетѣ“ 1830 и 1831 годовъ. Въ „Литературной Газетѣ“ 1830 г. (т. 1, стр. 98) найдете даже подписанную полнымъ именемъ Пушкина статейку, которая есть не что иное, какъ журнальная замѣтка; изъ этой замѣтки видно, что объявленіе объ „Иліадѣ“ Гнѣдича (стр. 14) писано Пушкинымъ. Конечно, и замѣтка и объявленіе не большо, какъ журнальныя мелочи; но когда дѣло идетъ о такомъ человѣкѣ, какъ Пушкинъ, тогда мелочей нѣтъ, а все, въ чемъ видно даже простое его мнѣніе о чемъ бы то ни было, важно и любопытно: даже самыя ошибочныя понятія Пушкина интереснѣе и поучительнѣе самыхъ несомнѣнныхъ истинъ многихъ тысячъ людей. Вотъ почему мы желали бы, чтобъ не пропала ни одна строка Пушкина, и чтобъ люди, которыхъ онъ называлъ своими друзьями, или съ которыми онъ дѣйствовалъ въ однихъ журна-

лахъ, или у которыхъ въ изданіяхъ когда-либо и что-либо помѣшалъ, объявили о каждой строкѣ, каждомъ словѣ, ему принадлежащемъ. Въ такомъ случаѣ, повторяемъ, кромѣ *двенадцатаго* тома съ матеріалами для исторіи Петра Великаго (если только соблаговолятъ когда-нибудь его издать), набрался бы еще порядочный томъ, и всѣхъ томовъ вышло бы *тринадцать*, вмѣсто *одиннадцати*, теперь существующихъ. Мы не думаемъ, чтобъ, кромѣ пропущенныхъ двухъ статей изъ „Современника“, подписанныхъ именемъ Пушкина, не было въ этомъ изданіи и другихъ статей, принадлежащихъ Пушкину. Такъ, напримѣръ, въ „Современникѣ“ статьи: „Разборъ сочиненій Георгія Конискаго“, „Вольтеръ“, „Отрывокъ изъ неизданныхъ записокъ дамы“ не подписаны именемъ Пушкина, а послѣдняя даже означена *переводомъ съ французскаго*, — между тѣмъ всѣ онѣ вошли въ полное собраніе сочиненій Пушкина; почему же не Пушкину принадлежать статьи въ 1-мъ томѣ „Современника“: „Россійская Академія“, „Французская Академія“? Не нашлось рукописей?—Но неужели же нѣтъ другихъ свидѣтельствъ, и всѣ статьи Пушкина, которыя были напечатаны безъ его имени, и которыхъ рукописи затеряны, должны пропасть?...

Сказавъ о томъ, что не напечатано нѣтъ сочиненій Пушкина въ „полномъ“ собраніи его сочиненій, будемъ теперь говорить о томъ, что вошло въ послѣдніе три тома. Девятый томъ самый большой; онъ наполненъ одними стихотворными пьесами, и начинается поэмами, напечатанными въ „Современникѣ“ 1837 года и въ 1-мъ томѣ „Ста русскихъ литераторовъ“: „Мѣдный всадникъ“, „Каменный гость“, „Русалка“ и „Галубъ“. Странно, что по распоряженію, въ которомъ издателя нисколько не виноваты, вторая поэма — изъ „Донъ-Хуана“, какъ она названа самимъ Пушкинымъ, переименована въ „Каменнаго гостя“; но еще страннѣе, что изъ нея выпущены обѣ пѣсни, которыя поетъ Лаура: „Ночной зефиръ струитъ эфиръ“ и „Я здѣсь, Инезилья“.

За поэмами слѣдуютъ мелкія стихотворенія, въ трехъ отдѣленіяхъ: въ первомъ заключаются посмертныя стихо-

творенія, какъ бывшія напечатанными, такъ и нигдѣ не напечатанныя; во второмъ—лицейскія стихотворенія, въ третьемъ—стихотворенія, пропущенныя въ первыхъ восьми томахъ. Изъ посмертныхъ стихотвореній много совершенно новыхъ, нигдѣ не бывшихъ напечатанными; всѣ они прекрасны и интересны, а нѣкоторыя изъ нихъ запечатлѣны всею силою генія Пушкина.

Подобно Державину, Пушкинъ передѣлалъ „Памятникъ“ Горация въ примѣненіи къ себѣ:—его „Памятникъ“ есть поэтическая апофеоза гордаго, благороднаго самосознанія генія.

Въ превосходнѣйшей пьесѣ „Капризъ“ Пушкинъ художнически рѣшаетъ важный эстетическій вопросъ о причинѣ унылости, какъ основномъ элементѣ русской поэзіи. Онъ находитъ ее въ нашей русской природѣ, и изображаетъ ее красками, которыхъ сила, вѣрность и безыскусственная простота дышатъ всею гениальностію великаго національнаго поэта.

Пьеса „Ночью во время безсонницы“ показываетъ, какъ глубоко вглядывался Пушкинъ во всѣ явленія жизни, какъ глубоко прислушивался онъ къ нимъ:

Мнѣ не спится, нѣтъ огня:
 Всюду мракъ и сонъ докучный;
 Ходъ часовъ лишь однозвучный
 Раздается близъ меня.
 Парки бабье лепетанье,
 Спящей ночи трепетанье,
 Жизни мышья бѣготня—
 Что тревожишь ты меня?
 Что ты значишь, скучный шопоть?
 Укоризна или ропоть
 Мною утраченнаго дня?
 Отъ меня чего ты хочешь?
 Ты зовешь или пророчишь?
 Я понять тебя хочу,
 Темный твой языкъ учу.

„Подражаніе Данту“, для незнающихъ итальянскаго языка, вѣрно показываетъ, что такое Дантъ какъ поэтъ. Вообще, у насъ Дантъ какая-то загадка: мы знаемъ, что

Шлегель его провозгласилъ чуть-чуть не наравнѣ съ Шекспиромъ; наши доморощенные критики также много накричали о немъ; были о немъ даже цѣлыя диссертации, хотя немножко и безтолковыя; переводы изъ Данта, еще болѣе диссертаций, добились его на Руси. Но теперь, послѣ двухъ небольшихъ отрывковъ Пушкина изъ Данта, ясно видно, что стоитъ только стать на католическую точку зрѣнія, чтобъ увидѣть въ Дантѣ великаго поэта. Прислушайтесь внимательнымъ слухомъ къ этимъ откровеніямъ задумчиваго, тяжело-страстнаго итальянца, котораго душа такъ и рвется къ обаяніямъ искусства и жизни, несмотря на весь свой католическій страхъ грѣха и соблазна:

И часто я украдкой убѣгалъ
 Въ великолѣпный мракъ чужого сада,
 Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ.
 Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада;
 Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ,
 И праздномыслить было мнѣ отрада.
 Любилъ я свѣтлыхъ водъ и листьевъ шумъ
 И бѣлые въ тѣни деревъ кумары,
 И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ.
 Все мраморные цѣркули и лиры,
 И свитки въ мраморныхъ рукахъ,
 И длинныя на ихъ плечахъ порфиры,—
 Все наводило сладкій нѣкій страхъ
 Мнѣ на сердце; и слезы вдохновенья
 При видѣ ихъ рождались на глазахъ.
 Другія два чудесныя творенья
 Влекли меня волшебною красой:
 То были двухъ бѣсовъ изображенья.
 Одинъ (дельфійскій идолъ) ликъ молодой—
 Былъ силенъ, полонъ гордости ужасной,
 И весь дышалъ онъ силой неземной.
 Другой—женообразный, сладострастный,
 Сомнительный и лживый идеалъ,
 Волшебный демонъ, лживый, но прекрасный.

Пьеса, названная „Отрывкомъ“ (стр. 183), есть цѣлая поэма глубоко-религіознаго содержанія, написанная библейскимъ языкомъ. „Осень“ — тоже цѣлая лирическая поэма,

отличающаяся вѣрностію красокъ и богатствомъ національных элементовъ. Она особенно знакомитъ съ личностію самого поэта.

Кромѣ пьесъ, о которыхъ мы сейчасъ упоминали, особенно замѣчательны: „Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума“, „Пажъ, или пятнадцатилѣтній король“, „Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила“, „Подражаніе итальянскому“, „Подражаніе арабскому“, „Романсъ“ и „Альфонсъ“. Всего менѣе можно быть довольну пьесою „Родригъ“: это что-то недоконченное, въ родѣ тѣхъ испанскихъ балладъ, которыя давно уже прискучили.

Десятый томъ содержитъ въ себѣ прозаическія статьи: „Арапъ Петра Великаго“, „Лѣтопись села Горохина“, „Дубровскій“, „Египетскія ночи“ и „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“. Изъ нихъ повѣсть „Дубровскій“ совершенно новая и доселѣ неизвѣстная публикѣ. Это одно изъ величайшихъ созданій генія Пушкина. Вѣрностію красокъ и художественною отдѣлкою она не уступаетъ „Капитанской дочкѣ“, а богатствомъ содержанія, разнообразіемъ и быстротою дѣйствія далеко превосходитъ ее. Она значительна и объемомъ своимъ, ибо заключаетъ въ себѣ 138 страницъ.

Одиннадцатый томъ содержитъ въ себѣ мелкія статьи, изъ которыхъ особенно интересна превосходная статья „Ломоносовъ“; примѣчательны статьи: „Шоссе“, „Москва“ и „Лордъ Байронъ“; но остальные блѣдны, вялы и похожи на какіе-то недоконченные очерки.

Во всякомъ случаѣ, издатели выполнили свое дѣло совѣстливо и исправно. Если бы кому-нибудь показалось въ этомъ изданіи что-нибудь сомнительнымъ, тотъ можетъ ожидать поясненія только отъ опеки, которая завѣдываетъ всѣмъ, оставшимся послѣ Пушкина, и которая, вѣроятно, при послѣднемъ томѣ, если только она напечатаетъ его, отдастъ отчетъ публикѣ во всемъ изданіи. Три послѣдніе тома изданы очень опрятно, даже красиво, а въ сравненіи съ первыми восемью томами, великолѣпно и роскошно. Мы думаемъ, что за все это издатели заслуживаютъ искреннюю благодарность со стороны публики.

Но не всѣ такъ думаютъ. Только что успѣло появиться объявленіе о прекрасномъ предпріятіи гг. Глазунова и Занкина, какъ уже и было встрѣчено бранью одной газеты, которой мы не назовемъ теперь; когда же понадобится, укажемъ на номеръ и страницу. Благородное предпріятіе гг. Глазунова и Занкина, обрадовавшее всѣхъ, не понравилось этой газетѣ, и она поспѣшила противостать даже объявленію о семъ предпріятіи съ такою запальчивостію, какъ будто бы дѣло шло о ея собственной жизни и смерти. Протестъ этотъ благонамѣренная газета публиковала статьей, которая возмущаетъ душу своимъ неуваженіемъ къ имени величайшаго поэта Россіи и совершеннымъ забвеніемъ всякаго приличія. Послушайте, что сказала она:

„За нѣсколько лѣтъ предъ симъ принимаема была подписка во всѣхъ концахъ Россіи на *Послѣднія сочиненія А. С. Пушкина*. Мы думали, что получили все, написанное Пушкинымъ; но когда сочиненія вышли въ свѣтъ, оказалось, что въ нихъ пропущены были многія отличныя стихотворенія, бывшія уже напечатанными въ собраніи, посвященъ заглавію: *Мелкія стихотворенія*. Мало этого: послѣ выхода въ свѣтъ восьми частей сочиненій Пушкина, въ журналахъ начали появляться сочиненія въ стихахъ и прозѣ, приписываемыя А. С. Пушкину, не напечатанныя въ вышедшихъ въ свѣтъ восьми томахъ, а теперь издаются три новые тома (9, 10 и 11) подъ заглавіемъ: *Послѣднія сочиненія А. Пушкина*. Кажется, лучше бы издать все *вмѣстѣ*, при первой подпискѣ, а если не все было тогда собрано, то не лучше ли было бы подождать, но во всякомъ случаѣ не размѣщать вновь найденныхъ сочиненій по журналамъ, когда намѣревались издать ихъ особо. Носятся слухи, что еще находятся въ рукописи сочиненія Пушкина, и между прочимъ, матеріалы къ жизни Петра Великаго. Ужели и это должно сперва упитать журналы, а потомъ быть пущено въ свѣтъ особо?“

Не знаемъ, до какой степени все это справедливо; но все это нисколько не должно и не можетъ относиться къ гг. Глазунову и Занкину, потому что таково было распо-

раженіе опеки, установленной надъ дѣтьми и имѣніемъ Пушкина... Мы полагаемъ, вина гг. Глазунова и Занкина не та, а гораздо тяжелѣе. Видите ли, въ объявленіи объ издаваемыхъ ими трехъ частяхъ сочиненій Пушкина они осмѣлились сказать, что „имя Пушкина принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ именъ, которыя всякій русскій произноситъ съ гордостью и чувствомъ *любочайшей благодарности*“. Какая дерзость, въ самомъ дѣлѣ! И вотъ означенная газета пересчитываетъ всѣ великія историческія имена, которыя Россія произноситъ съ гордостью и благодарностью, какъ будто бы это мѣшаетъ ей воздавать равное и великому имени Пушкина. Мало того: газета кричитъ изо всей мочи, что Ломоносовъ создалъ правила языка, что Карамзинъ научилъ всѣхъ писать прозою, и пѣвое поколѣніе заставилъ полюбить отечественную исторію; но что Пушкина будто бы мы (?) любимъ только за *ладкій, бойкій стихъ и за сладость, сообщенную имъ русскому питическому языку*; что онъ первый между легкими нашими поэтами, и что, вслѣдствіе всего вышереченнаго, мы не обязаны ему *любочайшею благодарностью!!..* „Можно ли (преостроумно замѣчаетъ газета) оказывать одинаковую благодарность и доктору, спасшему жизнь, и милому челоуѣку, накормившему сладко“?... Но чувствительнѣе всего задѣли газету эти слова объясненія: „Какъ вѣрный, истинный представитель русскаго духа, Пушкинъ у насъ не имѣетъ соперниковъ; какъ поэтъ вдохновенный, онъ превосходитъ всѣхъ другихъ русскихъ стихотворцевъ оригинальностію мысли, силою выраженія и особенною прелестію стиха, до него неизвѣстною“ я: „проза его есть верхъ совершенства“. Вотъ какъ газета опровергаетъ эти неопровержимыя по своей очевидности, цѣлымъ народомъ утвержденныя и признанныя истины:

„Державинъ, Карамзинъ и Крыловъ, какъ представители русскаго духа — выше Пушкина, а прелесть стиха была извѣстна и до Пушкина, въ стихахъ В. А. Жуковскаго, *хотя въ этомъ отношеніи Пушкинъ точно выше всѣхъ*. А куда помѣстить прозу Карамзина, Жуковскаго? Ужели ниже? Нѣтъ, и сто разъ нѣтъ! Проза Карамзина и Жуковскаго

гораздо выше прозы Пушкина.—Богѣ не станемъ говорить объ объявленіи!“

Очень доказательно, коротко и ясно—по-шемякински!.. Однако мы все-таки постараемся еще богѣ уяснить этотъ вопросъ, не для сочинителя статьи—о, нѣтъ! игра не стоила бы свѣчъ,—и даже не для образованной части публики: она давно ужъ не вѣритъ газетамъ, подобнымъ вышеозначенной,—а для тѣхъ читателей, которыхъ газета, какъ кажется, имѣла въ виду. — Честь и слава Ломоносову и Державину, Карамзину и Крылову—честь и слава: ихъ заслуги велики, ихъ имена безсмертны; но они именно тѣмъ и разнятся отъ Пушкина, что каждый изъ нихъ выразилъ извѣстную сторону духа русскаго, а въ духѣ Пушкина слились всѣ стихіи, отразились всѣ стороны русскаго духа; Пушкина нѣтъ въ Ломоносовѣ, Державинѣ, Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ, Грибоѣдовѣ, но они всѣ въ Пушкинѣ. Что же до прозы Пушкина,—правда, Карамзинъ приучалъ русскую публику къ чтенію русскихъ книгъ, и его проза до изданія „Исторіи Государства Россійскаго“ уступать сладостной, гармонической прозѣ Жуковскаго и Батюшкова,—за то въ русской литературѣ нѣтъ ничего выше его исторической прозы, кромѣ „Исторіи Пугачевского бунта“, перомъ Тацита писанной на мѣди и мраморѣ!.. Въ „Капитанской дочкѣ“, „Пиковой дамѣ“, „Кирджали“ и разныхъ журнальныхъ статьяхъ Пушкинъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ подобныхъ родахъ сочиненій. Легкость стиховъ Пушкина—легка только для верхоглядовъ, а не для людей, которые умѣютъ вглядываться въ глубину предметовъ. Тяжеловатость отнюдь не есть признакъ и условіе достоинства въ поэзіи: иначе „Петріада“ Ломоносова, „Россіада“ и „Владиміръ“ Хераскова, „Александрида“ Свѣчина, „Дмитрій Самозванецъ“ г. Булгарина и „Черная Женщина“ Греча—были бы величайшими созданіями искусства. Французскій *пъсенникъ* (*chansonnier de France*) Беранже еще легче Пушкина; но его легкія пѣсни, какъ электрическія искры, потрясаютъ Францію отъ одного конца до другого,—и его, по прекрасному выраженію Жюль-

Жанена, Наполеонъ изъ глубины своего гроба привѣтствовалъ царемъ поэтовъ. У Пушкина всего легче эпиграммы; но многіе знавали прежде, помнятъ еще и теперь, какъ тяжелы эти эпиграммы: это-то обстоятельство, можетъ быть, и заслоняетъ отъ иныхъ величіе поэтического гения Пушкина...

Если уже одно объявленіе объ изданіи трехъ послѣднихъ томовъ „Сочиненій Пушкина“ могло возбудить такую выходку,—какъ же нѣкоторыя газеты и нѣкоторые литераторы и любители русской словесности встрѣтятъ теперь эти самые три тома?.. Для того-то и поспѣшили мы расчестъся съ этими господами ранѣе, чтобъ потомъ уже хладнокровно смѣяться надъ ихъ похвальными усиліями поколебать треножникъ, на которомъ горитъ пламя поэзіи великаго національнаго поэта...

И такъ, теперь Пушкинъ изданъ почти весь; публика его читаетъ и перечитываетъ, ожидая сужденій критиковъ. Богъ вѣсть, дождется ли она ихъ когда-нибудь; но мы увѣрены, что ей долго ждать, потому что знаемъ нашихъ такъ называемыхъ критиковъ и критикановъ:—народъ глубокомысленный, со свѣтлыми взглядами, съ живымъ словомъ... Иной заговорить, что Пушкинъ уже отжилъ свой вѣкъ; иной провозгласить, что онъ великъ только на мелочи; одинъ будетъ утверждать, что все достоинство поэзіи Пушкина заключается въ легкой версификаціи; другой объявить во всеуслышаніе, что у Пушкина нѣтъ ни одной европейской мысли, какъ у его пріятеля г. А., г. Б., г. В. и т. д., третій откроетъ за тайну, что Пушкинъ безправствененъ; четвертый, что Пушкинъ не народенъ, увлекался обольщеніями лукаваго Запада, а не черпалъ своихъ вдохновеній изъ суздальскихъ лубочныхъ литографій и, подобно какому-нибудь риомотворцу, въ надутыхъ и холодныхъ стишонкахъ не кричалъ о смерти и гніеніи Европы. Однимъ словомъ, будутъ прекуръезныя критики... Но мы—что же будемъ дѣлать мы?.. Ужъ, конечно, не слушать этихъ господъ, сложа руки... Пусть стрѣляютъ въ насъ и косвенными намеками и статьями, въ родѣ юриди-

ческих бумаг известнаго рода... Пусть толкуютъ о какихъ-то критикахъ, которые, не зная по-нѣмецки, изъ третьихъ рукъ перевираютъ Гегеля. Пусть!.. Мы будемъ идти своею дорогою, не замѣчая криковъ и брани. Публика уже разсудила и ихъ и насъ. Публика знаетъ, что въ журналистикѣ нѣтъ публичныхъ экзаменовъ, не нужны учепые дипломы, нуженъ умъ, талантъ и знаніе, независиміе отъ экзаменовъ и дипломовъ, и что только зависть, невѣжество, незнаніе приличій могутъ отважить кого-нибудь на произвольное и ничѣмъ не доказанное обвиненіе въ познаніи языка или какой-нибудь науки... Да если бъ и такъ когда-нибудь и гдѣ-нибудь было, что-жъ тутъ худого?—Конечно, знаніе языковъ и ученость—великое дѣло въ критикѣ; но публика предпочитаетъ умную статью хотя бы и не Богъ знаетъ какого ученаго критика—нелѣпой статьѣ ученаго невѣжды; голосъ истины и свободнаго убѣжденія, живо и съ энергіей высказываемаго, предпочитаетъ апатическимъ бреднямъ отсталаго труженика науки, надутаго педанта, бездарнаго витязя фоліантовъ и буквъ. Что дѣлать! публика—женщина, а прихоть составляетъ характеръ женщины; это ея вдохновеніе... И такъ, несмотря ни на кого, о полномъ собраніи сочиненій Пушкина „Отечественныя Записки“ скоро представятъ статью, а можетъ быть, и цѣлый рядъ статей...

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1841 г.

*) Письмо къ издателю объ изданіи сочиненій Пушкина.

На-дняхъ я прочелъ послѣдніе три тома сочиненій Пушкина. По первому взгляду видно, что издатели хотѣли сохранить всякую черту поэта. Такъ и должно быть! Такъ издаютъ въ Европѣ Гёте, Байрона и всѣхъ великихъ писателей. Для истинныхъ почитателей гения это величайшій подарокъ и заслуга: они думаютъ, что всякая мысль его есть завѣтъ потомству. Когда поприще совершенно имъ, когда всѣ отношенія земныя кончились для него, никто не имѣетъ права считать то или другое произведеніе его, тѣмъ

*) „Москвитинъ“ 1841 года. Часть 5-я. № 10. Письмо къ издателю объ изданіи сочиненій Пушкина“. Статья Н. Добр—на.

болѣе въ полномъ изданіи, достойнымъ остракизма. Здѣсь нѣтъ мѣста мысли о выборѣ: здѣсь должно быть все; chefs-d'oeuvre предоставляются хрестоматіямъ. Стихъ Пушкина не романъ или юмористическая статейка какого-нибудь г. А. или В. или З. съ компаніей, до которыхъ — существуютъ они или нѣтъ—ровно нѣтъ никакого дѣла искусству. Вотъ почему очень жаль, что, по какому-то странному недосмотру, въ изданіи Пушкина, которое, вѣроятно, не скоро возобновится, пропущены многія пьесы; межъ тѣмъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ недавно были напечатаны и даже перепечатаны. Нѣтъ, напримѣръ, этого стихотворенія, дышащаго всею полнотою человѣческаго чувства:

Нѣтъ, нѣтъ! не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться.

и проч. Оно было помѣщено въ „Альманахѣ“ г. Владиславлева.

Нѣтъ стихотворенія „Признаніе“ (Ал. Ив. О—ой), за своевольное напечатаніе котораго въ „Библіотекѣ для Чтенія“ нѣкогда вступилась опека, учрежденная надъ дѣтьми и имуществомъ покойнаго поэта.

Нѣтъ стихотворенія *Русскому Геснеру*:

Куда ты холоденъ и сухъ!
Какъ слогъ твой чопоренъ и блѣденъ!
Какъ въ изобрѣтеняхъ ты бѣденъ!
Какъ утомляешь ты мой слухъ!
Твоя пастушка, твой пастухъ
Должны ходить въ овчинной шубѣ;
Ты ихъ морозишь налегкѣ!
Гдѣ ты нашелъ ихъ: въ шустерь-клубѣ
Или на Красномъ кабачкѣ?

Оно было напечатано въ какой-то антологіи или хрестоматіи двадцатыхъ годовъ, и перепечатано, помнится, въ „Московскомъ Телеграфѣ“.

Нѣтъ стихотворенія *Циклонъ*:

Языкъ и умъ теряя разомъ,
Гляжу на васъ единымъ глазомъ.
Единый глазъ въ главѣ моей.
Когда-бъ судьбы того хотѣли,
Когда-бъ имѣлъ я сто очей,
То всѣ бы сто на васъ глядѣли.

Оно напечатано вмѣстѣ съ другими французскими и нѣмецкими стихами, сдѣланными на тотъ же случай, въ немногихъ экземплярахъ. Я имѣлъ удовольствіе видѣть одинъ изъ нихъ, и читалъ между ними русскіе стихи И. А. Крылова, которыхъ, къ сожалѣнію, не могу припомнить.

Для полноты слѣдовало бы напечатать благородный, какъ все, что выходило изъ-подъ пера Пушкина, отзывъ на критику „Исторіи Пугачовскаго бунта“, помѣщенную въ „Сѣверной Пчелѣ“ или „Сынъ Отечества“; отзывъ этотъ напечатанъ въ первомъ году „Современника“. Слѣдовало бы позаботиться отыскать стихи, которые такъ начинались:

Не знаю гдѣ, но не у насъ
Живалъ какой-то лордъ Мидасъ.

и проч. Можетъ быть, память мнѣ измѣняетъ, и я какъ-нибудь перепачкалъ эти два стиха; но знаю навѣрное, что они были приводимы, въ подтвержденіе какой-то мысли, на выдержку въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ 1827 или 1828 года.

Нельзя было пропустить отрывка изъ романа, напечатаннаго въ 1-мъ томѣ „Сто русскихъ литераторовъ“, несмотря на всю летучую легкость его. Когда дѣло идетъ о Пушкинѣ, мы хотимъ видѣть его всего. Для насъ въ немъ нѣтъ мелочей, будетъ ли это легкая журнальная отмѣтка или неоконченный стихъ. Мы хотимъ съ полною любовію взглянуть въ великій образъ поэта, вслушаться во всѣ его сужденія и внимательно прослѣдить всѣ фазы его мысли. Не говорю о тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя по разнымъ отношеніямъ не вошли въ составъ полнаго изданія и, какъ говоритъ Денисъ Давыдовъ „не могли тогда и не могутъ теперь показаться на инспекторскій смотръ цензурнаго комитета“, и которыя поэтому должны довольствоваться карманною или рукописною славой. Но тѣ, которыя когда-либо напечатаны были и всѣмъ извѣстны, какъ стихотворенія Пушкинскія, никѣмъ никогда ни по какому праву исключаемы быть не могутъ. Это собственность почитателей поэта; это часть сокровищницы, которую безкорыстно оставляетъ великій человѣкъ истиннымъ друзьямъ своимъ.

И. Добр—нъ.

*) Сочиненія А. Пушкина. Тома 9, 10 и 11.

Три послѣдніе тома „Сочиненій Пушкина“, наконецъ, явились въ свѣтъ. Кто, любя искренно русскую поэзію, не бросится на нихъ со всею жадностію раздраженнаго ожиданія? Это, вѣдь, послѣднее, что намъ и всей Россіи осталось отъ нашего незабвеннаго художника, котораго мы такъ рановременно, такъ ужасно потеряли.

Читая ихъ, мы какъ будто вступаемъ въ богатую, разнообразную мастерскую ваятеля, который, въ самомъ разгарѣ своей художественной дѣятельности, былъ застигнутъ смертію, и насильственно покинулъ рѣзецъ неутомимый. Его уже нѣтъ, но духъ его и рука невидимо присутствуютъ повсюду. Тамъ изъ дикой груды чуднаго мрамора начинаютъ выходить стройныя группы; великія мысли въ нихъ разоблачаются, но смерть внезапно сковываетъ движеніе массы; здѣсь нѣсколько разнообразныхъ эскизовъ набросано торопливою рукою увѣреннаго въ силахъ своихъ художника; тамъ, надъ туловищемъ нетронутаго мрамора, поднялась прелесть-голова, и ниже мраморъ начиналъ уже волноваться, и грудь начинала дышать подъ напѣтиемъ вдохновеннаго рѣзца, и все прервано неожиданнымъ холодомъ смерти; когдѣ профили, части тѣла, счастливые удары руки, намечавшіе что-то—и все или недовершено или недокончено! Вы не можете довольно налюбоваться чудными формами; вы удивляетесь той власти, съ какою художникъ, въ полной порѣ развитія, покорялъ упорный мраморъ волшебному рѣзцу своему; глубокія думы осаждаютъ васъ при видѣ сихъ неоконченныхъ произведеній—и вы, насладившись тѣмъ, что въ нихъ довершено, хотите смѣлою мыслию отгадать, что бы еще было?.. Куда бы понеслась далѣе фантазія художника? Всюду, съ полнымъ наслажденіемъ изящнаго, сливается тяжелое чувство грусти о томъ, сколько утратъ понесено искусствомъ, сколькихъ надеждъ мы лишились! А когда вспомнишь, что этотъ художникъ былъ первый поэтъ русскій, гениально отгадавшій тайну нашей народной поэзіи; что его мастерская была наша русская жизнь, въ которой

*) „Москвитининъ“ 1841 г., ч. 5-я, № 9. Статья С. Шевырева.

онъ наиболѣе черпалъ свои вдохновенія; что этотъ чудный мраморъ, покорявшійся мѣткой рукъ его, былъ наше русское слово, котораго поэтическую тайну онъ постигъ и унесъ съ собою.... О! тогда чувство грусти одолеваетъ насъ сильнѣе, чѣмъ всѣ прочія, и четырехлѣтняя рана незабвенной утраты оживаетъ въ насъ еще съ большею силою, чѣмъ когда-нибудь.

Вотъ первое впечатлѣніе, которое произвели на насъ послѣдніе три тома „Сочиненій Пушкина“, и которое вмѣстѣ съ нами, конечно, раздѣляютъ всѣ любители поэзіи и славы нашего отечества.

Да, чѣмъ болѣе изучаемъ мы произведенія Пушкина, особенно послѣднія, чѣмъ болѣе вглядываемся во все окружающее насъ въ современной русской литературѣ, — тѣмъ болѣе чувствуемъ, что потеря наша незабвенна. Но, успокоивъ чувство грусти, посвятимъ самое глубокое вниманіе изученію послѣднихъ плодовъ его творческой дѣятельности; постараемся вникнуть въ то направленіе, какое принялъ поэтъ въ послѣдніе годы своей жизни; постараемся здѣсь опредѣлить его характеръ, ибо здѣсь, какъ видно по всему, онъ былъ въ самой могучей порѣ своего развитія, — и осмѣлимся хотя слегка приподнять завѣсу будущаго, которую навсегда закрыла отъ насъ неумолимая рука смерти.

Еще за нѣсколько лѣтъ до своей кончины поэтъ, первый мастеръ русскаго стиха, побѣдительно усвоилъ собѣ и русскую прозу, и равно искусно владѣлъ обѣими формами отечественной рѣчи, умѣя, какъ никто другой въ литературѣ нашей, полагать самыя строгія границы между русскими стихами и русскою прозою.

Но эти двѣ формы, рѣзко отличенныя другъ отъ друга, никогда имъ не сливаемыя, какъ мы докажемъ послѣ, и всегда поддерживаемыя въ равной степени ихъ относительнаго достоинства, не безъ особеннаго значенія являются подъ перомъ Пушкина въ позднѣйшихъ его произведеніяхъ. Онъ служитъ выраженіемъ для двухъ главныхъ направленій, которыя въ послѣднее время принялъ духъ его. Стихами изображалъ онъ тотъ міръ идеально прекрасный, гдѣ

было первоначальное назначеніе Пушкина и гдѣ воспиталась его вдохновенная муза; прозу предоставлялъ для того міра живой дѣйствительности, съ которою опытъ собственной жизни познакомилъ его гораздо позднѣе, — и это знакомство не было избрано гениемъ Пушкина по собственному сознанію, а скорѣе вызвано было потребностію вѣка.

Изъ трехъ томовъ, теперь вышедшихъ, девятый содержитъ стихи Пушкина и представляетъ плоды его первого направленія; томъ десятый заключаетъ въ себѣ прозу, и относится ко второму; наконецъ, томъ одиннадцатый, по формѣ своей принадлежа также къ прозѣ, представляетъ драгоценные матеріалы для его біографіи, знакомить съ образомъ его мыслей о нѣкоторыхъ частяхъ русской жизни, о литературѣ, объ обществѣ и проч. Мы въ своемъ разборѣ пройдемъ всѣ три тома по порядку.

Первый, заключающій въ себѣ стихи, тѣмъ особенно для насъ любопытенъ, что въ немъ соединены и конецъ и начало всей поэтической дѣятельности Пушкина. За стихотвореніями, которыя писаны въ послѣдніе годы его жизни, и представляютъ высшій цвѣтъ стихотворнаго стиля, слѣдуютъ его стихи „лицейскіе“ — любопытные особенно для исторіи его развитія. Здѣсь сходятся такимъ образомъ младенчество поэта съ его полнымъ мужествомъ, — и любопытно видѣть, какъ все то, что пророчилъ о себѣ уже могучій младенецъ, совершилъ вполне развитый мужъ, во всемъ цвѣтѣ силъ своихъ похищенный у насъ смертію.

Читая стихотворенія послѣднихъ годовъ его жизни, нельзя не удивляться тому, до какой степени совершенства довелъ Пушкинъ отдѣлку формъ русскаго стиха. Нѣчего сказать, что русскій языкъ и твердостью, и упругостью своей, и красотой похожъ на каррарскій мраморъ лучшаго сорта; но у Пушкина онъ становится такъ ѣмокъ и покоренъ, какъ никогда еще не былъ.

Стихъ—эта коренная и законная форма поэзіи — соединяетъ въ себѣ, какъ извѣстно, два элемента: музыкальный и пластическій — звукъ и слово. Тогда только онъ достигаетъ полноты своего совершенства, когда обѣ стихіи равно-

мѣрно въ немъ сливаются и ни одна не уступаетъ другой своего преимущества. До Пушкина русскій стихъ прошелъ черезъ двѣ школы. Первая была Державинская; она имѣла характеръ чисто пластическій, мало заботилась о звукѣ и обращала все вниманіе на образъ; рима была у нея въ пренебреженіи; стихъ всегда тяжелъ и нагруженъ: конечно, ни одинъ изъ нашихъ славныхъ поэтовъ не можетъ представить такихъ обильныхъ примѣровъ стихотворной какофоніи, какъ первый мастеръ этой школы, самъ Державинъ. Вслѣдъ за пластическою школою образовалась у насъ школа музыкальная: основатели ея—Жуковский и Батюшковъ. Она обратила все вниманіе на звуки стиха—на ихъ стройное, гармоническое, безостановочное теченіе. Вы помните тѣ времена, когда у насъ толковали о *легкой поэзіи*, и Батюшковъ посвятилъ этому предмету академическое разсужденіе: легкая поэзія—мечта новой музыкальной школы—по словамъ Батюшкова, чистая, стройная, гибкая, плавная, была не что иное, какъ поэзія благозвучная, которая сладко нѣжила ухо новыми свободными звуками, до тѣхъ поръ неизвѣстными въ языкѣ русскомъ. Взгляните на риму этой школы: какая строгая оконченность до послѣдняго звука! Мы не даромъ приглашаемъ *ялѣтъ* на все: она въ самомъ дѣлѣ существуетъ не для одного слуха, но и для глаза. Она не пользуется даже счастливымъ свойствомъ нашего языка, который, по сходству звука, дозволяетъ римовать буквамъ *о* и *а* въ словахъ женскаго окончанія. Но музыкальная школа считала это за ошибку противъ вѣрности звука. Она создала гармонію нашего стиха, послѣ того какъ Карамзинъ создалъ гармонію нашей прозы. Введеніемъ всевозможныхъ примѣровъ она развила музыкальный элементъ поэзіи отечественной въ разнообразнѣйшихъ видахъ. Но поэзія образовъ много была забыта въ этой школѣ, и уступала поэзіи звуковъ.

Изъ этой-то школы вышелъ Пушкинъ. Отъ нея, по закону преданія и наслѣдія, существующему во всякомъ человѣческомъ развитіи, принялъ онъ стихъ окончанный звукомъ, стройный, гармоническій. Но для Пушкина было этого

мало. Ученикъ того поколѣнія, которое непосредственно ему предшествовало, Пушкинъ изучалъ и Державина, какъ видимъ мы во многихъ его „лицейскихъ стихотвореніяхъ“, тѣмъ особенно важныхъ, что они открываютъ намъ тайну первоначальнаго его развитія. Геній Пушкина имѣлъ особенное сочувствіе съ пластическимъ элементомъ поэзіи Державина. Онъ совмѣстилъ въ стихѣ своемъ образъ Державинскій съ звукомъ Жуковского и Батюшкова — и тѣмъ совершилъ изящную форму русскаго стиха, который, въ отношеніи къ образу, достигъ у него до прозрачности аллабастра восточнаго, воздѣланнаго рѣзцомъ Фидіевымъ, въ отношеніи къ звуку — до чистой мелодіи русской, звучащей въ оперѣ великаго Россіи. Для того, чтобы совершить этотъ подвигъ, мало еще было изучать обѣ школы, въ коихъ заключались отдѣльно элементы стиха русскаго: для того потребны были русскій глазъ и русское ухо, которыми Пушкинъ одаренъ былъ въ высшей степени. Подъ именемъ русскаго глаза мы разумѣемъ тотъ вѣрный глазъ, который подмѣчаетъ точно и подробно всѣ образы внѣшняго міра: онъ имѣетъ много сходства съ глазомъ итальянскимъ. Подъ именемъ русскаго уха мы разумѣемъ то особенное сочувствіе къ гармоніи звуковъ языка отечественнаго, которое всегда бываетъ у поэта, вполне надѣленнаго природою. Нѣдобно было послушать, какъ читалъ Пушкинъ русскія пѣсни и свои стихи, чтобы вполне убѣдиться въ томъ, что широкій органъ его голоса былъ совершенно устроенъ по широкому звуку русскаго языка.

Въ Италіи есть поговорка о Рафаэлѣ, что онъ унесъ съ собою въ могилу тайну своихъ красокъ. У насъ можно то же сказать о Пушкинѣ, что онъ взялъ съ собою тайну своего стиха. Странно, что почти все новое поколѣніе нашихъ стихотворцевъ, т. е. выступившее на сцену по смерти Пушкина, нѣтая похвальное неограниченное благоговѣніе къ великому художнику русскаго слова, весьма мало слѣдуетъ преданіямъ формы, какія оставилъ нашъ славный мастеръ, и нисколько не стремится къ тому, чтобы сохранить его краски. Въ этомъ отношеніи, дамамъ слѣдуетъ отдать

преимущество. Мы могли бы представить только одно исключеніе изъ этого общаго замѣчанія; но и тотъ свѣжій талантъ, который за все поколѣніе свое одинъ какъ будто отгадывалъ тайну пушкинскаго стиха, увы!—принадлежитъ къ утратамъ, какія намъ непрерывно суждено оплакивать въ литературѣ нашей.

Есть общее простонародное мнѣніе у насъ, что со времени Пушкина русскій стихъ сдѣлался легокъ и доступенъ для всѣхъ безъ исключенія. Въ самомъ дѣлѣ, кто теперь не пишетъ легкихъ стиховъ? И купцы, и крестьяне, и дѣти. Хотя эта доступность имѣла свою невыгоду въ томъ, что породила многихъ плохихъ стихотворцевъ; но тѣмъ не менѣе заслуга народнаго художника была велика. Пушкинъ, подаривъ стихотворное искусство своему народу во всеобщее безправное владѣніе, тѣмъ много содѣйствовалъ эстетическому образованію и народа своего и языка. У насъ въ малой мѣрѣ совершилось то же самое явленіе, какое давно уже существуетъ на родинѣ европейскаго искусства, въ Италиі, гдѣ правильныя внѣшнія формы поэзіи составляютъ собственность всей націи, гдѣ сонетомъ можетъ владѣть почти каждый.

Да, Пушкинъ снялъ привилегію съ русскаго стиха, пустилъ его въ народъ, но тѣмъ создалъ новую, не для многихъ доступную трудность: ибо тогда красота искусства достигается тяжелѣе, когда общія его формы облегчены для всѣхъ. Вотъ лучшее возраженіе тѣмъ, которые несправедливо обвиняли Пушкина въ томъ, что онъ, облогчивъ для всѣхъ русскіе стихи, тѣмъ будто бы самъ способствовалъ упадку русской поэзіи. Да изучите внимательно стихъ самого Пушкина: какъ онъ безконечно высоко звучитъ надъ всѣми тѣми безчисленными стихами, которые самъ же онъ породилъ въ литературѣ нашей! Какою солнечною яркостію блещетъ онъ передъ всѣмъ тѣмъ, что отъ него же, какъ міриады звѣздъ, получило свѣтъ свой!—Механизмъ русскаго стиха разгаданъ для всѣхъ, но высшая тайна искусства осталась за Пушкинымъ.

Если дагерротипъ сдѣлалъ портретное искусство всена-

роднымъ, то это нисколько не уменьшило достоинства портретовъ кисти Рафаэлевой.

Во всякомъ искусствѣ изящномъ присутствуетъ свобода творческаго духа, подъ которую не поддѣляется никакой самый хитрый механизмъ: она-то составляетъ собственность и тайну генія, которыхъ никакая сила отнять у него не можетъ.

Стихотворная поэзія русская со времени Пушкина находится въ періодѣ всеобщаго владѣнія: она теперь въ рукахъ у всѣхъ. За то хорошіе стихи, достойные самаго великаго мастера, раздаются какъ нельзя рѣже. Лучшіе таланты наши воздѣлываютъ прозу. Такой періодъ бываетъ въ поэзіи всякаго народа неизбѣжнымъ слѣдствіемъ полного устройства и обобщенія художественныхъ формъ. Но за нимъ долженъ послѣдовать другой, когда тайна Пушкинскаго стиха, теперь на время забытая, снова откроется, и сдѣлается собственностію немногихъ.

Если бы мы захотѣли характеризовать все развитіе Пушкинскаго стиха по періодамъ его стиля, то мы пришли бы, какъ намъ кажется, къ слѣдующему заключенію. Пушкинъ вышелъ сначала изъ школы музыкальной — и потому въ стихѣ его первыхъ произведеній звукъ преобладалъ надъ образомъ; но чѣмъ болѣе развивался поэтъ, тѣмъ болѣе стройный звукъ его стиха его превращался въ образъ, не теряя своей звучащей природы... Подъ конецъ поэзія Пушкина, въ отношеніи къ внѣшнимъ формамъ, представляетъ намъ самую полную гармонію русскаго языка, которая постепеннымъ превращеніемъ получила видъ чудной звучащей картины: тутъ звукъ его стиха, продолжая звучать, нарисовался и покрылся самими яркими красками: такимъ является онъ особенно въ послѣднихъ его стихотвореніяхъ, къ которымъ мы теперь переходимъ.

Нѣсколько эскизованныхъ и начатыхъ произведеній теперь передъ нами. Болѣе другихъ довершенъ до конца *Мѣдный Всадникъ*. Вглядываясь во все это, мы сами собою отгадываемъ, какъ бурная внѣшняя жизнь отвлекала художника отъ постоянныхъ занятій любимымъ его искус-

ствомъ; какъ она, вторгаясь въ святилище души его, жѣшала ему исполнѣ развиваться и доканчивать то, что въ ней такъ чудно, такъ творчески зачиналось.—Правда, что эскизованію, недостатокъ полнаго развитія въ отношеніи къ подробностямъ и къ цѣлому, входитъ, какъ общая черта, въ характеристику Пушкина-художника. Всегда, до чудной крайней оконченности совершенный въ отдѣлкѣ внѣшней формы, Пушкинъ не довелъ ни одного изъ большихъ, значительныхъ своихъ произведеній до всей полноты развитія въ цѣломъ, до какой способенъ былъ достигнуть его гений. Въ этомъ отношеніи мы особенно укажемъ на его *Полтаву* и *Бориса Годунова*. *Евгеній Онгунъ*, самое высшее произведеніе Пушкина, всѣхъ болѣе отразившее въ себѣ жизнь, ему современную, эта Одиссея нашего времени служитъ самымъ сильнымъ доказательствомъ въ пользу мнѣнія нашего, потому что въ самомъ зародышѣ этого произведенія главнымъ условіемъ былъ недостатокъ полноты въ цѣломъ. *Капитанская дочка*, напротивъ, всего болѣе противорѣчитъ сказанному нами: это произведеніе лучше другихъ онъ выносилъ—и въ немъ можно было видѣть переходъ къ какому-то еще новому, дальнѣйшему развитію Пушкина, если бы жестокая судьба русской поэзіи не присудила иначе.

Причины этому недостатку полноты развитія въ художественныхъ произведеніяхъ поэта заключаются во многомъ: и въ исторіи поэзіи русской, и въ характерѣ всего нашего образованія (ибо поэтъ зрѣетъ вмѣстѣ со своимъ народомъ), и въ отношеніяхъ, какія существуютъ у насъ между искусствомъ и жизнью, и, можетъ быть, въ стремительномъ, неудержномъ духѣ самого художника, который только порывами предавался искусству, слишкомъ много зависѣлъ отъ впечатлѣній внѣшней жизни, и не могъ спокойно выносить въ себѣ ни одного произведенія. Но тѣ вдохновенія, которыя посѣщали его въ псковскомъ его уединеніи, были полнѣе и развитѣе, нежели тѣ, которыя онъ урывками похищалъ у бурной жизни сѣвера.

Въ *Мѣдномъ Всадникѣ* чудеса русскаго стиха достигли высшей степени.—На первомъ планѣ вы видите здѣсь ма-

стерски набросанную картину петербургскаго наводненія; далѣе, на второмъ планѣ, сумасшествіе молодого Евгенія и эту чудную картину великаго бронзоваго всадника, который съ грохотомъ скачетъ неотступно за безумнымъ. Какимъ чуткимъ ухомъ Пушкинъ подслушалъ этотъ мѣдный топотъ въ разстроенномъ воображеніи юноши! Какъ умѣлъ онъ тотчасъ найти поэтическую сторону въ рассказѣ событія, кѣмъ-то ему сообщенномъ!—Если взглянуть слегка, поверхностно, то, повидимому, между наводненіемъ столицы и безуміемъ героя нѣтъ никакой внутренней связи, а есть только одна наружная, основанная на томъ, что влюбленный юноша въ волнахъ потопа теряетъ свою любезную и все счастье своей жизни. Но если взглянуть мыслящимъ взоромъ внутрь самого произведенія, то найдешь связь глубже: есть соотвѣтствіе между хаосомъ природы, который видите вы въ потоки столицы, и между хаосомъ ума, пораженного утратою. Здѣсь, по нашему мнѣнію, главная мысль, зерно и единство художественнаго созданія; но мы не можемъ не прибавить, что этотъ превосходный мотивъ, достойный гениальности Пушкина, не былъ развитъ до конечной полноты, и потерялся въ какой-то неопредѣленности эскизованнаго, но мастерскаго исполненія.

За *Мѣднымъ Всадникомъ* слѣдуютъ: *Каменный гость*, драматическій эскизъ, и *Русалка*, начало народной драмы. Пушкинъ еще въ 1826 году, послѣ достопамятнаго своего возвращенія, имѣлъ уже мысль написать эти два произведенія, и говорилъ о томъ. Еще былъ у него проектъ драмы „Ромулъ и Ремъ“, въ которой однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ намѣревался онъ вывести волчиху-кормилицу двухъ близнецовъ.

Замѣчательно, что давнишній замыселъ Пушкина о *Каменномъ гостѣ* явился въ краткихъ, рѣзкихъ, сильныхъ очеркахъ. Въ обѣихъ драмахъ, но особенно въ этой, замѣтно весьма пристальное изученіе Шекспира, которому Пушкинъ, какъ видно и по его поэмѣ *Анджело* и по отрывкамъ въ смѣси, продавался особенно въ послѣдніе годы своей жизни. Въ XI-мъ томѣ (на стр. 168) находимъ мы

глубокія его замѣчанія о характерахъ Шекспира въ сравненіи съ характерами Мольеровыми.

Въ „Каменномъ гостѣ“ лицо Лауры чудно создано: она своею дерзостью, рѣшительностію и законизмомъ словъ напоминаетъ нѣсколько подобныхъ лицъ Шекспира; но она возвышенна, въ ней болѣе идеальной поэзіи, и особенно замѣчательно это увлеченіе, эта не погасшая страсть къ Донъ-Жуану, придающая какое-то благородство униженному лицу ея. Последняя черта отгадана въ сердцѣ испанки, дѣвы юга.

Сцены Донъ-Жуана съ Донной Анной напоминаютъ много сцену въ „Ричардѣ III“ между Глостеромъ (Ричардомъ III) и Леди Анной, вдовой Эдуарда, принца Валлійскаго, даже до подробности кинжала, который Донъ-Жуанъ, какъ и Глостеръ, употребляетъ хитрымъ средствомъ для довершенія побѣды. Положеніе совершенно одно и то же: не мудрено, что Пушкинъ, и безъ подражанія, безъ подущенія памяти, сошелся печально въ нѣкоторыхъ чертахъ съ первымъ драматическимъ гениемъ міра.

Но вообще манера вести свои сцены, пріемы драматическаго разговора, его извѣвы и внезапности показываютъ явно, что Пушкинъ въ последнее время много изучалъ Шекспира. Онъ изучалъ его, какъ всѣ великіе драматикки, какъ Гёте и Шиллеръ изучали его же, какъ всѣ славные живописцы XVI и XVII вѣка изучали Микель Анджело.— Въ этомъ отношеніи я укажу еще въ „Русалкѣ“ на монологъ князя при видѣ сумасшедшаго старика. Эти размышленія о безуміи, вложенныя тутъ кстати, напоминаютъ замашку совершенно шекспировскую. Мы приведемъ все мѣсто:

И этому все я виною! Страшно
Умъ лишиться! Легче умереть:
На жертвеца глядимъ мы съ уваженьемъ,
Творимъ о немъ молитвы: смерть ровняетъ
Съ нимъ cadaго. Но человекъ, лишенный
Ума, становится не человекъ.
Напрасно рѣчь ему дана—не править
Словами онъ; въ немъ брата своего

Звѣрь узнаеть; онъ людямъ въ посмѣянье;
Надъ нимъ всякъ воленъ; Богъ его не судить...

Чудное сочувствіе Пушкинъ имѣлъ со всѣми геніями поэзіи всемірной—и такъ легко было ему усвоивать себѣ и претворять въ чистое бытіе русское ихъ изящныя свойства! Это въ Пушкинѣ черта національная: какъ же было ему не отражать въ себѣ характера своего народа!

Возвращаясь къ *Донъ-Жуану*, мы не можемъ пропустить безъ вниманія заключительной сцены. Какъ тотчасъ послѣ преступнаго поцѣлуя поразительна внезапность появленія статуи! Какъ глубоко значительна эта быстрая смѣна преступленія наказаніемъ! Здѣсь самая скорость эскиза помогла художнику. Эта сцена совершенно убѣждаетъ насъ въ томъ, что Пушкинъ глубоко понималъ тѣсную неразрывную связь изящнаго съ нравственнымъ, особенно въ поэзіи воли человеческой, въ драмѣ. Какъ многосмысленно разрѣшается въ этихъ двухъ стихахъ вся разгульная жизнь разврата!

Статуя.

Дай руку.

Донъ-Жуанъ.

Вотъ она... о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!

Но чего лишились мы въ неоконченной „*Русалкѣ*“, которая обѣщала быть однимъ изъ первыхъ, однимъ изъ самыхъ народныхъ произведеній Пушкина! „*Русалка*“, извѣстная опера, сдѣлалась у насъ преданіемъ національнымъ: мудро ли, что Пушкинъ увлекся имъ? Если бы онъ докончилъ это произведеніе,—мы имѣли бы чудную народную драму, въ родѣ фантастическихъ драмъ Шекспира. Здѣсь-то надобно удивляться тому, какъ поэтъ умѣлъ самый простой и грубый матеріалъ возвышать до красоты идеальной. Эта обольщенная дѣвушка, которая топится съ отчаянія и превращается въ мстительную волшебницу, совершенно въ правахъ преданій русскихъ; этотъ мельникъ-воронъ—какая чудная фантазія! Сколько граціи въ свадебныхъ пѣсняхъ, въ хорахъ русалокъ!

Глубокое чувство тоски положено въ основу драмы: этотъ червь унынія есть плодъ преступленія, плодъ нарушенія клятвы, которое такою разительною катастрофой открываетъ драму. Здѣсь былъ сильный, значительный зародышъ; здѣсь-то, сколько смѣемъ отгадывать по неоконченному, поконила драматическая идея произведенія, имѣющая такое же глубокое нравственное значеніе, какъ и идея „Каменнаго гостя“. Какъ бы далѣе разыгралась фантазія художника? Всѣ превращенія „Русалки“ предлагали столько прекрасныхъ мотивовъ для его волшебной кисти. А на какой чудной сценѣ онъ остановился! Свиданіе князя съ русалочкой, его дочерью, ему еще незнакомой, какой граціозный мотивъ для поэта-драматика! И этого даже завистливая судьба насъ лишила!.. Съ тяжкимъ чувствомъ останавливаемся мы на послѣднихъ стихахъ:

Что я вижу!

Откуда ты, прелестное дитя?..

Грустное раздумье беретъ насъ: что бы это было?—

Обѣ драмы представляютъ совершенство драматической формы разговора въ стихахъ. Вотъ что должны бы изучать наши переводчики Шекспира, если жаждутъ передать намъ въ стихахъ произведенія драматика Англіи достойно искусства и достойно языка русскаго.

Галубъ, если бѣ былъ оконченъ, вѣрностью задуманнаго на мѣстѣ характера, сталъ бы выше „Кавказскаго плѣнника“, въ которомъ, на чудномъ кавказскомъ ландшафтѣ, мы видимъ тѣни Байроновскихъ героевъ. Стихи *Галуба*, *Кромшникка*, *Начала поэмы* достигаютъ такой степени совершенства въ отдѣлкѣ, что въ нихъ не знаешь—чему болѣе удивляться: Пушкину ли или русскому языку? Это рѣзецъ Кановы или Тенсрапи, покорившій себѣ до конца всю звонкую твердость нашего мрамора. Мы желали бы расположить характеристику пушкинскаго стиха по эпохамъ стиля, какъ располагаютъ стиль Рафаэля или Гвидо Рени. Это необходимо сдѣлать со временемъ. — Но для того мы должны обратиться къ господамъ издателямъ сочиненій Пуш-

кина. Мы не можем не посѣтовать на нихъ за то, что они, во-первыхъ, многое напечатали съ явными ошибками; во-вторыхъ, перемѣшали сочиненія разныхъ годовъ, и вмѣстѣ съ послѣдними, блпстающими всею роскошью зрѣлаго стиля, поставили рядомъ первыя произведенія юности, посвященныя на себѣ почать его первой манеры, — и, въ третьихъ, не потрудились приложить списка съ означеніемъ годовъ, къ какимъ относятся произведенія. Этотъ послѣдній недостатокъ рѣзко замѣчается и въ восьми томахъ: мы именемъ науки и любовью къ словесности русской заклинаемъ издателей къ послѣднему 12-му тому приложить необходимый списокъ, безъ котораго не можетъ обойтись исторія русской поэзіи.

Въ *Мелкихъ стихотвореніяхъ* сколько драгоценнаго! Мы скажемъ слово объ нѣкоторыхъ. Чудная грація въ антологическихкихъ! Какою свободною мыслию Пушкинъ постигалъ духъ древнихъ, не зная ни одного древняго языка! Въ стихотвореніи М* русское благородное чувство выразилось въ этихъ замѣчательныхъ стихахъ:

Нашъ смиренный гость намъ сталъ врагомъ, и нынѣ
Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной,
Поетъ онъ ненависть: издалика
Знакомый голосъ злобнаго поэта
Доходитъ къ намъ!.. О Боже, возврати
Твой миръ въ его озлобленную душу.

Эта чистая молитва Пушкина исполнилась. — Изъ двухъ не напечатанныхъ сценъ „Вориса Годунова“ первая народная сцена превосходна; мы не понимаемъ, почему она была пропущена въ изданіи драмы; но что касается до второй, до сцены между Мариной и Рузей, мы думаемъ, что Пушкинъ пропустилъ ее умышленно. Характеръ Рузи обрисованъ слишкомъ новыми чертами служанокъ изъ нашихъ комедій. — Въ подражаніяхъ Данту Пушкинъ завѣщалъ намъ образы превосходныхъ русскихъ терцинъ пятистопной и шестистопной длины: удивительно, какъ великій художникъ успѣвалъ во всемъ дать примѣръ и указать путь. Тѣ ошибутся, которые подумаютъ, что эти подражанія

Данту—вольные изъ него переводы. Совѣмъ нѣтъ: содержаніе обѣихъ пьесъ принадлежитъ все самому Пушкину. Но это подражаніе Данту только по формѣ и по духу его поэзіи. Первое изъ нихъ, аллегорическаго содержанія, подражаетъ болѣе по формѣ: это пятистопная русская терцина, совершенно близкая къ Дантовской, съ тою только разницей, что въ ней рими мужскія и женскія перемѣшаны по строгимъ правиламъ русской просодіи. Что касается до аллегорій, въ ней содержащейся, то она къ Данту самому нисколько не относится. — Второе подражаніе гораздо замѣчательнѣе. Оно писано также терциною, однако шестистопною, и потому внѣшнюю формою отходить отъ терцины Дантовской. Но духъ всей этой пьесы и пластическіе стихи, доведенные до высшей степени совершенства, до того напоминаютъ духъ и стиль Данта въ нѣкоторыхъ нѣсняхъ ада, что удивляешься нашему славному автору, какъ умѣлъ онъ съ одинаковою легкостью и свободою переноситься въ духъ древней греческой поэзіи, восточной, въ Шекспира и въ Данта. Многообъемлющему гению Пушкина все было возможно. — Картины печенаго ростовщика и этой стеклянной горы, которая

Звѣня растрескалась колючими звѣздами—

вы не найдете у Данта; но онѣ созданы совершенно въ его духѣ и стилѣ, и онѣ бы самъ, конечно, отъ нихъ не отказался. Все это подражаніе можно назвать дополненіемъ къ XVII, XXI и XXII нѣснямъ его Ада. Но тѣ опять ошибутся, которые подумаютъ, что вся Дантова поэма состоитъ изъ подобныхъ картинъ. Она такъ же разнообразна, какъ міръ Божій и міръ человѣческой, какъ міръ добродѣтели и грѣха. Пушкинъ написалъ подражаніе только тѣмъ нѣснямъ, въ которыхъ Дантъ казнитъ самые низкіе пороки человѣчества: это фламандскія картины въ стилѣ Рубенсаго страшнаго суда. Жаль, что поэтъ нашъ не нарисовалъ намъ чего-нибудь граціознаго или высокаго въ стилѣ Данта: какъ бы ему это было доступно! Его пластическій стихъ имѣетъ много родства со стихомъ славнаго тосканца—и едва ли въ

какомъ-нибудь народѣ можно найти формы столь готовые для передачи красотъ этой поэзіи, какъ въ стихѣ русскомъ, такъ какъ выдѣлалъ его Пушкинъ могучимъ рѣзцомъ своимъ.

Осень есть одно изъ прекраснѣйшихъ стихотвореній, относящихся къ позднѣйшему періоду. Пушкинъ питалъ особенное сочувствіе къ этому времени года, и посвящалъ ему нѣсколько пьесъ. Это чувство едва ли не русское: мы любимъ уныніе въ природѣ, равно какъ въ музыкѣ и поэзіи. То же самое влеченіе къ осени замѣтно и въ Державинѣ, съ которымъ Пушкинъ представляетъ много сходства въ этомъ стихотвореніи: та же яркая кисть въ описаніяхъ, та же проія и шутка, та же внезапность переходовъ отъ мыслей къ мыслямъ, то же употребленіе словъ простонародныхъ.

Въ Перуджин, школѣ младенца Рафаэля, есть знаменитый Pallazzo del cambio, и въ немъ зала, расписанная Петромъ Поруджинскимъ и его учениками. Здѣсь пеленки и колыбель живописца Рафаэля: здѣсь въ первый разъ является кисть отрока генія, и между трудами другихъ учениковъ вы стараетесь отгадать то, что принадлежитъ вдохновенному. Съ какимъ чувствомъ смотришь на первые опыты этой кисти, которая была назначена для „Мадонны“ и „Преображенія“! Съ чувствомъ еще сильнѣйшимъ перечитывали мы лицейскія стихотворенія Пушкина: это его пеленки, его колыбель, гдѣ развивалось могучее младенчество поэта. Это его школа, изъ которой яснѣетъ намъ все первоначальное его развитіе. Къ этому присоединяются и воспоминанія о нашей собственной юности и всего поколѣнія, намъ современнаго: сколько тутъ стиховъ, которые мы помнили наизусть въ прежнее время! Всѣ мы, хотя воспитанные совершенно иначе, праздновали юность свою подъ вліяніемъ музы Пушкина. Читая эти стихотворенія, мы еще разъ подсадовали на издателей. Здѣсь-то особенно надобно было разставить всѣ пьесы въ порядкѣ хронологическомъ, начиная со стиховъ 14-лѣтняго Пушкина; слѣдовало найти самыя вѣрныя списки, призвать на помощь совѣты и память его товарищей, и, наконецъ, сдѣлать выборъ строже, потому что

ходило въ рукописи много стиховъ, которые напрасно приписывались Пушкину. Такія пьесы, какъ: *Красавица, которая нюхала табакъ*, и особенно *Къ Наталью* и *Къ Наташу*, едва ли могутъ быть ему приписаны. Можетъ быть, это шалости его же товарищей. Мы не думаемъ, чтобы Пушкинъ, 14-ти лѣтъ написавшій тѣ прекрасные стихи, которые читаемъ на 389 стран., могъ позволить себѣ такія рѣшмы, какъ: *Наталья и серая, китайца и американца* или подобные стихи:

Свѣтъ Наташа! гдѣ ты нынѣ?
 Что никто тебя не зреть?
 Нѣль не хочешь часъ единый
 Съ другомъ сердца раздѣлить?

Видно большое безвкусіе въ этомъ выборѣ, которымъ оскорбляется память нашего мастера-художника.

Эти стихотворенія замѣняютъ намъ записки объ юности Пушкина. Здѣсь, въ его пѣсняхъ и сердочныхъ дружескихъ изліяніяхъ, можно видѣть, какъ буйно, шумно и весело она развивалась! Какой свободный разгулъ во всѣхъ ея грѣхахъ и шалостяхъ! Какъ все это естественно и вѣрно! Въ ней нѣтъ ни мрачнаго раздумья ни преждевременнаго разочарованія, ничего, что могло бы рѣзко противорѣчить ея природѣ.

Пушкинъ въ стихотвореніи *Городокъ* знакомитъ насъ со своими иноземными учителями. Тутъ видимъ мы Гомера, Виргилія, Горація, Тасса, Расина, Мольера, Руссо, Лафонтена, Парни... Но надъ всѣми беретъ преимущество:

Фернейскій злой крикунъ,
Поэтъ въ поэтахъ первый!

Тутъ входятъ и такія имена, которыхъ мы не желали бы встрѣтить между первыми учителями Пушкина. Онъ не пренебрегаетъ и Лагарпомъ, и тратитъ надъ нимъ время. Въ первые годы юности своей онъ былъ подъ явнымъ вліяніемъ французской поэзіи; даже древнихъ изучалъ черезъ французскіе переводы. Но какъ умѣлъ въ послѣдствіи освободиться изъ-подъ этого вліянія: тѣмъ онъ обязанъ былъ ничему иному, кромѣ своего генія.

Въ лицѣ занимали его и русскія сказки, какъ видимъ по отрывку изъ Бовы-королевича, написанному размѣромъ Ильи Муромца. Такъ объясняется намъ явленіе „Руслана и Людмилы“ и зародышъ въ Пушкинѣ поэта народнаго.

Изъ писателей русскихъ всѣ лучшіе представители изящнаго національнаго вкуса сходятся вліяніемъ своимъ въ его первоначальныхъ стихотвореніяхъ. Жуковскій, Батюшковъ и даже Богдановичъ слышны особенно въ его посланіяхъ, писанныхъ трехстопными ямбами. Сила Державина, съ его особенною рпмою, съ частыми усѣченными прилагательными, съ его любимыми выраженіями, блистаетъ въ переводахъ изъ Оссіана, передѣланнаго Вауръ-Лорміаномъ, и особенно въ *Воспоминаніяхъ о Царскомъ Селѣ*. Замѣчательно, что Пушкинъ читалъ эту пьесу передъ самимъ Державинымъ, какъ онъ намъ о томъ рассказываетъ. Его „голосъ отроческій зазвенѣлъ, и сердце забилося съ упоительнымъ восторгомъ“, когда пришлось ему произнести имя Державина. Понятно, почему, готовясь къ такому впечатлѣнію, онъ написалъ все это стихотвореніе подъ вліяніемъ строя лиры Державина. Та же пышная торжественность и выраженія, напоминающія языкъ его, какъ, напр., *склоняя вътрамъ слухъ, ширяся крылами*.

Да, песь Парнасъ русскій, начиная отъ Ломоносова до непосредственныхъ предшественниковъ Пушкина, участвовалъ въ его образованіи. Онъ есть общій питомецъ всѣхъ славныхъ писателей русскихъ и ихъ достойный и полный результатъ въ прекрасныхъ формахъ языка отечественнаго. Сознаніе этихъ отношеній своихъ къ русскому Парнасу и благодарную память преданія Пушкинъ выразилъ въ стихотвореніи, благородно вѣнчающемъ его могучую юность и свидѣтельствующемъ раннюю зрѣлость его генія: это посланіе Пушкина къ непосредственному его учителю Жуковскому, начинающееся словами: *Благослови, поэтъ!* Здѣсь Пушкинъ рассказываетъ, какъ Державинъ, Дмитріевъ и Карамзинъ благословили его призваніе; здѣсь совершаетъ онъ свою литературную исповѣдь передъ возвышенною душою Жуковского; здѣсь возводитъ онъ свою поэтическую родо-

словную до Ломоносова, до этого *полумощного дива*, отъ котораго по прямой линіи черезъ Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина и всѣхъ около нихъ стоящихъ ведетъ свой родъ все лучшее, свѣтлое племя литературы нашей. Здѣсь же рѣзкими чертами ѣдкой сатиры закладываемы два родоначальника другого, противоположнаго племени, которое также не переводится: это Тредьяковскій.

Желѣзное перо скрипитъ въ его рукахъ,
И тянетъ за собой гексаметры сухіе,
Спондеи жесткіе и дактили тугіе.

■

...Слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ,
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ!

Это посланіе, произведеніе юноши-Алкиды, есть важный документъ въ исторіи русской словесности, указывающій на мѣсто, по праву занимаемое Пушкинымъ среди русскаго Парнасса.

Когда Пушкинъ, воспитавъ музу свою на Аріостъ, Парни и сказкахъ русскихъ, отпраздновалъ пиръ молодого воображенія „Русланомъ и Людмилою“, и вышелъ въ міръ современной существенной жизни,—тогда нашего разгульнаго, веселаго русскаго юношу, покидавшаго міръ своихъ прекрасныхъ мечтаній, встрѣтилъ на Западѣ гений могучій, покорявшій думѣ своей поколѣнія современныя, гений мрачный, пѣвецъ разочарованія и пресыщенія жизнью, провозвѣстникъ отцвѣтанія Запада, пропѣвшій ему первую похоронную пѣснь и отдохавшій мечтою на зарѣ возрождавшейся свободы Греціи. Въ лицѣ Пушкина и Байрона встрѣтились новая, свѣжая, полная юныхъ силъ и подвиговъ, кипящая мечтами Россія и охладѣвшій, разочарованный, уже покидавшій вѣру въ свое грядущее Западъ.

Извѣстно у насъ, что Байронъ произвелъ сильное вліяніе на Пушкина, но до сихъ поръ не опредѣлена у насъ въ надлежащей мѣрѣ ни степень этого вліянія ни разность

между характерами обоихъ поэтовъ. Мы здѣсь не вдадимся въ подробное разрѣшеніе этого вопроса, одного изъ важнѣйшихъ въ исторіи русской поэзіи, а скажемъ только результатъ нашего мнѣнія, чтобы тѣмъ заключить размышленія наши о Пушкинѣ, какъ поэтѣ.

Байронъ и Пушкинъ являются намъ совершенно противоположными по существу ихъ характера. Байронъ—поэтъ чисто лирическій, поэтъ субъективный, уединяющійся въ глубину своего духа и тамъ создающій міръ по своему: Пушкинъ—совершенно противное; мы вовсе не согласны съ тѣми, которые признавали его преимущественно лирикомъ; это поэтъ чисто объективный, предметный, который весь увлеченъ міромъ внѣшнимъ и до самоотверженія способенъ переселяться въ его явленія: это поэтъ для эпоса и драмы. Такая противоположность между существомъ обоихъ поэтовъ была причиною того, что вліяніе Байрона скорѣе вредно было, нежели полезно Пушкину. Оно только нарушало цѣльность и самобытность его поэтическаго развитія. *Кавказскій плѣнникъ*, *Бахчисарайскій фонтанъ* и *Цыганы* наиболѣе пострадали отъ этого вліянія. Что видите вы въ этихъ произведеніяхъ? Два элемента, которые между собою враждуютъ и сойтись не могутъ. Элементъ Байрона является въ этихъ призракахъ идеальныхъ лицъ, лишенныхъ существенной жизни; элементъ же самого Пушкина въ живомъ ландшафтѣ Кавказа, въ жизни горцевъ, въ роскоши восточнаго гарема, въ картинахъ степей Бессарабскихъ и кочевого цыганскаго быта. Самое сильнѣйшее вліяніе Байрона на Пушкина было въ то время, когда онъ писалъ „Бахчисарайскій фонтанъ“: въ этомъ онъ самъ сознается (т. XI, стр. 227), а эта поэма есть, конечно, самое слабое произведеніе Пушкина. Замѣчательно также, что онъ называлъ „Кавказскаго плѣнника“ первымъ неудачнымъ опытомъ характера, съ которымъ насилу сдвинулъ: да, это была тѣнь героев Байрона.

Въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ только одна внѣшняя форма и нѣкоторыя замашки указываютъ на то же вліяніе. Вся глубь картины занята непрерывно смѣняющимся калейдо-

скопомъ всего внѣшняго быта Россіи, всей жизни русскаго народа, взятой наружною ея стороною; это подробный дневникъ самого поэта, веденный имъ въ двухъ столицахъ и внутри Россіи. Самъ Евгенийъ Онегинъ выше всѣхъ героевъ, которые внушены были Пушкину музою Байрона, потому что въ Онегинѣ есть истина, вынутая изъ русской жизни. Это типъ западнаго вліянія на всѣхъ нашихъ свѣтскихъ людяхъ, типъ ходячій, встрѣчаемый всюду: это наша русская апатія, привитая къ намъ отъ безцѣльнаго знакомства съ разочарованіемъ западнымъ.

Созданіе Тани принадлежитъ къ лучшимъ идеаламъ Пушкина, какіе вынесъ онъ изъ самыхъ свѣтлыхъ воспоминаній своей страстной юности.

„Полтава“ была переходомъ отъ вліянія Байронова къ самобытности: произведеніе много потерпѣло отъ этой причины. Главная ошибка въ немъ есть ошибка противъ формы: сюжетъ просился въ широкую драму, а поэтъ сковалъ его въ тиски такъ называемой гражданской поэмы.

Въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пушкинъ явился Пушкинымъ. Здѣсь, равно какъ и въ другихъ его позднѣйшихъ произведеніяхъ, вліяніе Байрона миновало совершенно—и началось скорѣе вліяніе Шекспира, вліяніе менѣе опасное, потому что Шекспиръ духомъ своимъ болѣе согласовался съ духомъ нашего Пушкина, и потому еще, что вліяніе такого поэта, который не заключаетъ себя въ эгоизмъ своего внутренняго духа, а свободно властвуетъ надъ человекомъ и природою, воспріимля ихъ въ свою всеобъемлющую мысль, вліяніе такого поэта, какъ Шекспиръ, не можетъ быть ни сколько вредно ни чьей природѣ, ибо не стѣсняетъ ея свободы. До конца жизни Пушкинъ оставался вѣренъ этому учителю, который открывалъ для его поприща великое грядущее.

Итакъ Байронъ, по нашему мнѣнію, составляетъ весьма вредный эпизодъ въ свободномъ и полномъ развитіи Пушкина. Разность и того и другого еще болѣе очевидна въ прозѣ нашего поэта, къ разбору которой мы теперь переходимъ.

Въ X томѣ напечатаны: *Арапъ Истра Великаго*, начало неоконченнаго романа, *Лѣтопись села Горохина*, *Дубровскій*, *Египетскія ночи*, *Сцены изъ рыцарскихъ временъ*.

Первоначальнымъ назначеніемъ Пушкина былъ міръ чистой поэзіи, хотя созданный изъ яркихъ и роскошныхъ красокъ существеннаго міра, но надъ нимъ возвышенный, идеальный. Этотъ міръ выражался у поэта приличною ему формою—стихомъ, въ которомъ образы природы, просвѣтленные воображеніемъ поэта, и звуки русскаго языка, гармонически сложенные въ его слухъ, сливались въ одно. Позднѣе, требованія современнаго ему вѣка вызвали его изъ идеальнаго міра поэзіи, звучаваго ему стихами, въ міръ дѣйствительной жизни, въ міръ прозы обыкновенной. Великіе примѣры В. Скотта и другихъ современныхъ талантовъ были передъ нимъ. Къ тому же и собственные опыты жизни, занятія исторіею, наблюденія надъ внутреннимъ бытомъ Россіи, могли обратить его на это новое поле, поле не цвѣтущее, но обильное сытною жатвою существенной, нагой истины. Пушкинъ донесъ намъ объ этомъ новомъ своемъ направленіи въ достопамятныхъ стихахъ, которыми заключалъ шестую пѣсню своего „Онѣгина“:

Лѣта къ холодной прозѣ клонятъ,
Лѣта шалунью рѣчю гонятъ.

По природному эстетическому чувству, онъ долженъ былъ отгадать, что новый міръ существенности, обнажавшій передъ нимъ себя, требовалъ отъ него и новой формы, которая бы ему совершенно соотвѣтствовала. Онъ овладѣлъ русскою прозою и далъ ей новый отбѣнокъ. Никто изъ писателей Россіи и даже Запада, равно употреблявшихъ стихи и прозу, не умѣлъ полагать такой рѣзкой и строгой грани между этими двумя формами рѣчи, какъ Пушкинъ. Сколько стихъ его всегда возвышенъ надъ обыкновенною рѣчью, всегда изыщень звукомъ, образомъ, выраженіемъ, оборотомъ, эпитетомъ, всегда отмѣченъ—употребимъ его же сравненіе—какъ червонецъ, чеканомъ свѣтлымъ и звонкимъ,—столько же проза его проста, сильна, истинна и

чужда, какъ жизнь, ею изображаемая, всякаго ненужнаго ей украшенія. Потому-то проза Пушкина не есть какой-то междоумокъ между стихами и прозою, который извѣстенъ подъ именемъ прозы поэтической или, правильнѣе, прозы риторической, который заимствуется отъ стиховъ метафорами и сравненіями, и блещетъ на произведеніяхъ современной намъ литературы, много свидѣтельствуя объ упадкѣ общаго вкуса. У насъ Марлинскій былъ главнымъ представителемъ этого рода прозы, котораго не любилъ Пушкинъ: „никогда не пожертвую краткостію и точностію выраженія провинціальной чопорности“,—сказалъ онъ въ одномъ мѣстѣ. Потому-то проза Пушкина есть проза по преимуществу. Создать ее въ чистотѣ, т.-е. освободить отъ примѣси ей чуждыхъ поэтическихъ украшеній, могъ только тотъ, кто былъ вполнѣ царемъ русскаго стиха и располагалъ его богатствами по волѣ своей, и кто, какъ истинный художникъ, одаренъ былъ тѣмъ мѣткимъ чутьемъ вкуса, которое знаетъ мѣру и вѣсь каждаго въ языкѣ выраженія.

Ту же рѣзкую противоположность умѣлъ наблюдать Пушкинъ и въ содержаніи своихъ произведеній, какую наблюдалъ въ ихъ формѣ. Въ его повѣстяхъ и разсказахъ нѣтъ ничего такого, что бы противорѣчило нагой, прозаической истинѣ дѣйствительнаго міра: все въ нихъ вынуто изъ жизни исторической или современной, и вынуто вѣрно, мѣтко и цѣльно. Но художникъ, обнимавшій душою своей изящное, долженъ былъ чувствовать, что нагая истина этого міра дѣйствительнаго противорѣчитъ сама въ себѣ назначенію искусства, что копировать ее вѣрно и близко—значитъ нарушать призваніе художника. Вотъ почему Пушкинъ не сочувствовалъ нисколько современнымъ рассказчикамъ Франціи, которые съ чувствомъ какой-то апатіи копируютъ жизнь дѣйствительную даже во всей безобразной наготѣ ея. Карикатурить эту жизнь и смѣшать ее Пушкинъ не хотѣлъ, потому что не сознавалъ въ себѣ призванія къ комедіи, потому что въ характерѣ его было смотрѣть на жизнь съ душою важною и строгою, потому

что истина этой жизни, особливо въ его отечествѣ, была для него значительна. Клеймить ея початью грозной сатиры, выливать свое негодованіе отдѣльными тирадами также было не въ характерѣ Пушкина, который не хотѣлъ быть моралистомъ отдѣльно отъ художника, ибо зналъ высокое нравственное призваніе своего искусства и вѣдалъ для морали другія сильнѣйшія средства. Иного способа не оставалось ему, — работая надъ грубымъ матеріаломъ жизни дѣйствительной, надъ міромъ прозы, спасать искусство, какъ въ истинѣ существенной, непривлекательной собою, воплощать истину нравственную, всегда неизмѣнную и придавать такимъ образомъ первой высокое значеніе, достойное художника. Здѣсь то особенно Пушкинъ доказалъ, какъ понимаетъ онъ искусство и какъ глубоко разумѣть онъ ту важную роль, какую нравственное играетъ въ мірѣ изящнаго. Это постигъ онъ и самъ собою и по вѣрнымъ урокамъ своего послѣдняго и лучшаго учителя, Шекспира.

Въ самыхъ значительныхъ повѣствованіяхъ Пушкина, даже въ историческихъ, найдется совершенное оправданіе нашему общему замѣчанію. Всегда на первомъ планѣ выступить передъ нами простое событіе, взятое изъ жизни, истина вѣрная, дѣйствительная, нагая, случайная, живая и яркая; но изъ-за нея безмолвно, невысказанно и какъ будто неумышленно выходитъ истина всеобщая, неизмѣнная, всегда пребывающая въ основѣ жизни человѣческой и общественной, истина, которая спинаетъ съ дѣйствительнаго событія всю пустую ничтожность его случайности и, придавая ему значеніе постоянное и высокое, тѣмъ возводитъ его въ міръ искусства, и спасаетъ призваніе художника. Пушкинъ, какъ изобразитель жизни дѣйствительной, есть также сатирикъ, но сатирикъ, (если можно такъ выразиться), объективный, который уходитъ за свою сатиру и самъ своею мыслію воплощается въ событія, но такъ, что передъ вами раскрываетъ самое зерно его глубокаго значенія въ жизни.

Все сказанное нами всего болѣе повѣряется на одномъ изъ самыхъ лучшихъ прозаическихъ повѣствованій Пушкина, которое мы прочли въ X томѣ, на *Дубровскомъ*.

Два помѣщика жили по сосѣдству въ своихъ помѣстьяхъ: одинъ богатый, знатный, старинный русскій баринъ Троекуровъ; другой бѣдный, но честный и благородный поручикъ гвардіи въ отставкѣ, Дубровскій. Они жили дружно; но вдругъ поссорились. Распря росла; самолюбіе разыгралось—и дѣло кончилось тѣмъ, что помѣщикъ Троекуровъ, сильный деньгами и знатностью, купленнымъ приговоромъ суда отнялъ у Дубровскаго его родовыхъ 70 душъ. Сынъ ограбленнаго бѣдняка, молодой Дубровскій, былъ свидѣтелемъ сумасшествія отца и его ужасной смерти; судъ незаконно ограбилъ его, и онъ долженъ былъ выйти нищимъ изъ наслѣдія отцовъ своихъ. Въ порывѣ отчаянія онъ зажегъ тотъ домъ, гдѣ жили его предки, и откуда изгнало его насиліе, и человѣкъ благородный, съ чувствомъ правды и чести, сдѣлался атаманомъ разбойниковъ: все село пристало къ своему барину. Одна любовь Дубровскаго къ дочери Троекурова оградилъ сего послѣдняго отъ его ужасной мести.

Всѣ эти событія переданы такъ живо и такъ истинно, что вы, читая, не можете оторваться отъ этой яркой, разительной дѣйствительности.

Но изъ-за этого разсказа сама собою выступаетъ истина нравственная, придающая глубокое значеніе всей картинѣ. Этотъ разбойникъ Дубровскій, зачавшійся въ человѣкѣ честномъ и благородномъ, есть плодъ разбойничества общественнаго, прикрытаго закономъ. Всякое нарушеніе правды подъ видомъ суда, всякое насиліе власти, призванной къ устроению порядка, всякое грабительство общественное, посягающее на истинѣ, порождаютъ разбой личный, которымъ гражданинъ обиженный мститъ за неправды всего тѣла общественнаго. Вотъ та глубоко нравственная идея, которая, хотя не высказана отдѣльно, но сама собою яснѣетъ изъ повѣсти Пушкина, и придаетъ ей великую значительность.

Литописъ села Горюхина есть самая ѣдкая сатира на внутреннюю пустоту нашей сельской жизни, на эту жалкую дѣйствительность безъ памятниковъ и безъ прошедшаго.

Египетскія ночи—произведеніе, къ сожалѣнію, не конченное, но идея его уже довольно обнаружилась. Это значительная сатирическая картина тѣхъ отношеній, въ которыхъ у насъ поэтъ находится къ обществу. Чарскій имѣетъ призваніе къ священному искусству: но никакъ не хочетъ признаться передъ свѣтомъ въ томъ, что онъ его имѣетъ, и досадуетъ на тѣхъ, которые обходятся съ нимъ иначе, нежели какъ съ обыкновеннымъ свѣтскимъ человекомъ. Ему противно видѣть эти притязанія общества на поэта, какъ на какую-то свою собственность; ему досадно, когда слѣдятъ и подглядываютъ его вдохновенія, когда заставляютъ его съ перомъ въ рукѣ, когда выпрашиваютъ у него о тайнахъ его музыки, которую онъ ревниво укрываетъ отъ непосвященныхъ взоровъ. Таковъ Чарскій, таковъ поэтъ среди народа, у котораго искусство еще новостъ, и поэтъ какое-то чудо.—Яркая противоположность Чарскому, какъ будто стыдящемуся своего званія, изображена въ итальянскомъ импровизаторѣ, который публично объявляетъ себя поэтомъ, не только не стыдится этого званія, но обращаетъ его въ денежное ремесло. Какъ глубоко схвачена обидчивость Чарскаго, когда итальянецъ назвалъ его поэтомъ, и благородное чувство того же Чарскаго, когда онъ въ незнакомцѣ узналъ импровизатора, и еще болѣе, когда услышалъ его вдохновенныя стихи! Чарскій и импровизаторъ—это Россія и Италія, двѣ страны, изъ которыхъ въ первой искусство еще не пришлось къ потребностямъ общества и, западая въ чью-либо душу, не знаетъ какъ существовать среди предразсудковъ свѣта,—тогда какъ во второй оно уже собственность всенародная, ремесло публичное, объявляемое передъ всѣми и дающее деньги.

Въ Чарскомъ Пушкинъ едва-ли не представилъ собственныхъ своихъ отношеній къ свѣту: онъ не любилъ, когда въ гостиной обращеніемъ напоминали ему о высокомъ его званіи, и предпочиталъ обыкновенное обхожденіе свѣтское.—Въ своей прозѣ онъ нерѣдко говоритъ о томъ ложномъ положеніи, въ которомъ словесность у насъ находится къ обществу.

Жаль, что *Аранъ Петра Великаго* остался недоконченнымъ. Видно, что Пушкинъ изучалъ много въкъ Петра, и готовилъ матеріалы для того, чтобы со временемъ начертать большую и полную картину. И въ томъ немногомъ, что написалъ онъ, сколько отгадано подробностей!

Сцены изъ временъ рыцарскихъ показываютъ, что всѣ времена и народы могли быть доступны для его кисти.

Томъ XI, содержащій въ себѣ *смысь*, представляетъ намъ множество отдѣльныхъ мыслей и рассказовъ Пушкина, которые необходимы для полной его біографіи и характеристики. Здѣсь мы обратимъ вниманіе на то, что намъ кажется особенно замѣчательно.

Его мысли о Москвѣ, о русской избѣ, и о бытѣ русскаго крестьянина въ сравненіи съ иностраннымъ, о дорогахъ въ Россіи, о старинныхъ русскихъ странностяхъ, многіе анекдоты показываютъ, какъ онъ глубоко изучалъ жизнь своего отечества. При этомъ нельзя не пожалѣть, что Пушкинъ не путешествовалъ: много любопытнаго и полезнаго онъ сказалъ бы тогда объ Россіи.

Лестно для насъ мнѣніе Пушкина о московской литературѣ и ея направленіи. Онъ всегда питалъ къ ней особенное благородное сочувствіе. „Москвитянинъ“ съ удовольствіемъ можетъ вспомнить, что Пушкинъ принималъ въ 1828 и 1829 годахъ совершенно безмездное участіе въ изданіи предшественника его, „Московского Вѣстника“, изъ одного уваженія къ духу и направленію журнала.

Должно замѣтить, что статья о Ломоносовѣ не заключаетъ въ себѣ полнаго сужденія Пушкина объ этомъ писателѣ. Мы помнимъ, съ какимъ благоговѣніемъ Пушкинъ говорилъ объ немъ, какъ о создателѣ языка: онъ даже не позволялъ въ присутствіи своемъ сказать что-нибудь противное памяти великаго нашего мастера. Взгляните, какъ величаетъ онъ Ломоносова въ своемъ посланіи къ Жуковскому. Замѣчательно, какъ выставилъ Пушкинъ независимое благородство его, основанное на сознаніи своего достоинства, и щекотливость его въ этомъ отношеніи. — Вы-

пишемъ слѣдующія за тѣмъ строки — урокъ современной словесности:

„Нынѣ писатель, краснѣющій при одной мысли посвятить книгу свою человѣку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному въ общемъ мнѣніи, но который можетъ повредить продажѣ книги или хвалебнымъ объявленіемъ заманить покупателей. Нынѣ послѣдній изъ писаекъ, готовый на всякую приватную подлость, громко проповѣдуетъ независимость, и пишетъ безыменные пасквили на людей, передъ которыми разстилается въ кабинетѣ“.

Пушкинъ ненавидѣлъ новую школу литературы французской; драму Гюго „Кромвель“ называетъ онъ скучною и чудовищною (стр. 66), романъ Альфреда де Виньи „Сепъ-Марсъ“ облизаннымъ (стр. 71). Какъ онъ негодуетъ на нихъ за искаженіе характера Мильтона!

Критика на „Рославлева“ есть новый прекрасный способъ осудить невѣрность характера изображеніемъ ему противоположнаго.

Разсказъ Пушкина о томъ, какъ онъ въ лицѣ читалъ стихи передъ Державинымъ — драгоценная страница для исторіи русской словесности. Сюда же отнесемъ многія мѣста его записокъ: извѣстія о выходѣ въ свѣтъ „Исторіи“ Карамзина и впечатлѣніи, какое произвела она; свѣдѣнія о сочиненіяхъ самого Пушкина по мѣрѣ ихъ появленія. Пушкинъ зналъ, что „Полтава“ и „Борисъ Годуновъ“, лучшія его произведенія въ стихахъ, не имѣли успѣха: онъ самъ объясняетъ причины, по которымъ юныя произведенія поэта болѣе нравятся публикѣ, чѣмъ зрѣлыя; хотя онъ примѣняетъ слова свои къ Баратынскому, но явно, что они могутъ быть примѣнены и къ нему самому:

„Первыя юношескія произведенія Баратынскаго были нѣкогда приняты съ восторгомъ; послѣднія, болѣе зрѣлыя, болѣе близкія къ совершенству, въ публикѣ имѣли малый успѣхъ. Постараемся объяснить тому причины. Первою должно почестъ самое сіе совершенствованіе, зрѣлость его произведеній. Понятія, чувства 18-тилѣтняго поэта еще

близки и сродны всякому; молодые читатели понимают его и съ восхищеніемъ въ его произведеніяхъ узнаютъ собственныя чувства и мысли, выраженыя ясно, живо и гармонически. Но лѣта идутъ—юный поэтъ мужаетъ, талантъ его растетъ, понятія становятся выше, чувства измѣняются—пѣсни его уже не тѣ, а читатели тѣ же, и развѣ только сдѣлались холоднѣе сердцемъ и равнодушнѣе къ поэзіи жизни. Поэтъ отдѣляется отъ нихъ, и мало по малу уединяется совершенно. Онъ творитъ для самого себя, и если изрѣдка еще обнародываетъ свои произведенія, то встрѣчаетъ холодность, невниманіе, и находитъ отголосокъ своимъ звукамъ только въ сердцахъ нѣкоторыхъ поклонниковъ поэзіи, какъ онъ, уединенныхъ въ свѣтѣ. Вторая причина есть отсутствіе критики и общаго мнѣнія. У насъ литература не есть потребность народная. Писатели получаютъ извѣстность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; классъ писателей ограниченъ, и имъ управляютъ журналы, которые судятъ о литературѣ, какъ о политической экономіи, какъ о музыкѣ, то-есть наобумъ, по наслышкѣ, безъ всякихъ основательныхъ правилъ и свѣдѣній, а большею частію по личнымъ расчетамъ.—Въ этихъ глубокомысленныхъ словахъ заключается разгадка послѣднихъ неудачъ самого Пушкина.

Въ другомъ мѣстѣ (243 стр.) онъ излагаетъ причины, почему драма не могла образоваться въ Россіи. Замѣчательно, что въ этихъ причинахъ онъ много сходится съ Горациемъ, который о томъ же говорилъ въ посланіи къ Августу: положеніе Россіи и Рима въ отношеніи къ драмѣ имѣетъ въ себѣ много сходнаго.—Въ этихъ замѣчаніяхъ Пушкина разгадка тому, почему онъ самъ не образовался драматикомъ, имѣя все къ тому призваніе.

Въ замѣткахъ Пушкина объ языкѣ мы видимъ, какъ онъ глубоко изучалъ его—въ самомъ источникѣ, въ языкѣ народномъ. Въ своихъ оправданіяхъ передъ критиками, не изучавшими филологіи, онъ ссылается на древнія русскія пѣсни, какъ на документъ: такъ ссылкою на Киршу Данилова защитилъ онъ свой прекрасный стихъ:

Людская молвь и конскій топъ,

несправедливо осмѣянный въ „Вѣстникѣ Европы“. Пушкинъ не пренебрегалъ ни единымъ словомъ русскимъ, и умѣлъ часто, взявши самое простонародное слово изъ устъ черни, оправдать его такъ въ стихѣ своемъ, что оно теряло свою грубость. Въ этомъ отношеніи онъ сходствуешь съ Дантомъ, Шекспиромъ, съ нашими Ломоносовымъ и Державинимъ. Прочтите эти стихи въ „Мѣдномъ всадникѣ“.

..... Нева всю ночь
Рвалась къ морю противъ бури,
Не одолѣвъ ихъ *буйной бури*...
И спорить стало ей *не въ мочь*...

Здѣсь слова: *буйная буря* и *не въ мочь* вынуты изъ устъ черни; у Ломоносова есть примѣры того же:

Гдѣ нынѣ *похвальба* твоя?

Или:

Никакъ смиритель стѣнъ Казанскихъ?

Державинъ еще болѣе ими изобилуетъ. Пушкинъ, вслѣдъ за старшими мастерами, указалъ намъ на простонародный языкъ, какъ на богатую сокровищницу, требующую изслѣдованій. Выпишемъ драгоценныя слова его (стр. 214):

„Разговорный языкъ простого народа (не читающаго иностранныхъ книгъ и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы, своихъ мыслей на французскомъ языкѣ), достоинъ также глубочайшихъ изслѣдованій“.

Заслуживаютъ особеннаго вниманія отношенія Пушкина къ его критикамъ: онъ не презиралъ критики, какъ сознается самъ; онъ счелъ за нужное даже оправдаться передъ читателями въ томъ, въ чемъ его понапрасну обвиняли. Презиралъ Пушкинъ одни только ругательства и, по примѣру Карамзина, премудро завѣщалъ всякому писателю, сознающему въ себѣ какое-нибудь чувство достоинства: на всѣ придирки и нахальныя ругательства завистливой посредственности, полагающей единственную опору своей славы въ томъ, что она передъ чернью окричить все, что ея выше,—отвѣчать однимъ молчаливымъ презрѣніемъ.

Въ этихъ разборѣ послѣднихъ трехъ томовъ „Сочиненій Пушкина мы набросали только нѣкоторыя черты, имѣющія, по нашему мнѣнью, войти въ полную его характеристику. У насъ и не было въ виду начертать сію послѣднюю, потому что мы хотѣли ограничиться только тѣми произведеніями, которыя теперь вышли и должны необходимо обратить на себя вниманіе публики, если она не забыла любимого своего поэта. Полную же характеристику Пушкина мы охотно вмѣняемъ себѣ въ одну изъ самыхъ значительныхъ и самыхъ пріятнѣйшихъ обязанностей нашихъ. Теперь же мы заключимъ всѣ наши отрывочныя замѣчанія, сдѣланныя по случаю, одною изъ главныхъ мыслей, въ которой заключается точка нашего зрѣнія на поэта.

Пушкинъ, во всемъ томъ, что отъ него осталось, и въ совокупномъ своемъ развитіи, представляетъ намъ много поразительнаго сходства съ его народомъ и страной: такъ и должно быть, ибо гений въ словесности всегда бываетъ зеркаломъ жизни своего отечества. Тотъ же гениальный умъ, кипящій чудными, внезапными мыслями, но не имѣющій всѣхъ необходимыхъ условій образованія для того, чтобы ихъ исполнить. Тотъ же неукротимый, стремительный духъ, то же порывистое, своенравное развитіе; тѣ же мгновенныя вдохновенія, безъ твердаго хода и постоянства. Та же прелесть въ отдѣлкѣ наружныхъ формъ, какими блещутъ обѣ наши столицы, достойныя соперницы всѣхъ европейскихъ, и тотъ же недостатокъ внутренняго развитія. Въ отношеніи къ содержанію произведеній та же противорѣчащая смѣсь: міръ идеаловъ, міръ прекрасныхъ мыслей, сильныхъ зародышей, міръ великихъ надеждъ на грядущее,—и міръ еще праздною, тяжелой, грубой дѣйствительности, до которой не достигла мысль, выше дѣющая. Въ отношеніи къ совокупности цѣлаго этихъ произведеній: тѣ же чудныя массы, готовые колонны, или стоящія на мѣстѣ или ждущія руки воздвигающей, доконченныя архитектурныя, выдѣланныя рѣзцомъ украшенія и при этомъ богатый запасъ готоваго дивнаго матеріала... Да, да, вся поэ-

зіа Пушкина, какъ современная ему Россія, представляетъ чудный, богатый эскизъ недовершеннаго зданія, которое народу русскому и многимъ вѣкамъ его жизни предназначено долго еще, долго строить — и кто же изъ насъ съ чувствомъ надежды не прибавить?—и славно докончить.

С. Шевыревъ.

* * *

*) Неизобразимая грусть овладѣла сердцемъ, когда мы положили передъ собою три послѣдніе, вышедшіе въ прошедшемъ году тома „Сочиненій Пушкина“, *послѣдніе*—окончательный расчетъ его съ людьми, памятникъ, поставленный на могилѣ поэта, голосъ, долетающій къ намъ уже изъ-за предѣловъ гроба и на вѣки умолкающій. Горестна, невыносимо-горестна мысль, что мы не услышимъ уже болѣе вѣщей рѣчи Пушкина, что звуки навѣки улетѣли изъ его вдохновенной лиры, и она, осиротѣлая, съ порванными струнами, брошена на его преждевременную могилу! Провидѣніе непостижимое! неужели справедливо оскорбляющая твое величіе мысль, что все прекрасное здѣсь непрочное, все великое мимолетный гость въ мірѣ? Нѣтъ! Смирямъ сердце предъ непостижимою тайною, но можемъ ли не грустить, не скорбѣть о нашемъ Пушкинѣ? Скоро исполнится пять лѣтъ, какъ мы потеряли его, и въ сіи пять лѣтъ тѣмъ полнѣе могли мы оцѣнить великость потери нашей, что ни одна *мира* ни одинъ *юноша* не отозвались у насъ звуками, хоть сколько-нибудь равными тѣмъ упительнымъ звукамъ, какими дѣлѣялъ насъ великій поэтъ нашъ. Послѣ Державина не являлось другого Державина, послѣ Пушкина не явился еще другой Пушкинъ.

Тѣнь поэта не упрекаетъ невнимательностью и неблагодарностью современниковъ—нѣтъ! Пушкинъ принадлежалъ къ числу поэтовъ, которыхъ при жизни ихъ понялъ и оцѣнилъ вѣкъ ихъ. Съ какими нетерпѣніемъ ждали мы всегда его поэтической рѣчи, какой восторгъ всегда про-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1842 г., т. 5. Статя Н. Полевого.

изводила она! Не доказательство ли, что ни въ какое время нѣтъ безвременна великому истинному дарованію? Оно всегда во время, небесный гость съ знаменіемъ генія на челѣ. Но если люди спорятъ еще за удивленіе, за восторгъ свой, пока такой посѣтителъ земли тѣснится еще въ толпѣ ихъ; споръ мгновенно умолкаетъ, когда, отдѣлясь отъ нея, онъ устремляется незримымъ орломъ по поднебесью. Смерть такихъ людей бываетъ первымъ шагомъ къ ихъ безсмертію, и едва могла приметъ ихъ бранные останки, едва земля возьметъ земное, начинается апоэозъ безсмертнаго, не умирающаго съ ними. Смерть Пушкина была общею горестію отечества: ее почтили участіемъ великій монархъ Россіи, ее оплакивали равно и въ великолѣпныхъ чертогахъ и въ бѣдной хижинѣ. Русскій народъ единодушно плакалъ на могилѣ своего великаго, своего любимаго поэта.

По кончинѣ его всѣ нетерпѣливо ожидали изданія его *полныхъ сочиненій*, хотѣли видѣть и слышать все, что успѣлъ высказать Пушкинъ, требовали, чтобы *ничто* не было забыто, все было собрано: и тѣ творенія, которыя еще при жизни его мы вытвердили наизусть, и то, что приготовилъ онъ и не успѣлъ передать намъ, и то, что осталось отъ него едва очеркнутое, едва набросанное.

Общій голосъ, говоря вообще, тотъ, что почтенные издатели полныхъ сочиненій Пушкина не вполне оправдали ожиданіе соотечественниковъ. Не говоря уже о томъ, что безмѣрно дорогою цѣною лишили они многихъ возможности имѣть полныя сочиненія Пушкина, ни о томъ, что они томили насъ, издавая ихъ нѣтъ лѣтъ, но и самое изданіе не соотвѣтствуетъ участію и благоговѣнію, какія хранимъ мы къ памяти поэта. Начать съ того, что изданіе книги некрасиво и небрежно напечатано, — даже съ ошибками и непростительными опечатками! Далѣе, для чего было издавать сначала *восемь*, а потомъ еще *три* тома? Отъ того пьесы перемежались, проза и стихи перепутались, не представляя никакой системы въ своемъ расположеніи. Правда, система для изданія полныхъ сочиненій поэта дѣло

не рѣшенное. Раздѣленіе ихъ по родамъ часто производитъ споры. Многіе думаютъ даже, что самый лучший порядокъ есть хронологическій, ибо тогда видно развитіе идей поэта, видны переходы духовной жизни его и отношеній ея къ вѣшной жизни. Мысль сія болѣе остроумна, нежели вѣрна, и притомъ, располагая систематически по родамъ, можно приложить при жизни поэта и хронологическій списокъ его сочиненій. Такого списка нѣтъ при сочиненіяхъ Пушкина. И можно ли повѣрить, не издавши, что при немъ нѣтъ даже жизнеописанія! Неужели не нашлось никого, кто въ теченіе пяти лѣтъ собралъ бы всѣ подробности и составилъ жизнеописаніе Пушкина, когда оцѣ живы столько людей, коротко знавшихъ его, живъ его родитель, живы его товарищи по ученью? Мы знаемъ умную, краснорѣчивую переписку Пушкина со многими. Какіе матеріалы могли бы доставить его письма! Но почтенные издатели не только не позаботились удовлетворить насъ жизнеописаніемъ Пушкина, они не приложили даже никакого *предисловія*, никакихъ *поясненій*, они лишили насъ даже нѣкоторыхъ напечатанныхъ прежде замѣтокъ и примѣчаній Пушкина, исключили даже означенія годовъ при разныхъ сочиненіяхъ, которыя въ прежнихъ изданіяхъ сохранялъ Пушкинъ. Не говоримъ уже о принадлежностяхъ, которыя считаются необходимыми при хорошихъ изданіяхъ каждаго замѣчательнаго писателя, какъ то: библіографическихъ свѣдѣніяхъ о прежнихъ изданіяхъ, вариантахъ, примѣчаніяхъ, поясненіяхъ (о роскоши изданія, портретѣ, вѣнзеткахъ, картинкахъ, мы и упоминать не хотимъ). Все это, сколько драгоцѣнно для полнаго познанія поэта и его твореній, столько же любопытно бываетъ для литературной исторіи вообще. Мы жалуемся, что наши старики такъ небрежно поступали съ Ломоносовымъ и съ другими достопамятными людьми, и что мы черезъ то многое утратили и потеряли безвозвратно. Но вотъ теперь намъ случай показать примѣръ противнаго при сочиненіяхъ Пушкина, и что же мы дѣлаемъ? Издаемъ сочиненія его такъ небрежно, какъ, будто они не такія творенія, которыя драгоцѣнны отечеству, а

собрание стиховъ и прозы какого-нибудь писателя обыкновеннаго. Почтенные издатели не приняли даже на себя труда сказать намъ: *все ли теперь издано, что найдено въ бумагахъ Пушкина?* Не говоря о разныхъ бездѣлкахъ, которыя упущены ими въ журналахъ и альманахахъ, и на которыя безпрестанно указываютъ имъ со всѣхъ сторонъ, за ними справка: сказать намъ, все ли именно выбрано ими въ бумагахъ Пушкина? Они ни слова не говорятъ намъ о драгоцѣнномъ для насъ предпріятіи Пушкина—„Исторія Петра Великаго?“ Началъ ли онъ ее? Если началъ, то далеко ли довелъ ее? Если не принимался онъ за окончательное изложеніе оя, то что приготовилъ онъ? Не оставилъ ли хоть какихъ-нибудь замѣтокъ? Конечно хотимъ мы все это знать, и даже, осмѣливаемся сказать, мы въ правѣ требовать о томъ отчета отъ людей, взявшихъ на себя обязанность передать отечеству всѣ умственные сокровища, оставшіяся послѣ Пушкина.

Но теперь однакожъ, когда, если и не вполне удовлетворительно, изданы *полныя сочиненія Пушкина*, наступило время важнаго труда русской современной критики. Отъ нея ожидаемъ мы окончательнаго суда и приговора Пушкину и его изданіямъ. Она должна подать голосъ свой. Не будетъ онъ ни безусловнымъ ни окончательнымъ, ибо людей, подобныхъ Державину и Пушкину, пересушиваютъ каждое поколѣніе, каждый вѣкъ, въ силу своего уложенія. Но мы *должны*, однакожъ, говорить откровенно, безпристрастно, съ равнымъ участіемъ сердца и ума, патріотическою гордостью и космополитическимъ безстрастіемъ. Пусть только тѣ, кто думаетъ, что каждая критика есть осужденіе, что критикѣ предоставлено только наказаніе бездарности, пусть тѣ полагаютъ, что о Пушкинѣ мы не должны говорить, и что вся критика нашего времени касательно его должна состоять изъ похвальныхъ восклицаній. Итъ! истинною, безпристрастною оцѣнкою обязаны мы памяти Пушкина даже потому, что обязаны доказать тѣмъ уваженіе къ памяти его, ибо критика наша, самая псумолжная, покажетъ, что Пушкину нечего бояться приговора самаго

строгаго. Мы обязаны дать критическій отчетъ объ его твореніяхъ и изъ уваженія къ самимъ себѣ, ибо обязаны оправдать и доказать то высокое мнѣніе, какое создалось между нами при жизни Пушкина и пережило его. Наконецъ, какой случай можетъ быть лучше показать намъ мѣру нашего собственнаго образованія, если не оцѣнка великаго современнаго поэта? И какой трудъ поучительный—теперь, когда для него все кончилось, когда ни личныя отношенія наши къ нему не препятствуютъ, ни смѣшеніе *исполненаго и ожидаемаго*, подвиговъ его и надеждъ на новые подвиги, не ослѣпляетъ насъ, какой трудъ поучительный разборъ и оцѣнка твореній Пушкина! Пушкинъ, какъ *человѣкъ*, Пушкинъ какъ *поэтъ*, Пушкинъ какъ *дѣятель* въ современной жизни, заслуги его, успѣхи его, то, чего мы отъ него ожидали, что онъ исполнилъ, что хотѣлъ исполнить, чего не исполнилъ вовсе—вотъ обязанность нашей критики. Неужели Пушкину бояться суда неодоунаго? Если критика и откажетъ ему въ чемъ-либо такомъ, что виднѣтъ въ немъ слѣдное удивленіе толпы, если она отвергнетъ недостойныя имени его похвальные возгласы чьи-нибудь, за то тѣмъ прочіе утвердитъ она безспорныя права его на имя поэта великаго, на мѣсто въ пантеонѣ русскомъ, рядомъ съ другими товарищами его по безсмертію. Неужели такой судъ, такой приговоръ въ чьихъ-либо глазахъ будутъ неблагодарностью, несправедливостью къ Пушкину? Неужели предпочтутъ ему кликъ нестройнаго, безотчетнаго удивленія какого-нибудь краснбая или болтовню человѣка, который хочетъ уцѣлѣть подъ именемъ друга Пушкина, какъ мошки успѣваютъ уцѣлѣть въ янтарѣ и горномъ хрусталѣ? Неужели мы удовольствуемся сужденіемъ какого-нибудь пѣмца, едва разбирающаго Пушкина по складамъ и, ссылаясь на него, скажемъ: „Что намъ говорить? Видите, Пушкинъ приобрѣлъ уже европейскую славу!“ Но мы сами развѣ въ Азіи живемъ? Развѣ намъ, какъ азіатцамъ, отдано на долю только безотчетное хваленіе? Намъ, правда, любопытно послушать, что говорятъ о Пушкинѣ иностранцы, но мы должны жить своимъ самобытнымъ русскимъ умомъ.

Обращаясь собственно къ самимъ намъ, пишущему сія строки, скажемъ, что какъ ни мало имѣемъ мы довѣрія къ собственному нашему мнѣнію, какъ ни чувствуемъ мы недостатокъ познанія и средствъ нашихъ для надлежащаго, удовлетворительнаго сужденія о Пушкинѣ, но съ тѣмъ вмѣстѣ обязанностью почитаемъ мы изложить въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ по возможности полныя свѣдѣнія о жизни Пушкина и полный разборъ его сочиненій.

Пишущій сія строки не смѣетъ причислить себя къ друзьямъ Пушкина. Онъ смѣетъ думать, что Пушкинъ наградилъ бы его, можетъ быть, большею пріязнью, даже дружбою, если бы не обстоятельства и не отношенія ихъ раздѣляли. Смѣетъ думать онъ и то, что, можетъ быть, онъ болѣе многихъ другихъ цѣнилъ, понималъ Пушкина при жизни его, болѣе многихъ другихъ дорожилъ его славою, и желалъ ему добра, при жизни поэта осмѣливаясь безпристрастно и смѣло говорить ему правду, и скорбя, когда, казалось ему, Пушкинъ не выдерживалъ своего характера, какъ человекъ и какъ поэтъ. Увлекаемый отношеніями, о которыхъ не хотимъ мы здѣсь говорить, Пушкинъ иногда оскорблялся тѣмъ, даже нѣсколько разъ бывалъ несправедливъ, но пылкій и добрый, онъ сознавался потомъ въ своей несправедливости и до конца жизни сохранилъ уваженіе къ своему критику. Съ 1825 года начались наши письменныя сношенія, когда Пушкинъ жилъ въ своей Псковской деревнѣ. Онъ принялъ живое участіе въ журналѣ, который началъ я тогда издавать въ Москвѣ. Слѣдуя за всѣми движеніями современной литературы, онъ присылалъ даже въ мой журналъ критическія статьи. Двѣ такихъ статьи было имъ тогда прислано. Одну написалъ онъ, прочитавши въ „Сынѣ Отечества“ статью г-на М—ва о г-жѣ Сталь: другую—прочитавши предисловіе къ баснямъ Крылова, изданнымъ во французскихъ и итальянскихъ переводахъ графомъ Г. В. Орловымъ, что надѣлало тогда много шума.

Въ 1826 году, когда пріѣхалъ Пушкинъ въ Москву, дружески встрѣтились мы, и онъ изъявилъ мнѣ радость

свою о томъ, но вскорѣ обстоятельства, а паче люди, успѣвшіе протѣсниться и стать между нами, охладили насъ другъ къ другу. Съ 1827 года Пушкинъ принялъ участіе въ *Московскомъ Вѣстникѣ*. Много любопытныхъ, дополняющихъ характеръ Пушкина чертъ могъ бы я рассказать, описывая отношенія, встрѣчи и разговоры мои съ нимъ въ теченіе десяти лѣтъ съ 1827 года. Помнится, въ 1834 году встрѣтился я съ нимъ въ послѣдній разъ. Могъ ли я тогда думать, что Пушкина, юнаго, цвѣтущаго здоровьемъ, на верху славы его, вижу я *послѣдній* разъ! Угнетенный житейскими скорбями и полубольной былъ я, когда въ Москву прилетѣла горестная вѣсть о смерти Пушкина. Никто не вѣрилъ. Но когда въ „Сѣверной Пчелѣ“ появилось извѣстіе, подписанное поэтомъ Якубовичемъ, страшное сомнѣніе превратилось въ ужасающую достовѣрность—*Якубовичъ* извѣщалъ русскихъ о смерти *Пушкина*: настоящая сцена могильщика въ „Гамлетѣ!“.. Я забылъ мое горе, мои ничтожныя, но тяжкія заботы жизни, горькими слезами почтилъ память Пушкина, и написалъ немедленно все, что подсказало мнѣ сердце (статья моя была помѣщена тогда въ „Библіотекѣ для Чтенія“). Въ порывѣ души я призывалъ тогда всѣхъ литераторовъ воздвигнуть достойный памятникъ на могилѣ Пушкина. Голосъ мой не нашелъ отзыва другихъ...

Мнѣ казалось необходимымъ сказать о моихъ отношеніяхъ къ Пушкину, какъ человѣку, дабы устранить всякое подозрѣніе о безпристрастіи, съ какимъ могу и хочу я говорить объ немъ, какъ о поэтѣ, какъ о великомъ современникѣ нашемъ. Ни лести ни пристрастіе не омрачатъ словъ моихъ. Не льстилъ я Пушкину при жизни его, а чувство уваженія къ нему, чувство сознанія его высокихъ дарованій хранилъ я и тогда постоянно въ душѣ моей; сіи чувства пережили Пушкина, и, какъ отголосокъ души моей на все прекрасное, я сохраняю ихъ до конца моей жизни—кто знаетъ?—можетъ быть, удаленнаго еще нѣсколькими грустными годами, а можетъ быть и близкаго...

Н. Полевой.

*) Русская литература въ 1841 году.

Б.—Итакъ, перейдемъ къ Пушкину.

А.—И поговоримъ о немъ какъ можно меньше, потому что сказать о немъ всего не успѣешь и въ цѣлую жизнь. Пушкинъ принадлежитъ къ вѣчно живущимъ и движущимся явленіямъ, не останавливающимся на той точкѣ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ свое сужденіе, и какъ бы ни вѣрно поняла она ихъ, но всегда оставитъ слѣдующей за нею эпохѣ сказать что-нибудь новое и болѣе вѣрное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего...

Батюшковъ уже свершилъ свое поприще, несчастно прерванное; Жуковскій хотъ еще и далеко не свершилъ своего поприща, но результаты его поэтической дѣятельности уже пустили глубоко свои корни въ почву воспріимчиваго и плодovitаго русскаго духа,—когда ребенокъ Пушкинъ начиналъ знакомиться съ русскою литературой. Жадно читалъ онъ все, что засталъ тогда написаннымъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова включительно. И вотъ онъ дѣлается усерднымъ и, надо сказать, часто неловкимъ ученикомъ предшествовавшихъ ему корифеевъ нашей литературы и плохимъ ихъ подражателемъ. Стихъ его не былъ лучше даже стиха его дяди, В. Пушкина; онъ пишетъ посланіе „къ красавицѣ, нюхающей табакъ“, и жалѣетъ въ помъ, зачѣмъ онъ по табакъ... Усердно печатаетъ онъ дѣтскія фантазіи въ „Россійскомъ Музоумѣ“, издававшемся въ 1815 году. Прочтите лицейскія стихотворенія Пушкина—и въ лучшихъ изъ нихъ вы увидите только хорошаго подражателя. Въ первомъ томѣ изданныхъ имъ самимъ стихотвореній вы уже не находите ничего дурного, на-

*) В. Бѣлинскій. „Отечественныя Записки“ 1842 г., т. 20, № 1.—Изъ этой обширной статьи, содержащей въ себѣ краткій историческій взглядъ вообще на русскую литературу и написанной въ формѣ разговора между двумя лицами—А. и Б., здѣсь помѣщенъ только отрывокъ, касающійся Пушкина и его школы.

Примѣч. В. Зеленинаго.

противъ, видите много хорошаго, но въ пьесахъ: „Лицинію“, „Пѣвецъ“, „Амуръ и Гименей“, „Ш***ву“, „Торжество Вакха“, „Разлука“, „Дельвигу“, „Жуковскому“, „Русалка“, „Стансы Т***му“, „В***му“, „Война“, „Къ Овидію“, писанныхъ отъ 1815 до 1822, вы еще видите не Пушкина, еще не самостоятельнаго поэта, а только даровитаго ученика достойныхъ учителей. Всѣ исчисленныя мною стихотворенія перемежаны съ такими, въ которыхъ Пушкинъ является уже Пушкинымъ, въ которыхъ мы видимъ поэзію, не имѣющую ничего общаго съ прежней, бывшей до Пушкина, — поэзію, явившуюся вдругъ, безъ всякихъ предварительныхъ проявленій, подобно Аоніѣ-Палладѣ, вдругъ и во всеоружіи родившейся изъ головы Зевса... Въ отдѣлѣ стихотвореній, означенныхъ 1823 годомъ, вы уже не встрѣчаете ничего не Пушкинскаго, ничего навѣяннаго Пушкину его учителями. Правда, въ поэмахъ его — „Русланъ и Людмила“, „Кавказскій Пѣлтникъ“, видно сильное вліяніе, но уже другихъ учителей: — Пушкинъ навсегда расквитался съ русской литературой, и сталъ ея учителемъ... Трудно охарактеризовать общими чертами великость реформы, произведенной Пушкинымъ въ поэзіи, литературѣ, версификаціи и языкѣ русскомъ. Между стихомъ Пушкина и стихомъ Батюшкова больше разстоянія, чѣмъ между стихомъ Батюшкова и стихомъ Державина. Достоинство Пушкинскаго стиха состоитъ не въ одной легкости — легкость одно изъ второстепенныхъ качествъ его; нѣтъ, достоинство этого стиха заключается въ его художественности, въ этой органической живой соотвѣтственности между содержаніемъ и формой, и наоборотъ. Въ этомъ отношеніи стихъ Пушкина можно сравнить съ красотой человѣческихъ глазъ, оживленныхъ чувствомъ и мыслью: отнимите у нихъ оживляющее ихъ чувство и мысль — они останутся только красивыми, но ужъ не божественно-прекрасными глазами. Теперь многіе пишутъ стихи и гладкіе, и гармоническіе, и легкіе; но Пушкинскій стихъ напомнила намъ только муза Лермонтова... Поэзія Пушкина полна, насквозь проникнута содержаніемъ, какъ граненый хрусталь лучомъ солнечнымъ:

у Пушкина нѣтъ ни одного стихотворенія, которое не вышло бы изъ жизни и было написано вслѣдствіе желанія такъ что-нибудь написать, въ чаяніи, что авось-де это будетъ недурно... Это обстоятельство рѣзкой чертой отдѣляетъ Пушкина отъ всѣхъ поэтовъ предшествовавшихъ періодовъ. Художническая добросовѣстность Пушкина была до него непримѣрнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ: онъ высылалъ изъ міра души своей только выношенные, вырѣвшія поэтическія фантазіи, которыя сами рвались наружу. Этимъ онъ совершенно избѣжалъ риторики, декламации и общихъ мѣстъ: ихъ слѣды замѣтны только развѣ въ его ученическихъ произведеніяхъ, о которыхъ я говорю. Слѣдствіемъ глубоко истиннаго содержанія, всегда скрывающагося въ произведеніяхъ Пушкина, была ихъ строго-художественная форма. Каждое его стихотвореніе есть отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, полный собственныхъ силъ, чуждый всякихъ несвойственныхъ ему элементовъ, всего посторонняго и лишняго, свободно движущійся въ своей сферѣ. Какъ вѣрна у Пушкина всякая мысль, всякое чувство, всякое ощущеніе, такъ вѣренъ у него и всякій образъ, каждая фраза, каждое слово. Все на своемъ мѣстѣ, все полно, ничего недокопченнаго, темнаго, неточнаго, неопредѣленнаго. Опредѣленность есть свойство великихъ поэтовъ, и Пушкинъ вполнѣ обладалъ этимъ свойствомъ. Ограниченные люди ставили его поэзіи въ вину, что она все оземляняетъ и овеществляетъ,—обвиненіе, которое обнаруживаетъ рѣшительное отсутствіе эстетическаго чувства, самое грубое недоразумѣніе поэзіи! Поэтъ—соперникъ творящей природѣ; подобно ей, онъ стремится безплотныхъ духовъ жизни, рвущихъ въ безпредѣльныхъ пространствахъ, уловить въ прекрасные и полные органически-идеальной жизни образы, воплотить небесное въ земное и земное просвѣтлить небеснымъ... Поэтъ не терпитъ отвлеченныхъ представленій; творя, онъ мыслитъ образами, а всякій образъ только тогда и прекрасенъ, когда опредѣленъ и вполнѣ доступенъ созерцанію.

Изъ русскаго языка Пушкинъ сдѣлалъ чудо. Справедливо

сказалъ Гоголь, что „въ Пушкинѣ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка“. Онъ ввелъ въ употребленіе новыя слова, старымъ далъ новую жизнь; его эпитетъ столько же смѣлъ, оригиналенъ, какъ и рѣзко точенъ, математически опредѣленъ. Многообъемлемость и многосторонность также принадлежать къ числу качествъ, которыя срослись съ поэзіей Пушкина. Грусть у него смѣняется шуткой, эпиграммой, тяжелая скорбь неожиданно разрѣшается освѣжающимъ душу юморомъ. Его нельзя назвать ни поэтомъ грусти, ни поэтомъ веселья, ни трагикомъ, ни комикомъ исключительно: онъ все... Самое простое ощущеніе звучитъ у него всѣми струнами своими, и потому чуждо монотонности; это всегда полный аккордъ... Всего чаще ощущеніе у Пушкина — диссонансъ, разрѣшающійся въ гармонию, и всего рѣже — простая мелодія... Трудно было бы опредѣлить общее направленіе поэзіи Пушкина; но можно сказать утвердительно, что имя романтика навязано на него не совсѣмъ впопадъ, такъ же какъ не впопадъ отнято оно у Жуковского. Характеръ чисто романтической поэзіи всегда болѣе или менѣе односторонній и исключительный. Поэзія Пушкина — самый разнообразный міръ, гдѣ примирены самыя разнообразныя и противорѣчащія элементы, гдѣ простая и вмѣстѣ роскошная форма спокойно и равновѣсно овладѣла своимъ многосложнымъ содержаніемъ... Наконецъ, Пушкинъ — вполнѣ національный поэтъ, заключившій въ духъ своемъ всѣ національныя элементы. Это видно не только изъ тѣхъ произведеній, гдѣ чисто русское содержаніе выражалъ онъ въ чисто народной формѣ, и гдѣ не имѣлъ онъ себѣ соперника; но еще болѣе изъ тѣхъ произведеній, которыя ни по содержанію, ни по формѣ, кажется, не могутъ имѣть ничего русскаго. Я не знаю лучшей и опредѣленнѣйшей характеристики національности въ поэзіи, какъ ту, которую сдѣлалъ Гоголь въ этихъ короткихъ словахъ, врѣзавшихся въ мою память: „Истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, а въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ

совершенно сторонній міръ, но глядѣть на него глазами своей національной стихіи, глазами своего народа; когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами⁴. Мнѣ кажется, что кромѣ грусти, какъ основного мотива Пушкинской поэзіи, и бодрого, мощнаго выхода изъ нея не въ какое-нибудь тепленькое утѣшеніе, а въ ощущеніе собственной силы, какъ самой характеристической черты ея, — національность ея состоитъ еще во внѣшнемъ спокойствіи, при внутренней подвижности, въ отсутствіи одолевашей страстности. У Пушкина диссонансъ и драма всегда внутри, а снаружи все спокойно, какъ будто ничего не случилось, такъ что грубая, невосприимчивая или неразвитая натура не можетъ тутъ видѣть ни силы, ни борьбы, ни величія... Замѣьте, что герои Пушкина никогда не лишаютъ себя жизни, но силѣ трагической развязки, но остаются жить... Пушкинъ въ этой чертѣ бываетъ страшно великъ... Не бывало еще на Руси такой колоссальной творческой силы, и такъ національно, такъ русски проявившейся... Ни одинъ поэтъ не имѣлъ на русскую литературу такого многосторонняго, сильнаго и плодотворнаго вліянія. Пушкинъ убилъ на Руси незаконное владычество французскаго псевдо-классицизма, расширилъ источники нашей поэзіи, обратилъ ее къ національнымъ элементамъ жизни, показалъ безчислennыя новыя формы, сдружилъ ее впервые съ русской жизнью и русской современностью, обогатилъ идеями, пересоздалъ языкъ до такой степени, что и безграмотные не могли уже не писать хорошими стихами, если хотѣли писать.

Б.—Но что вы скажете о Пушкинѣ въ сравненіи съ европейскими поэтами?

А.—Онъ относится къ нимъ, какъ Россія къ Европѣ, а европейскіе поэты къ нему — какъ Европа къ Россіи. Пушкинъ обладалъ міровой творческой силой; по формѣ онъ — соперникъ всякому поэту въ мірѣ; но по содержанію, разумѣется, не сравнится ни съ однимъ изъ міровыхъ поэтовъ, выразившихъ собой моментъ всемірно-историческаго развитія человѣчества. И это нисколько не идетъ къ униженію

великаго генія Пушкина; повторяю, что поэту принадлежить форма, а содержаніе — исторіи и дѣйствительности его народа. Россія доселѣ жила внѣшней силой; національное сознаніе пробудилось въ ней не дальше, какъ съ великаго 1812 года... Какому-нибудь Байрону довольно было исторіи своего отечества, чтобъ имѣть готовое содержаніе для своей поэзіи; а Пушкину еще оставалась цѣлая Европа, т. е. цѣлое человѣчество. Слова: папа, католицизмъ, феодализмъ, вассалъ, реформація, религіозная война, всемірная торговля и пр., и пр.—не могли въ слухѣ Пушкина раздаваться такъ же, какъ въ слухѣ Байрона: чтó для одного было предметомъ любознательности, то для другого было личнымъ интересомъ, возбуждавшимъ всѣ его страсти, всѣ чувства... Самое образованіе европейскихъ поэтовъ съ дѣтства питаетъ ихъ „поэтическимъ содержаніемъ“: чего не зналъ Гёте, какой ученикъ обладалъ Шиллеръ! Байронъ въ подлинникѣ читалъ греческихъ и латинскихъ писателей! Въ Европѣ все такъ чудно устроено, — одно не мѣшаетъ другому, напр., свѣтъ—наукѣ, а наука—свѣту; у насъ же объ этомъ свѣтъ Пушкинъ говорилъ съ такимъ отчаяніемъ:

И даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!...

Но здѣсь не должно упускать изъ виду важнаго обстоятельства: смерть застала Пушкина въ порѣ полного развитія необъятныхъ силъ его творческаго духа, въ ту самую минуту, когда онъ ужъ начиналъ уходить отъ вознующей юную и пылкую натуру внѣшности, и погружаться въ бездонную глубь своего внутренняго я, когда онъ только что начиналъ писать настоящимъ образомъ.

Б.—Однако нашъ разговоръ грозитъ быть страшно длиннымъ, если вы хотите говорить о поэтахъ пушкинской школы...

А.—Если только поэтому, а не почему-нибудь другому, то онъ будетъ очень коротокъ. Время — великій критикъ: его крылья провѣваютъ всѣ дѣла человѣческія, оставляя на току темнаго зеренъ и разсывая по воздуху много шелухи...

У насъ же, надо заиѣтить, время особенно быстро летитъ: мы, люди новаго поколѣнія, едва перешедшіе за роковую черту 30-ти лѣтъ, отдѣляющую юность отъ мужества, мы, заучивавшіе наизусть первые стихи Пушкина, мы, едва успѣвавшіе слѣдовать, такъ сказать, по пятамъ за его быстрымъ поэтическимъ бѣгомъ,—мы давно ужъ оплакали его безвременную кончину, а на школу его смотримъ уже, какъ на „дѣла давно минувшихъ дней, преданья старинныя глубокой“, любимъ ее только по отношенію къ собственному нашему развитію, только по воспоминанію о прекрасномъ времени нашей жизни, когда всякій новый журналъ, всякая новая книжка журнала, альманахъ, какой-нибудь сборъ „мечтаній и звуковъ“ были для насъ праздникомъ, тотчасъ врѣзывались въ память, возбуждали живые восторги, шумные споры... II, если хотите, понятно, что мы въ то блаженное время давали Пушкину сподвижниковъ и товарищей, строили тріумvirаты и цѣлыя школы; но понятно также и то, что теперь, при имени Пушкина, мы не знаемъ, кого вспомнить, кого назвать...

Б.—Какъ! столько именъ, столько славъ...

А.—Но, вѣдь, въ то время и Олинъ, авторъ „Корсара“ и многихъ романтическихъ элегій, издатель безчисленнаго множества программъ несостоявшихся журналовъ и газетъ, и М. Дмитріевъ, сочинитель цѣлой книги стиховъ, и Рачъ, авторъ десятка плаксивыхъ стихотвореній, и Трилуный, переводчикъ и подражатель Байрона, и О. Н. Глинка, изобрѣтатель благоухающей нравственности поэзін, и много еще другихъ — все это были имена и славъ, да еще какія!...

Б.—Но я разумѣю не ихъ, а Баратынскаго, Козлова, Давыдова (Дениса), Дельвига, Подолинскаго, Языкова. Помните, бывало, говорили: Пушкинъ, Баратынский, Языковъ?

А.—Да, т. е. тріумvirать... II точно, названные вами писатели недаромъ считались даровитыми. Въ нихъ выразился характеръ эпохи, теперь уже миновавшей; они завоевали себѣ мѣсто въ исторіи русской литературы. Я не

люблю поэмъ Баратынскаго: въ нихъ больше ума, чѣмъ фантазія; но между его лирическими произведеніями есть очень замѣчательныя. Мною особенно правится въ нихъ этотъ характеръ вдумчивости въ жизнь, который свидѣтельствуешь о присутствіи мысли. Элегія Баратынскаго „На смерть Гёте“—превосходна. Козловъ замѣчательнѣе особенно удачными переводами изъ Мура; но переводы его изъ Байрона всѣ слабы. Есть нѣсколько замѣчательныхъ пьесъ и между его собственными. У него много души; жаль только, что чувство его часто походить на чувствительность. Поэмы его вообще слабы; изъ нихъ „Чернецъ“ замѣчательнѣе по эффекту, который онъ произвелъ на публику и который напомнилъ объ эффектѣ „Бѣдной Лизы“ Карамзина. Элегіи Давыдова часто дышатъ истинной поэзіей, и ихъ всегда можно перечестъ съ удовольствіемъ, несмотря на ихъ однообразность. Вообще въ поэзіи Давыдова есть какая-то достолюбезная оригинальность, свой собственный характеръ. Имя Дельвига мною любезно, какъ друга дѣтства Пушкина. Русскія пѣсни Дельвига очень хороши для фортепьяно и пѣнія въ комнатѣ, гдѣ онѣ удобно могутъ быть приняты за народно-русскія пѣсни. Въ подражаніяхъ Дельвига древнимъ много виѣшней истины, но незамѣтно главнаго—греческаго созерцанія жизни. Подолинскій былъ чловѣкъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ: въ его мелкихъ стихотвореніяхъ и въ поэмахъ много чувства и поэтическихъ мѣстъ; но у него никогда не бывало цѣлаго, особенно въ поэмахъ, которыя бѣдны содержаніемъ, слабы по концепціи, бѣдны по выполненію... Стихи Языкова блестятъ всею роскошью виѣшней поэзіи, — и если есть виѣшняя поэзія, то Языковъ необыкновенно даровитый поэтъ. Онъ много сдѣлалъ для развитія эстетическаго чувства въ обществѣ: его поэзія была самымъ сильнымъ противоядіемъ пошлomu морализму и приторной элегической слезливости. Смѣлыми и рѣзкими словами и оборотами своими Языковъ много способствовалъ расторженію пуританскихъ оковъ, лежавшихъ на языкѣ и фразеологіи. Правда, его новыя слова и фразы почти всегда изысканы, неточны, а нерѣдко

и грѣшатъ противъ вкуса: но они всѣмъ понравились, а потому и сдѣлали свое дѣло... Стихъ Языкова громокъ, звученъ, ярокъ; но въ немъ это—чисто внѣшнія достоинства, безъ всякаго отношенія къ содержанію. Да и что составляетъ содержаніе его поэзіи? или, лучше сказать, есть ли въ ней какое-нибудь содержаніе? Поэзія, полная содержаніемъ, всегда развивается, идетъ впередъ; поэзія, чуждая всякаго содержанія, всегда стоитъ на одномъ мѣстѣ, поетъ одно и то же, однимъ и тѣмъ же голосомъ. Вначалѣ она можетъ возбуждать фуроръ; но когда къ ней привыкнуть, ея уже не читаютъ, а только безусловно хвалятъ... Проходитъ пылъ, остается дымъ и чадъ; поэтъ начинаетъ писать вялые, холодные и вообще плохіе стихи, которыхъ уже никто не почитаетъ стоящими даже порицаній... А мнѣ странно, что вы не упомянули о Хомяковѣ: хотя онъ по таланту и гораздо ниже Языкова, но послѣ Языкова какъ-то невольно воспоминаешь Хомякова. Это не безъ причины: между ними много общаго, именно—внѣшняя красота стиха, независящая отъ смысла пѣсми, и однообразие въ манерѣ и предметахъ пѣснопѣній. Въ самомъ дѣлѣ, Языковъ все пѣлъ студентскіе пиры и студентскую удалъ; Хомяковъ символически поетъ все о чемъ-то высокомъ и прекрасномъ; содержаніе пѣсенъ Языкова неподвижно; содержанію пѣсенъ Хомякова также неподвижно, потому что это всегда одна и та же отвѣченная мысль, одни и тѣ же громкія слова; оба поэта часто обращаются въ своихъ стихахъ къ Россіи,—и ни у того ни у другого не сорвалось съ нѣра ни одного русскаго слова, ни одного русскаго выраженія, на которое отозвалась бы русская душа или въ которомъ отозвалась бы русская душа. Не правда-ли, все это очень сходно? Но между тѣмъ тутъ есть и несходство: Языковъ кончаетъ не такъ, какъ началъ,—онъ утратилъ даже свой бойкій, звонкій и разгульный стихъ; Хомяковъ неизмѣненъ: онъ по прежнему владѣетъ стихомъ своимъ... Причина этой разности та, что для стиховъ Языкова—каковы бы ни были они—нуженъ былъ хоть цѣль молодости, если не вдохновеніе; для стиховъ же Хомякова этого не было нужно...

.Б.—Но я не понимаю, что же вы разумѣете подъ школой Пушкина...

А.—Собственно ея и не было. Пушкинъ только развязалъ руки тогдашней молодежи на гладкій, бойкій стихъ, настроилъ ее на элегическій тонъ, вмѣсто торжественнаго, да ввелъ въ моду поэмы, вмѣсто балладъ; тайна же его поэзии и по содержанію, и по формѣ для всѣхъ оставалась тайной. Въ его поэзии всѣ видѣли одну внѣшнюю, поверхностную сторону, а во внутрь ея и не заглядывали...

Б.—Но въ чемъ же великое вліяніе Пушкина на русскую литературу, если школа, имъ созданная, такъ скоро исчезла, не оставивъ по себѣ слѣда?...

А.—Въ томъ именно, что, благодаря Пушкину, мы скоро оцѣнили эту школу по достоинству... Вліяніе Пушкина было не на одну минуту; оно кончится только развѣ со смертію русскаго языка. Сверхъ того, странно было бы измѣрять достоинство поэта рожденной имъ школой. Мы не знаемъ, да и знать не хотимъ, создалъ-ли какую школу напримѣръ Байронъ: мы хотимъ знать только Байрона и судить о немъ по немъ самомъ, а не по его школѣ, еслибъ она и была. Но Пушкинъ виноватъ, что вмѣстѣ съ нимъ не явилось сильныхъ талантовъ. Притомъ же вліяніе великаго поэта замѣтно на другихъ поэтахъ не въ томъ, что его поэзія отражается въ нихъ, а въ томъ, что она возбуждаетъ въ нихъ собственныя ихъ силы: такъ, солнечный лучъ, озаривъ землю, не сообщаетъ ей своей силы, а только возбуждаетъ заключенную въ ней силу... У кого есть талантъ, и кто способенъ понять поэзію Пушкина, принять въ себя ея содержаніе, — тотъ, конечно, будетъ писать несравненно лучше, нежели какъ-бы онъ писалъ, не зная Пушкина. А многіе-ли понимаютъ Пушкина?... Повѣрьте мнѣ, надо быть выбрану изъ десяти тысячъ, чтобъ понимать Пушкина! Вѣдь, это талантъ своего рода, и талантъ большой! Вотъ, напримѣръ, Веневитиновъ: хоть и нельзя указать явнаго вліянія Пушкина на его поэзію, но нѣтъ сомнѣнія, что онъ Пушкину обязанъ больше, чѣмъ кто-нибудь. Веневитиновъ самъ собой составилъ бы школу,

еслибъ судьба не пресѣкла безвременно его прекрасной жизни, обѣщавшей такое богатое развитіе. Въ его стихахъ просвѣчивается дѣйствительно-идеальное, а не мечтательно-идеальное направленіе; въ нихъ видно содержаніе, которое заключало въ себѣ самодѣятельную силу развитія; по форма его поэтическихъ произведеній, даже самый характеръ ихъ, не обѣщали въ Веневитиновѣ поэта, — и я увѣренъ, что онъ скоро оставилъ бы поэзію для философскихъ созерцаній. На этомъ поприщѣ многого можно было ожидать отъ него. Онъ возбуждалъ къ себѣ сильное участіе, даже энтузіазмъ молодыхъ людей обоего пола своими произведеніями и въ стихахъ и въ прозѣ: это участіе, этотъ энтузіазмъ были пророческіе... Говоря о поэтахъ того времени, нельзя не упомянуть о Полежаевѣ, какъ поучительномъ примѣрѣ необузданной силы безъ содержанія, — таланта безъ образованія, — вдохновенія безъ вкуса. Эта дикая натура пала жертвой собственной силы, разъ не такъ направленной, — пала жертвой собственного огня, не нашедшаго для себя настоящей пищи...

В. Балинский.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

1. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полного списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 8-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время восемь изданій, обнимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка *остатъ* словъ съ буквою ъ. Изложеніе ея алфавитное, — почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя“ открывается страница на букви, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извощикъ, извозчикъ, извощикъ или извощикъ? Спрашивайтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ орфографическомъ словарѣ подъ буквой и — вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навики, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается въ нѣсколько секундъ.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописаніе и объясненіе иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ. (Печатается).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

6. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 7-е. М. 1897 г. Ц. 50 к.

7. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 4-е. М. 1896 г. Ц. 40 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орфографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орфографіи, тутъ

еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соответствующими разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развивается ороографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительныя навыки правильного письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописаніе самостоятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ проверить себя, насколько онъ грамотен или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой ороографіи, такъ и методики ея преподаванія, — съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по ороографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще неуспѣвающіе въ ороографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самостоятельности, легко и скоро приобретаютъ ороографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе — для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя—тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія ороографіи по этому руководству, проверка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Справочный словарь буквы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к.

9. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы — 2 к.

10. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

11. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

12. Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разраб. извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

13. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, примѣровъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. М. 1893 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

14. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. по 2 рубля за выпускъ. — Прибавленіе къ „Собранію критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. — Цѣна 80 к.

15. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к.

16. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. М. 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Кажд. часть отдѣльно по 1 р.).

17. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Четыре части. М. 1887—97 г. Ц. 4 р.

18. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Четыре части. М. Ц. 4 р. (5-я часть печатается).

19. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Москва. Ц. по 1 р. за часть.

20. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

21. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Ц. 50 к.

22. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей Ц. по 1 р. за часть.

23. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунѣ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній Н. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

24. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть отдѣльно по 1 руб.).

IV. Серія разныхъ книжекъ:

25. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

26. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

27. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для внѣ-класснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovic, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

28. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды,
домъ Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 20 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

Stanford University Libraries



3 6105 015 006 732

PG
3356
Z42
V.4

DATE DUE

APR 1 1985

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305

